

# СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД



Э. Тернбулл

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Биография известного американского писателя Скотта Фицджеральд, чье имя занимает свое законное место в ряду выдающихся мастеров критической прозы США XX века, написана американским историком и филологом Э. Тернбуллом.

---

- [Эндрю Тернбулл](#)
  - [Ф.С. Фицджеральд. Человек. Писатель. Судьба](#)
  - [ГЛАВА I](#)
  - [ГЛАВА II](#)
  - [ГЛАВА III](#)
  - [ГЛАВА IV](#)
  - [ГЛАВА V](#)
  - [ГЛАВА VI](#)
  - [ГЛАВА VII](#)
  - [ГЛАВА VIII](#)
  - [ГЛАВА IX](#)
  - [ГЛАВА X](#)
  - [ГЛАВА XI](#)
  - [ГЛАВА XII](#)
  - [ГЛАВА XIII](#)
  - [ГЛАВА XIV](#)
  - [ГЛАВА XV](#)
  - [ГЛАВА XVI](#)
  - [ГЛАВА XVII](#)
  - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ФИЦДЖЕРАЛЬДА](#)
  - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
  - [ОГЛАВЛЕНИЕ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)

- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)

- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)

- [163](#)
  - [164](#)
  - [165](#)
  - [166](#)
  - [167](#)
  - [168](#)
  - [169](#)
  - [170](#)
  - [171](#)
  - [172](#)
  - [173](#)
  - [174](#)
  - [175](#)
  - [176](#)
  - [177](#)
  - [178](#)
  - [179](#)
  - [180](#)
  - [181](#)
  - [182](#)
  - [183](#)
  - [184](#)
  - [185](#)
  - [186](#)
  - [187](#)
  - [188](#)
  - [189](#)
  - [190](#)
-

*Эндрю Тернбулл*

**СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД**



## **Ф.С. Фицджеральд. Человек. Писатель. Судьба**

Творчество Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — одна из самых ярких и впечатляющих страниц в американской литературе XX столетия. Именно произведения Фицджеральда открыли её второй (первый связан с творчеством американских романтиков) золотой период, который приходится на двадцатилетие между двумя мировыми войнами, когда, по общему признанию, она достигла своего высшего расцвета.

Разумеется, дело не в одной хронологии. Фицджеральд был не только по времени первым в плеяде американских романистов, выдвинувшейся в межвоенное двадцатилетие, и представленной такими именами, как Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Т. Вульф, рядом с которыми продолжали творить писатели старшего поколения — Т. Драйзер, С. Льюис, Ш. Андерсон. Необычайно тонкий и чуткий художник, Фицджеральд первым уловил в жизни современной ему Америки и воплотил в неувядающих, исполненных редкого поэтического обаяния образах многие явления, которые определили облик страны на новом историческом рубеже. Первым в отечественной литературе он заговорил от имени поколения, вступившего в жизнь после первой мировой войны, выразив его чаяния, разочарования, умонастроения.

Духовное формирование этого поколения как раз и протекало в годы войны, хотя в Америки лишь немногие близко соприкоснулись с ней. Отделенные от полей сражений бескрайними океанскими просторами, Соединенные Штаты были счастливо избавлены от её бедствий и тягот. И все же война оказала глубокое влияние на общественное сознание страны. Со временем придет горькое осознание её трагического опыта, наиболее полно выразившееся в романах Хемингуэя и Дос Пассоса. Поначалу же война в далекой Европе лишь взвинтила атмосферу шовинистической пропагандой, предвкушением скорого превращения Америки в сильнейшую державу мира. Как всегда необычайно точный в определении исторических перемен, Фицджеральд писал в очерке «Мое поколение»: «Мы родились для власти и жгучего национализма».<sup>[1]</sup>

Вместе с тем эта далекая война напомнила подраставшему поколению о бесконечной ценности жизни. В Америке это отозвалось бурной вспышкой гедонизма. Молодое поколение желало — и немедленно —

вкусить все радости бытия, изведать все доступные ему наслаждения. Под его напором устои старой, добропорядочной Америки с ее жалкой обывательской моралью трещали по всем швам. Начинаясь новый век — «век джаза». Собственно, это название, которое прочно вошло в историю американской культуры, и дал ему Фицджеральд.

Но Фицджеральд обладал не только счастливым, поистине бесценным для литератора даром одним метким словом выразить суть сложного исторического явления. Сам этот дар основывался на глубоком, беспристрастном анализе действительности, примером которого может служить великолепный очерк «Отзвуки века джаза» (1931), где дал блистательный анализ «самой дорогостоящей оргии в истории»,<sup>[2]</sup> как назвал Фицджеральд десятилетие, завершившееся великим кризисом 1929 года.

Аналитичность представляет и одно из отличительных свойств Фицджеральда — художника, хотя его произведения, безусловно, отмечены ею в разной степени. По существу, из неё развились в творчестве Фицджеральда острые социально-критические тенденции, его неприятие современной американской цивилизации, предавшей духовные и нравственные идеалы ради грубого накопительства, безоговорочно подчинившейся этике бизнеса и успеха.

В его ранних, относящихся к началу 20-х годов романах («По эту сторону рая», 1920, «Прекрасные, но обреченные», 1922) и сборниках рассказов («Соблазнительницы и философы», 1920, «Истории века джаза», 1922) критическое отношение к действительности еще едва уловимо. Оно скорее присутствует в легком ироническом настроении повествования, в центре которого юные красавицы, прожигательницы жизни и искательницы приключений, насмешливо попирающие обветшалые нормы мещанских добродетелей.

Этот налет иронии, который мог подчас незаметно переходить в самоиронию писателя, уже тогда говорил о существовании разрыва между Фицджеральдом и поколением юных бунтарей, жаждавших наслаждения любой ценой. Но были в это время и другие, более серьезные свидетельства расхождений между писателем и его героями. Такой рассказ, как «Первое мая» (1920), интересен исключительной во всем творчестве Фицджеральда панорамной емкостью изображения действительности, когда привычные фицджеральдовские герои непосредственно сталкиваются с шумной и грозной нью-йоркской толпой, втягиваются в бурный водоворот жизни улиц в роковой час расправы с социалистами. В «Алмазе величиной с офель «Риц» (1922, в русском переводе известен

также под названием «Алмазная гора») дается безжалостное сатирическое развенчание богатства как высшей ценности жизни. В дальнейшем этот мотив получил глубокое развитие в творчестве Фицджеральда, приведя уже в середине 20-х годов к созданию таких шедевров, как роман «Великий Гэтсби» (1925) и новелла «Молодой богач», вошедшая в сборник «Все печальные молодые люди» (1926).

«Индивидуум интересуется меня только в его отношениях с обществом»,  
[3] — написал однажды Фицджеральд. Эти слова не были пустой, ничего не значащей декларацией. Значительность его достижений как художника в «Великом Гэтсби» и «Молодом богаче» есть в полной мере результат тончайшего переплетения в них личного и социального. При этом понимание социального не ограничено у Фицджеральда непосредственным воздействием на личность окружающего мира, тем, что обычно именуется давлением обстоятельств. Оно предельно расширено и включает всю историю нации, ее общественные идеалы и нравственные ценности, как прокламируемые с политической трибуны, так и выдвигаемые всем ходом общественного развития.

Построение столь сложной и далеко идущей перспективы с неизбежностью привело Фицджеральда к рассмотрению феномена «американской мечты», одного из кардинальных понятий всей американской истории. В образе главного героя романа, Джея Гэтсби, писателю удалось добиться поразительной гармонии в передаче одновременно бесконечной притягательности мечты и неизбежности её краха. Прозрение обреченности мечты, которую Фицджеральд с полной справедливостью объясняет исходно присущей ей двойственностью, мнилось одним на важнейших художественных открытий писателя, которое много дало развитию всей американской литературы, особенно после второй мировой войны. В творчестве же самого Фицджеральда это привело к нарастанию трагизма, получившего наиболее законченное воплощение в романе «Ночь нежна» (1934).

Однако современники писателя были отнюдь не склонны разделять его трагическое восприятие американской действительности. Начиная с самых первых, весьма несовершенных его произведений, широкая читательская публика жаждала видеть в нем лишь певца «века джаза», глашатая тех истин, которые возвестило молодое поколение, выше всех ценностей поставившее юность, наслаждение и веселье. Она не желала замечать все сильнее заявлявшей о себе критической направленности произведений Фицджеральда, все острее обозначавшейся двузначности его оценок, указывавших на характерный для окружающего мира губительный разрыв

идеального и реального, его открытого неприятия буржуазной этики. В самом Фицджеральде она стремилась видеть воплощение собственных идеалов, целиком отождествляя личность писателя и его героев.

Непонимание со стороны читательской аудитории усугублялось безразличием критики, оказавшейся неспособной не только понять и по достоинству оценить произведения Фицджеральда, но даже услышать его. В результате сложилась, быть может, одна из самых трагических ситуаций в американской литературе нашего столетия. Писатель, находившийся в расцвете таланта, оказался, по существу, в полной изоляции и с каждым годом пропасть, отделявшая его от современников, все углублялась.

«Он являл собой воплощение американской мечты — молодости, красоты, обеспеченности, раннего успеха — и верил в эти атрибуты так страстно, что наделял их определенным величием», — пишет в биографии Фицджеральда Эндрю Тернбулл. Он точно схватил и выразил сущность отношения к писателю, которое доминировало среди его современников.

Живой человек был превращен в абстракцию, в символ, и массовое сознание требовало неизменности их полного тождества. Чем более отдалялся писатель в ходе своего творческого развития от образа, созданного воображением современников в пору его первых литературных успехов, тем упорнее цеплялись они за этот символ «воплощенной мечты», тем ожесточеннее навязывали его Фицджеральду, настаивая, что он не может быть ничем иным, безразличием и забвением наказывая его за «отступничество» от милого их сердцу идеала.

Справедливости ради надо сказать, что у этого, порожденного воображением, образа-символа были вместе с тем, в известном смысле, некоторые объективные основания. Отчасти он восходит к трактованным с неоправданной расширительностью образам героев ранних произведений писателя. В какой-то мере дал повод для подобного истолкования сам Фицджеральд, чей экстравагантный стиль жизни вызывал невольные ассоциации с беззаботными детьми «века джаза».

Самой, может быть, серьезной причиной этого имевшего трагические последствия заблуждения было, однако, своеобразие художественного метода писателя. Фицджеральд выступил первооткрывателем не только в сфере социального видения и проблематики, но и в области поэтики. Среди крупных американских писателей XX века он первым начал развивать в своем творчестве принцип лирической прозы. Тем самым Фицджеральд стал зачинателем одного из наиболее плодотворно развивавшихся прозаических жанров нашего времени. При жизни писателя, к сожалению, значение его художественных открытий, сама их природа были далеко не

так ясны, как теперь. Творческие искания Фицджеральда в этой области немало содействовали становлению ряда виднейших американских романистов, как мастеров лирической прозы. Среди них, прежде всего, нужно назвать Хемингуэя и Томаса Вулфа. С годами значение его художественного опыта для американской литературы неуклонно возрастало.

Лирическая природа дарования Фицджеральда выявилась в своеобразии его подхода к материалу. В одном из его писем встречается такое признание: «Я должен начинать с эмоции — такой, которая близка мне, которую я могу понять».<sup>[4]</sup> Эта эмоциональная близость автора описываемому предмету, ситуации, персонажу передавалась и читателю, завораживая его ощущением чуть-ли не осязаемой неподдельности созданного Фицджеральдом мира, собственного непосредственного участия в изображаемых событиях.

Эта особенность фицджеральдовской манеры письма отмечают многие современные исследователи его творчества. Так, А. Майзенер считает ее одним из «самых примечательных свойств» писателя, соединившего, по его словам, «наивность полного эмоционального растворения с беспристрастностью почти научного наблюдения, так что он почти неизменно писал о том, что было глубоко пережито им лично, и почти неизменно так, словно важной целью этого личного опыта было служить иллюстрацией общих ценностей».<sup>[5]</sup>

Такой подход требовал со стороны читателя если не умения, то, по крайней мере, осознания необходимости четкого разграничения в произведении субъективного и объективного. Необычайно сильно воздействуя на эмоции, он, в первую очередь, апеллировал к читательскому интеллекту. В американской критике эта способность Фицджеральда получила название «двойного видения» Но случилось это много лет спустя, после смерти писателя. Его современники, даже самые проницательные, оказались в этом отношении поразительно невосприимчивы, что имело для писателя, как уже говорилось, трагические последствия.

Надежды, которые Фицджеральд связывал с выходом новых произведений, к которым сам он относился с необычайной строгостью, рушились одна за другой. Окруженный стеной непонимания, он все более сомневался в правильности избранного пути. Сомнения подтачивали его творческие силы, приведя в середине 30-х годов к тяжелому духовному кризису, который Фицджеральд запечатлел в серии отмеченных поразительной глубиной самоанализа автобиографических очерков под

общим названном «Крушение» (1936).

Особенно тяжело переживал Фицджеральд то, что его искания не встречали понимания в писательской среде. Больно ранила его та вольность, которую позволил себе Хемингуэй, посвятив в «Снегах Килиманджаро» целый пассаж «бедняге Скотту», благоговеющему перед богатством. Фицджеральд был глубоко уязвлен не только бестактностью, но и несправедливостью этого суждения. В «Крушении», где Скотт не раз касался вопроса о своем отношении к богатым и богатству, он говорил, что ненавидит богачей глухой ненавистью крестьянина.

Этот эпизод положил конец многолетней дружбе, начавшейся с того, что Фицджеральд помог Хемингуэю в опубликовании его произведений. Вообще отношение Фицджеральда к начинающим писателям отличалось большой деликатностью и благородством, не один из них обязан своими успехами в литературе его поддержке.

Утрата популярности заметно осложнила отношения Фицджеральда с издателями. Теперь ему стоило все больших усилий пристроить куда-то свой новый рассказ. Гонорары падали. В 1935 году увидела свет последняя крупная прижизненная публикации Фицджеральда — сборник рассказов «Побудка на заре». Однако, несмотря на все трудности, переживаемые писателем, даже последние годы его жизни не были, как было принято считать, творчески бесплодны. За пять последующих лет он создал около 50 рассказов, часть которых вышла в периодических изданиях, другая осталась в рукописи и была опубликована посмертно. Остался в рукописи и неоконченный роман «Последний магнат», работу над которым прервала смерть писателя.

Интерес к творчеству Фицджеральда возродился лишь в конце 40-х — начале 50-х годов. Тогда были переизданы его крупнейшие произведения, но прочли их люди, в лучшем случае, знавшие о писателе лишь понаслышке. Началась работа по собиранию и публикации рукописного наследия писателя, а также произведений, разбросанных по различным периодическим изданиям. Итогом этого явилось издание нескольких томов новеллистики Фицджеральда, завершившееся в 1979 году публикацией однотомника, в состав которого вошло 50 практически неизвестных рассказов.

В это же время творчество Фицджеральда привлекло и внимание исследователей. Во все возрастающем потоке посвященных ему книг и статей появилась первая полная биография писателя, написанная Э. Тернбуллом. Почти одновременно с ней, в 1963 году, Тернбулл выпустил подготовленный им объемистый том писем Фицджеральда, куда вошла

значительная часть его эпистолярного наследия. Работа над этими книгами, во всяком случае, хотя бы отчасти, велась параллельно. Знакомство с письмами писателя, вероятно, в значительной мере предопределило направление и характер биографического исследования. Тернбулл идет не от априорных суждений о писателе, а от документальных свидетельств, удачно привлекая переписку для характеристики внутреннего мира Фицджеральда, его взглядов на общество, человека, литературу, его понимания роли художника. Все это проливает свет как на личность писателя, творческую и человеческую, так и на его литературную деятельность.

Но, использованные в книге источники не ограничиваются одной лишь перепиской. Автором были изучены также дневники и записные книжки Фицджеральда, которые особенно важны для понимания творческого процесса, приведившего писателя к созданию тех или иных произведений. Широко привлекаются также письменные и устные свидетельства людей, лично знавших писателя. Солидный документальный фундамент сообщает убедительность собственным рассуждениям автора, внушает доверие к достоверности излагаемых в книге фактов биографии, позволяя многосторонне раскрыть облик противоречивого писателя.

Особое значение приобретает книга Тернбулла в силу того факта, что автор биографического исследования сам был лично знаком с Фицджеральдом. Правда, в те годы, на которые падает это знакомство, он был лишь подростком и не мог в полной мере осознать того, что развертывалось перед его глазами, не мог понять постигшей писателя трагедии. Но и тогда он испытал громадное обаяние личности Фицджеральда, отсветы которого придают его книге особую теплоту.

Прекрасно воссоздана в книге Тернбулла среда, в которой проходили детство писателя, годы обучения в Принстоне, его любовь к Зельде, первые годы их супружеской жизни, трагедия, связанная с ее психической болезнью, их романтическое бунтарство, превратившееся со временем в эксцентрические выходки, которые поначалу казались безобидной забавой, а затем стали если не причиной, то орудием разрушения его творческой личности. Выразительно очерчены последние годы жизни писателя, в которых соединилось крайнее отчаяние и мужество, одиночество и благородство, страшная неприютность и нестигаемость воли художника. Несколько бледнее обрисованы годы, проведенные Фицджеральдом за границей, и то, как пребывание там отразилось на его творчестве.

Если попытаться определить внутренний стержень данной биографии, то это рассмотрение психологии творчества Фицджеральда. Автор, прежде

всего, стремится проникнуть во внутренний мир художника, уловить побудительные мотивы, настроения, подтолкнувшие его к созданию тех или иных образов или произведений. Тернбулла больше привлекает выявление психологических стимулов и нюансов, нежели интерпретация и оценка конечного результата. В центре внимания, как и должно быть в биографии, оказывается личность художника. Однако в подходе Тернбулла недостаточно акцентирована связь личности с конкретно-исторической постановкой, ее зависимость от нее, в судьбе Фицджеральда оказавшаяся фатальной. Порой невольно возникает ощущение, что для автора конечные объяснения судьбы писателя упираются в личность самого писателя, что в нем самом коренится причина его писательской трагедии. В значительной мере упускается из виду та сторона взаимоотношений Фицджеральда со своей эпохой, которая связана с современным ему обществом.

Как никто другой, Фицджеральд остро ощущал давление атмосферы воинственной бездуховности, враждебность искусству и подлинной красоте, присущую американскому обществу. Красноречивую характеристику последнего мы находим в речи Синклера Льюиса, произнесенной при вручении ему Нобелевской премии. Ее название говорит само за себя — «Страх американцев перед литературой» (1930). Характеризуя положение американского художника, С. Льюис сказал: «... он несет бремя потяжелее бедности: сознание ненужности своих произведений, сознание, что читатели хотят видеть в нем только утешителя или шута или, что его благодушно считают безобидным брызгой, который, по всей вероятности, никому не хочет зла и который, во всяком случае, ничего не значит в стране, где строятся восьмидесятиэтажные здания, производятся миллионы автомобилей и миллиарды бушелей зерна».<sup>[6]</sup>

Фицджеральд-художник и полной мере изведal тяжесть сознания собственной ненужности. Как личность, он был сломлен изнурительной борьбой с Америкой бизнеса и коммерции, стремившейся подчинить его своему стандарту. Как художник, он вышел из этой схватки победителем. Вот почему в наши дни читатели и в Америке, и за рубежом, в том числе и в нашей стране, все чаще обращаются к богатому художественному наследию Фицджеральда.

*М.Коренева*



## ГЛАВА I

Это повествование мы начнем с Макквиланов, ибо они находились у его истоков.

В 1843 году мальчуган девяти лет по имени Филип Фрэнсис Макквилан вместе с родителями перебрался в Америку из ирландского графства Фермана. Семья осела в местечке Галина в штате Иллинойс. След родителей со временем затерялся, но имя приказчика магазина готового платья Филипа Фрэнсиса Макквилана, или ФФ — инициалы, под которыми он стал известен, появляется в справочниках Галины за 1954-53 годы. В 1857 году, двадцати трех лет от роду, он перебирается в быстро пускавший корни городишко Сент-Пол, столицу создававшегося тогда штата Миннесота, который стремительно превращался в крупный торговый центр всего Северо-Запада. Макквилан вознесся на волне катившегося бума и застал то время, когда Сент-Пол начал уже приобретать черты солидного города. Однако, в ту пору, когда он только поселился в нем, улицы здесь еще не замостили, индейцы встречались на каждом шагу, и сам воздух был пропитан острым запахом кож, вывешенных в витринах магазинов.

Макквилан устроился клерком в бакалейную лавку, спустя два года открыл собственную торговлю в небольшом одноэтажном деревянном домишке. В 1860 году он женился на Луизе Аллен, девушке, которую любил. Дела шли в гору и, вскоре, став посредником-оптовиком, Филип переехал в более просторное помещение. В 1869 году он перебирается на новое место и, наконец, в 1872-м переселяется еще раз — теперь в построенный по его проекту четырехэтажный дом с магазином и складом внизу, одно из самых крупных зданий в городе. К этому времени Макквилан начал сдавать — брайтова болезнь давала себя знать. В 1877 году, в возрасте сорока трех лет, он покинул этот свет, оставив состояние, оценивавшееся в 266289 долларов 49 центов, и дело с ежегодным миллионным торговым оборотом.

Так завершилась карьера, которую в некрологах называли «воплощенной в жизнь мечтой, ибо в течение каких-нибудь двадцати лет Макквилан, благодаря исключительно собственным усилиям, поднялся от заурядного торговца до одного из самых могущественных коммерсантов страны». Тридцать девять магазинов прекратили работу в день его погребения. На похороны прибыли «ведущие деловые люди Сент-Пола, адвокаты, учителя, представители всех слоев населения», а также

воспитанники детского приюта, «который не имел более щедрого покровителя, чем Макквилан». Церковь не могла вместить всех желающих присутствовать на траурном богослужении, а за гробом следовало более ста карет, что «сделало процессию одной из самых импозантных, какие когда либо видел город».

Успешная карьера Макквилана, дедушки по матери, не в малой степени определила материальное благополучие Фицджеральда, как и его положение в обществе. Это была база, на которую он мог опереться. Для ребенка, выросшего на Среднем Западе, это обстоятельство имело большее значение, нежели его происхождение по отцовской линии, восходившее к старинному именитому роду из Мэриленда.

От деда Макквилана Скотт унаследовал благородное честолюбие и привычку полагаться только на собственные силы. В Фицджеральде, который испытывал глубокое уважение к людям, заработавшим все своим собственным горбом, почти не было ничего от праздного человека и ни грана от нахлебника или прощельги.

За несколько лет до своей смерти ФФ построил для семьи жилой дом в нижней части города, старом (ныне деловом) районе Сент-Пола. Подобно многим домам того периода, он имел башенку, но, в отличие от них, дорожка к нему была выложена ракушками и окаймлена крупными морскими раковинами — деталь, навсегда очаровавшая Фицджеральда: недаром он в последствии много раз рассказывал об этом своей дочери. В этом гнездышке среди комфорта, но отнюдь не роскоши, вдова ФФ воспитала пятерых детей, из которых старшая дочь — мать Фицджеральда — родилась в 1860 году, а младшая — в 1877-м, уже после смерти отца. Бабушка Фицджеральда, Луиза Макквилан, осталась в памяти как тихое домашнее существо, неизменно одетое в безупречного покроя черное шелковое платье, какие носили в ту пору дамы. После семьи церковь была ее главным пристанищем. Каждые два-три года она совершала паломничество со всеми детьми в Европу (мать Фицджеральда до замужества побывала на континенте четыре раза). Утверждали, что бабушка пересекала океан прежде всего, чтобы поклониться римскому папе. Детям эти путешествия пошли на пользу. В те годы поездка за границу означала довольно длительное пребывание в какой-либо стране. «Пилигримы» селились, где хотели, изучали местный язык и привозили домой *objets d'art*<sup>[7]</sup> — наподобие той копии Сикстинской мадонны, что висела в прихожей Макквиланов.

В Сент-Поле 80-х годов Макквиланы слыли добропорядочной католической семьей, занимавшей, на языке снобов, «весьма недурное

положение». Ведь ФФ являлся оптовым посредником, не просто торговцем, а это занятие считалось солидным делом. Старший сын, Аллен, получивший образование в Стоунхерсте,<sup>[8]</sup> прекрасный танцор принадлежал к клубу «Котильон», куда доступ был открыт далеко не всем, дочь Арабелла как-то даже удостоилась чести выступить в роли подружки новобрачной на свадьбе Клары Хилл, отпрыска железнодорожного магната Дж. Дж. Хилла. Но, в целом, Макквиланы не задавали тона в обществе и дети унаследовали непрактичность матери, которая вовсе не прилагала усилий, чтобы устроить их жизнь.

Мать Фицджеральда, Мэри, или Молли, как звали ее дома, обладала романтическим характером, но неромантической внешностью. В уголках ее широкого, забавного рта, который кто-то сравнил с горлышком старого кувшинчика, казалось, навсегда застыло изумление. Округлое лицо имело несколько плоские черты. Её серо-зеленые глаза, на удивление, блеклые под темными тяжеловатыми бровями, перешли к сыну. Но если на его лице они были прекрасны, то на ее выглядели неестественными. Она много читала: современные романы, биографии — все, что попадалось под руку, не удусуживаясь при этом переварить прочитанное. Не столь застенчивая, как сестры, она горела желанием выйти замуж, но мужчинам она нравилась меньше, чем они ей. Что-то вспыхнуло между нею и одним армейским офицером, но необъяснимо угасло, и на пороге тридцати, не имея иных претендентов, она решила связать свою судьбу с Эдвардом Фицджеральдом, который состоял в ее поклонниках уже несколько лет.

Эдвард Фицджеральд родился в 1853 году в местечке Гленмари, недалеко от Роквилла, в округе Монтгомери штата Мэриленд. Мало что известно о его отце, Майкле Фицджеральде, который умер, когда сыну едва минуло два года. Мать Эдварда, Сесилия Аштон Скотт, происходила из мэрилендской семьи, предки которой были видными деятелями в законодательных органах колоний и членами губернаторских советов. Прапрадед Эдварда Фицджеральда приходился братом Фрэнсису Скотту Ки,<sup>[9]</sup> а его двоюродный брат — зятем госпоже Сюратт, повешенной за соучастие в покушении на Линкольна. Когда Скотт Фицджеральд стал знаменитым, его родители высказали пожелание, чтобы он написал книгу, в которой бы оправдал госпожу Сюратт, но Скотт ответил, что она была или виновна, или глупа и, что, в любом случае, его эта тема не интересует.

Жители Роквилла, хотя и находились в течение почти всей Гражданской войны на территории, контролируемой северянами, душой были на стороне Юга. Девятилетним мальчиком Эдвард Фицджеральд уже

переправлял на лодке через реку лазутчиков-конфедератов, а, однажды, весь день, просидел на заборе, наблюдая, как батальоны Эрли устремились в последнем броске на Вашингтон.<sup>[10]</sup>

Гражданская война — самое яркое событие его юности, а может быть, и всей жизни. В начале 70-х годов, после завершения образования, — он проучился три года в университете Джорджтауна — Эдвард отправился на Запад и поисках фортуны, которая оказалась к нему не столь благосклонной, как к ФФ Макквилану. В течение некоторого времени он работал в Чикаго, после чего перебрался в Сент-Пол, где, в конце 80-х годов, стал управляющим «Америкен раттен энд уиллоу уоркс» — предприятия по производству плетеной мебели.

Уготованную Эдварду Фицджеральду судьбу неудачника отнюдь нельзя было предсказать в ту пору, когда он женился. Что-то выделяло из толпы этого маленького, щегольски одетого человека с бородкой клинышком, прямой осанкой, неторопливой походкой, обходительными, порой даже, очаровательными манерами. Его внешность была привлекательной, даже слишком, — еще один мазок природы, и она стала бы приторной. Кто бы мог подумать, что эта красиво слеplенная голова, изысканно отточенный профиль служат прикрытием скуки и ограниченности? В довершение всего Эдварду Фицджеральду не доставало жизненной силы. Как позднее заметил его сын, Эдвард вышел из «старого, одряхлевшего рода». В нем поселилась южная вялость или размягченность, а, возможно, и просто утомление, и это не позволяло ему приноровиться к кипучему ритму Среднего Запада.

После свадьбы в феврале 1890 года Эдвард и Молли отправились в свой медовый месяц — в Европу. Из Ниццы Эдвард писал домой: «Мне выпало большое счастье, что досталась такая жена; чтобы ее полностью оценить, ее надо поближе узнать». Молли вторила ему со свойственным ей романтическим пылом: «Сегодня вечером мы совершили чудесную прогулку. Ницца, как ты знаешь, расположена на самом берегу Средиземного моря. Луна светила так ярко, и вода отдавала такой голубизной, что лучшей ночи для людей в нашем положении не пожелаешь. Если ты когда-нибудь женишься, Джон (брат Эдварда — Э.Т.), и захочешь, славно, нет, прелестно провести время, приезжай в Европу и остановись на недельку в Ницце. Мы с Тедом здесь очаровательно отдохнули, и, что бы ни случилось в будущем, этот период останется самым безоблачным мгновением в нашей жизни, о котором будет всегда приятно вспоминать».

Но уже очень скоро на Фицджеральдов обрушились беды. Два их первых ребенка, девочки, умерли от свирепствовавшей в то время

эпидемии. «Иногда я задаю себе вопрос: «Вернется ли когда-нибудь ко мне любовь к жизни? — искал сочувствия Эдвард у матери. — Возможно, что вернется, но острое ощущение радости утрачено навсегда». Молли ничем не выдавала своей скорби. Она никогда не говорила об умерших детях и годы спустя, но Скотт ощущал последствия этой утраты и связывал их со своей писательской судьбой. «За три месяца до моего рождения, — вспоминал он, — мать потеряла двух детей. Именно это горе явилось моим первым ощущением жизни, хотя я и не могу сказать точно, каким образом оно ко мне пришло. Мне кажется, что тогда и зародился во мне писатель».

Нет ничего удивительного в том, что Молли самозабвенно пестовала свое чадо, которое появилось на свет после столь тяжелых испытаний.

Фрэнсис Скотт Ки Фицджеральд родился в 3 часа 40 минут пополудни 24 сентября 1896 года в доме 481 по авеню Лорел. Это был довольно крупный малыш около пяти килограммов. Первую запись о его жизни мы находим в дневнике матери за 6 октября 1896 года: «Госпожа Ноултон (няня — Э.Т.) вынесла маленького Скотти подышать на улицу, на несколько минут. Во время прогулки он посетил самые значительные места в округе — магазины «Ламберт» и «Кейнс». Свое первое слово «дай», как это следует из дневника, он произнес 6 июля 1897 года, а самым ранним его «перлом» было: «Мама, когда я стану большим, можно мне будет иметь все, что мне не положено?»

Скотту исполнилось полтора года, когда предприятие отца прогорело, и Фицджеральды переехали на Восток, в Буффало, где Эдвард Фицджеральд устроился коммивояжером от фирмы «Проктер энд Гэмбл». В 1901 году они перебираются в Сиракузы, а два года спустя, возвращаются в Буффало. События этих ранних лет Скотт Фицджеральд позднее свел воедино в дневнике, изложив их помесечно. В нем, почерком, по его собственным словам, ни на чей не похожим, засвидетельствовано то, что происходило с ним с первого по седьмой год жизни...

Запись от сентября 1903 года: «...Он (Фицджеральд пишет о себе в третьем лице — Э.Т.) отправился в Буффало, наверное, потому, что там у него оставался черный спаниель по кличке Великолепный Джо и велосипед, правда, девчачий. Его поместили в школу при монастыре Святого ангела с условием, что он будет проводить там лишь половину дня, причем любую по выбору. Он жил в доме 29 в квартале Ирвинг-Плейс...»

В Ирвинг-Плейсе Фицджеральд провел последующие два года. Это был квартал с улицами-аллеями — тихая, укромная теплица, будто специально созданная для взращивания поэтов. Дети играли в мяч в легкой тени деревьев или стремглав гоняли на самокатах вниз по улице — одной

из тех, где булыжник уже заменили асфальтом. По соседству с Фицджеральдами жил мальчик по имени Тед Китинг. Когда приходила весна, детям не хватало дня, чтобы растратить накопившуюся энергию. Тед и Скотт отправлялись спать, обвязав большой палец ноги тесемкой и выбросив конец ее за окно. Тот, кто первым вставал на следующее утро, бежал к окну и дергал за тесемку.

Но все же лучшим другом Скотта — из-за их общей привязанности к театру — стал Гамильтон Венде. Семья Гамильтона была знакома с Фарнамами. Дастин Фарнам, прославившийся позднее как звезда вестернов, вместе с братом Вильямом играл в летнем театре Буффало. Каждую субботу Гамильтон доставал два бесплатных билета в театр «Тэк» и один из них всегда приберегал для Скотта. Опершись локтями на колени и подперев ладонями подбородок, Скотт не отрывал глаз от сцены. После спектакля он вместе с Гамильтоном спешил домой, чтобы разыграть только что увиденное. Скотт обладал поразительной памятью: он мог без запинки повторить длинные отрывки из прослушанного диалога. Природа наделила его также актерскими способностями: напялив на голову наволочку и обвязав шею шарфом матери, он перевоплощался то в турка, то в пирата, то в галантного кавалера. Реквизит Гамильтона состоял из алюминиевого меча и пары ковбойских шляп а ля Тедди Рузвельт.<sup>[11]</sup> С этим нехитрым гардеробом и с натянутой на бечевку простыней они устраивали представления для детей округа, не забывая при этом взимать плату за вход.

Венде считал Скотта добрым, предупредительным, веселым и покладистым другом. Они расходились лишь в вопросах о спорте. После занятий в школе Венде тянуло играть в бейсбол или регби, в то время как Скотт хотел чтобы Венде отправился с ним в публичную библиотеку. Домашний ребенок, Фицджеральд сторонился физических упражнений. Однако слова «маменькин сынок» были бы слишком резкими для него. «Кажется, в это время, — пишет Скотт в своем дневнике, — он разбил нос какому-то мальчишке и убежал из школы, придумав дома в оправдание какую-то отговорку».

Молли редко вмешивалась в дела сына, хотя и вынашивала честолюбивые планы относительно его будущего. Если он с Гамильтоном отправлялся куда-нибудь в гости, она наказывала ему не слишком-то прилипать к Гамильтону, а возвращаться среди других детей. Она неоднократно отводила Гамильтона в сторону и доверительно сообщала ему, что Скотт — потомок знаменитого Фрэнсиса Скотта Ки. В отношении одежды сына Молли была столь же щепетильна, как небрежна к своей

собственной. Родителей других детей вполне устраивало местное отделение магазина верхнего платья «Браунинг Кинг». Костюмы же Скотта фирмы «Итон» выглядели гораздо элегантнее. Можно было подумать, что их присылали по почте из фешенебельного нью-йоркского «Де Пинна». Если другие дети носили обычные галстуки, завязанные свободным узлом с двумя длинными концами, то Скотт щеголял в шелковых галстуках разных оттенков, в зависимости от цвета рубашек «Итон», причем вывязывались они спереди бантом.

В сентябре 1905 года, когда Скотту исполнилось девять, Фицджеральды переехали в дом 71 на авеню Хайленд. Непоседа Молли вечно оправдывала переезд в соседний квартал или через несколько кварталов одной ей ведомыми преимуществами. В данном случае, семья переселилась в более уважаемый район и Скотт, в отличие от родителей, которые так и не сумели пустить глубоких корней в Буффало, и потому не имели близких знакомых, быстро завел новых друзей. Многим обитателям Хайленда жизнь Фицджеральдов в деревянном домике с башенкой-светелкой, похожей на шляпку колдуньи, казалась замкнутой и таинственной. Может быть, догадываясь об этом, Скотт предпочитал чаще играть с друзьями в их домах, нежели в своем собственном.

Он много раз бывал у Пауэллов, в доме напротив. Здесь на веранде всегда толпилась молодежь. В разговорах со старшими детьми Скотт поражал богатством своего языка и способностью оценивать людей. В отличие от своих собеседников, которые имели самое смутное представление о собственном будущем, он четко представлял себе свой дальнейший путь. Он знал, например, что пойдет учиться в Принстон: на его *parti pris*<sup>[12]</sup> повлиял концерт хора Принстона, во время которого его буквально до слез тронула песня о болеутоляющей микстуре.

В этот период он выглядел хрупким милым подростком со светлыми, расчесанными на прямой пробор волосами и большими светящимися глазами, которые приобретали то серый, то зеленоватый, то голубой оттенок. Он любил подтрунивать над другими, но не обижался, если то же самое проделывали с ним. В нем рано пробудились признаки индивидуальности. Однажды он заработал от родителей подзатыльник за то, что счел смешным кланяться каждому встречному. В другой раз, в католической школе госпожи Нардин, куда он перекочевал из монастыря Святого ангела, он уперся на уроке, что Мехико-Сити не является столицей Центральной Америки. Эту тяжбу с учительницей он позднее описал в одном из своих рассказов:

«Итак, столицей Америки является Вашингтон, — изрекла мисс Коул,



— столицей Канады — Оттава, а столицей Центральной Америки...

— Мехико-Сити, — отважился кто-то.

— Такой нет, — с отсутствующим видом произнес Теренс.

— Но она же должна иметь столицу, — вперившись в карту, произнесла мисс Коул.

— Что поделаешь, если ее там нет.

— Перестань возражать, Теренс. Запишите, столицей Центральной Америки является Мехико-Сити. А теперь перейдем к Южной Америке.

Теренс засопел.

— Зачем же нас учить тому, что неверно, — пробормотал он.

Десять минут спустя, слегка испуганный, он стоял в кабинете директора школы, где все силы несправедливости в некотором замешательстве ополчились против него».

Фицджеральд был строптивым учеником, он любил читать то, что ему нравилось. «Первая же прочитанная мной книга, — вспоминал он, стала одним из самых больших откровений в моей жизни. Ею оказалась всего лишь книжечка для детей, но она всколыхнула во мне самые грустные и щемящие чувства. С тех пор она ни разу не попадалась мне на глаза. В ней рассказывалось о борьбе таких крупных животных, как слон, с малыми зверями, подобными Лису, которые выиграла первую битву, но в конце концов, слоны, львы и тигры одолели их. Автор стоял на стороне сильнейших, но все мои симпатии я отдавал маленьким существам. Иногда я задумываюсь: неужели уже тогда я ощущал подминающую силу влиятельных, всеми почитаемых людей? Даже сейчас, когда я подумаю о бедном предводителе — Лисе, у меня навертываются на глаза слезы. С тех пор Лис, в моем представлении, каким-то образом, олицетворяет беззащитность».

С этого скромного начала вкус Фицджеральда постепенно развивается, он читает все — от «Шотландских вождей», «Айвенго» и серии Хенти<sup>[13]</sup> до издаваемых в тисненых тканевых обложках «Налетов с Морганом» и «Вашингтона на Западе», которые он не мог взять в руки без трепета. В нем начинает проступать и литературный снобизм — он предпочитает «Святого Николаса» «Спутнику юноши». Он и сам пытается писать историю Соединенных Штатов, но не переваливает дальше битвы у Банкер-Хилла.<sup>[14]</sup> За этой попыткой следует детективный рассказ об ожерелье, спрятанном в потайном лазе в полу, прикрытом ковром. Подражая «Айвенго», маленький Скотт пишет повесть «Илаво» и, наконец, берется за «знаменитое эссе о Джордже Вашингтоне и святом Игнатии». Отец читал



ему «Ворона» и «Колокола» Эдгара По, «Шильонского узника» Байрона. Таинственность прочитанного находила отклик в его душе и, по дороге на Ниагарский водопад, он слышал «в сумерках чарующие голоса».

Были и другие путешествия — в Чаутаука, Кетскил, Лейк-Плэсид. Он побывал в детском лагере «Четэм» в местечке Ориллия в провинции Онтарио, где «купался, ловил, чистил и ел рыбу, катался на лодках, играл в бейсбол и был чертовски непопулярен среди ребят. Его память сохранила их имена — Уайтхаус, Олден, Пенни, Блок, Блэйр... Он помнил, как святой отец Апхем пел «Вот вернется кот», дорогу, усыпанную опилками, фотокамеру, мутные фотографии, которые получались у него, библиотеку лагеря, исполнявшиеся хором песни, соревнования по «фехтованию», когда стоящие в каноэ «противники» старались опрокинуть друг друга в воду длинными жердями с насаженными на концы подушками, греблю, которой обучал их Апхем».

По возвращении домой Фицджеральд стал проявлять больше интереса к занятиям спортом. Во время соревнований по баскетболу «он буквально влюбился в темноволосого юношу, который играл с меланхолическим пренебрежением». В команде регбистов с его улицы, известной под названием «Юные американцы», он «выступал в роли защитника, или стоппера, и, как всегда, глупо дрейфил». Родители подарили ему роликовые коньки, которые оказались слишком замысловатыми, чтобы научиться на них кататься. Постепенно он мужал, но в нем оставалось и что-то чистое, хрупкое, к чему не прилипла грубость и вульгарность. Один из друзей по команде вспоминал, как отец Скотта, этот истый джентльмен с тихим голосом, предлагал пари: пять долларов тому, кто услышит хоть одно бранное слово из уст его сына. Для расплаты Скотт избирал изысканные способы. Однажды, когда старший по возрасту подросток нечестным путем обыграл его в кольца, Скотт пошел домой и, вернувшись через некоторое время, стал повторять фразу, которую никто не мог понять. Оказалось, в переводе с латыни она означала «ты — король жуликов-кольцemetателей».

Вскоре в его жизнь вошли девушки. Он стал звездой в танцевальном классе господина Ван Арнама, где наряду с премудростями вальса и падекатра обучали также хорошим манерам, поклонам и книксенам и где юноши танцевали с платочками в правой руке, чтобы не запачкать платья девушек. Скотт носил черный костюм, потому что синий, как утверждал отец, «ординарен», и был единственным учеником, ходившим в лакированных бальных туфлях.

Его любовь к Китти Вильямс проснулась, когда он избрал ее своей партнершей для мазурки. «На следующий день, — писал Фицджеральд в

дневнике, который держал под замком в сундуке под кроватью, — она призналась Мари Лоц, а та передала это Дороти Нокс, которая, в свою очередь, поделилась этим с Эрлом, что я был у нее на третьем месте среди выбранных ею поклонников. Не помню, кто занимал первое место, но второе принадлежало Эрлу. Поскольку я находился полностью во власти её чар, я решил во что бы то ни стало передвинуться на первое. Кульминационный момент наступил на вечеринке, где мы играли в «испорченный телефон», в «садовника», «бутылочку» и другие глупые, но забавные детские игры. Невозможно сосчитать, сколько раз я поцеловал в тот вечер Китти. Когда мы расходились по домам, я прочно обеспечил себе заветное первое место, которое удерживал вплоть до окончания занятий танцами весной, когда я уступил его своему сопернику Джонни Гаунсу... На Рождество я купил двухкилограммовую коробку конфет и направился с ней в ее дом. К моему большому удивлению, дверь открыла Китти. От смущения я чуть не упал в обморок. Наконец я протянул ей коробку и, запинаясь, промямлил: «Пе-пе-передайте это К-Китти» — и, повернувшись, стремглав бросился домой».

Между тем, дела Эдварда Фицджеральда шли все хуже и хуже. Как коммивояжеру ему приходилось посещать много клиентов. Находявшись за день, он возвращался домой измочаленным.

Его увольнение компанией «Проктер энд Гэмбл» в марте 1908 года глубоко ранило маленького Скотта.

«Однажды в полдень, — вспоминал Фицджеральд много лет спустя, — раздался телефонный звонок и мать подняла трубку. Я не понял, что она сказала, но почувствовал, что нас постигло несчастье. За несколько минут до этого мать дала мне двадцать пять центов на бассейн. Я вернул деньги матери, зная, что произошло что-то ужасное и что сейчас ей придется экономить.

Затем, опустившись на колени, я стал молиться. «Милостивый боже, — взывал я к Всевышнему, — не допусти, чтобы мы оказались в доме для бедных». Через некоторое время вернулся отец. Я оказался прав: он потерял место.

В то утро он ушел на работу сравнительно молодым человеком, полным сил и веры. Вечером же он вернулся домой совсем сломленным стариком. В нем угас жизненный импульс и его благородные идеалы рассыпались в прах. До конца дней своих он так и остался неудачником.

И еще я помню другую деталь. Когда отец пришел домой, мать подтолкнула меня к нему: «Скотт, скажи что-нибудь папе».

Не зная, что бы тут придумать, я подошел и спросил: «Пап, как ты

думаешь, кто будет следующим президентом?». Он не отрываясь смотрел в окно. На лице его не дрогнул ни один мускул. Затем он ответил: «Я думаю, Тафт».

Этот удар оказался одновременно и горем, и толчком к действию. Фицджеральд любил отца и всегда дорожил теплившимся чувством общности, которое связывало их. Он восхищался вкусом отца, его воспитанностью, прекрасными манерами, которые значили больше, чем воспитанность, и могли, как знал Фицджеральд, быть лишь проявлением его добросердечия. Но Скотта снедало честолюбие и сознание того, что в каком-то смысле он теперь главный мужчина в семье и что именно от него ожидают больших свершений, подстегивало его.

В то лето Фицджеральды вернулись в Сент-Пол, где был вложен их основной капитал.

## ГЛАВА II

В минуту несчастья Скотт молил бога, чтобы семья не попала в дом для бедных. Но наследство Макквилана охраняло их от такого поворота судьбы. Фицджеральды располагали достаточными средствами, чтобы держать слуг и помещать своих детей в частные школы. После смерти бабушки Макквилан в 1913 году их общий капитал поднялся до 125 тысяч долларов — немалая сумма по тем временам. Сколоченное дедушкой Макквиланом состояние продолжало оставаться их единственным источником дохода. Заработок Эдварда, как оптового торговца бакалейными товарами, был мизерным. Все сорта риса, сухих абрикосов и кофе, продажей которых он занимался как посредник, уместались в верхнем ящике стола в кабинете его шурина — агента по продаже недвижимого имущества. Поговаривали, что Эдвард даже брал в кредит почтовые марки в магазине на углу улицы, где они жили.

«Если бы не дедушка Макквилан, что бы сейчас с нами стало?» — часто причитала Молли, обращаясь к Скотту, не ведавшему лишений, но уже хорошо знакомому с дырявым аристократизмом, который, словно бич, гонит по свету превеликое множество авантюристов и подвижников.

Первый год после их возвращения в Сент-Пол Фицджеральды жили у бабушки Макквилан, которая после продажи своего дома на авеню Саммит переехала в меньшую квартиру на близлежащей улице Лорел. Так Скотт неожиданно очутился в обществе детей авеню Саммит — в районе Сент-Пола, который в то время считался фешенебельным. Авеню представляла собой широкий, утопающий в зелени бульвар, живописно раскинувшийся вдоль обрыва, с которого открывался величественный вид на нижнюю часть города и дугой огибающую его Миссисипи. Простираясь на четыре улицы по обе стороны авеню, квартал занимал площадь почти в милю.

В этом, более обширном и сложном, чем ранее, окружении Фицджеральд быстро утвердил себя. Сверстники с любопытством отнеслись к живому юноше с тонкими чертами лица, который все еще носил по настоянию матери кепки и рубашки фирмы «Итон». В нем чувствовалась какая-то глубина и несвойственная подростку умудренность, хотя во всем остальном он, казалось, ничем не отличался от них. Вместе с ними он играл в прятки в сараях, носился наперегонки по переулкам, швырял камнями в мальчишек из бедных католических семей, проживавших в нижней части города, извлекал из сундуков старые вещи,

наряжаясь на маскарады. Он не прожил в Сент-Поле и месяца, как пять девушек признались, что он их избранник.

Больше всех ему нравилась Виолетта Стоктон, приезжавшая на лето в Сент-Пол из Атланты. Обнаруживая проницательность будущего писателя, быстро схватывающего детали, он описывал портрет избранницы в своем дневнике: «Ее привлекательность подчеркивали темно-каштановые волосы и большие глаза с мягким взглядом. Говорила, она с легким южным акцентом, смазывая букву «р». Хотя она была на год старше меня, я, как и большинство мальчиков, влюбился в нее».

«Мы с Джеком стащили у нее книгу, в которой говорилось о том, как привлечь к себе внимание посредством кокетства, и показали ее всем ребятам. Виолетта вспылила и убежала домой. Я тоже рассердился и тоже ушел домой. Виолетта тут же раскаялась и позвонила мне по телефону, чтобы узнать, продолжаю ли я дуться. Но я не хотел мириться сразу и резко оборвал разговор. На следующий день я пошел к Джеку и узнал, что Виолетта не выйдет гулять. Теперь настала моя очередь раскаяться, что я и сделал. Поэтому в тот вечер она снова присоединилась к нашей компании. Однако, до этого мне уже успели кое-что передать, как я позднее обнаружил, то же самое сказали и Виолетте. Потому я хотел поставить все на свои места.

— Виолетта, — отважился я, — ты называла меня хвастунишкой?

— С чего ты это взял?

— А просила, чтобы я вернул тебе кольцо, фотографии и локон?

— Нет. Да кто мог тебе такое наговорить?

— А говорила, что ненавидишь меня?

— Конечно, нет. Поэтому ты и ушел домой?

— Нет, не поэтому, но все это передал мне вчера вечером Арчи Мадж.

— Он негодяй! — возмутилась Виолетта...

В тот день я как следует наподдал Арчи Маджу и помирился с Виолеттой».

В сентябре Фицджеральд поступил в школу в Сент-Поле, где его наставниками стали священник Фиске и С. Уиллер. Фиске, преподававший греческий, латынь и математику, являл собой чуть ли не карикатуру на педагога старой школы. С вечно свалывшимися сзади волосами, с постоянно сползавшим на кончик носа пенсне, он, сидя в кресле, обычно вертел в руках карандаш, который частенько ронял. Однажды, когда Фицджеральда вместе с другими детьми оставили после уроков, он спросил Фиске, знает ли тот какую-нибудь шутку на латыни. Фиске, немного подумав, произнес каламбур на древнем языке, который никого не

рассмешил, зато обнаружил способность Фицджеральда создавать забавные ситуации из самого, казалось, неподходящего материала.

Уиллер больше импонировал Фицджеральду. Небольшого роста, жилистый, с козлиной бородкой, он преподавал английский и историю и, параллельно, вел физкультуру. Много лет спустя Уиллер вспоминал Фицджеральда как «жизнерадостного, энергичного светловолосого юношу, который еще в школьные годы знал, что ему предначертано в жизни... Я помогал ему, поощряя его страсть, — сочинение приключенческих рассказов. Это был его единственный конек, во всем прочем он не блистал. Он проявлял необычайную изобретательность в пьесках, которые мы ставили, и остался в памяти как сочинитель, вечно декламирующий свои произведения перед всей школой. Он не пользовался популярностью у школьных товарищей: он видел их насквозь и, не боясь, писал об этом... Я думал, он станет актером варьете, но судьба распорядилась иначе... Именно его гордость за успехи на литературном поприще помогла ему найти свое подлинное призвание».

Вскоре после поступления Фицджеральда в школу, школьный литературный журнал писал, что «молодой Скотти слишком дает волю своему интеллекту», и спрашивал, не найдется ли кто-нибудь, кто мог бы приструнить его или отыскать средство, чтобы заставить его замолчать. На уроках он витал в облаках: загородившись поставленным на попа учебником географии, сочинял очередной скетч. Такое поведение само по себе никого особенно-то и не трогало, но оно сочеталось с позой, от которой уже нельзя было так просто отмахнуться. Своими задиристыми, дерзкими выходками он словно хотел сказать: «Я не очень-то много представляю собой сейчас, но вот подождите, и вы увидите!»

Уже в этот период Фицджеральд жил обособленной внутренней жизнью, хотя ему отнюдь не были чужды земные интересы его сверстников. Наоборот, он испытывал естественное стремление к соперничеству, особенно в спорте, где ему не удавалось проявить большого таланта. Его подвижность и сравнительная сила не могли компенсировать небольшого роста и не слишком-то хорошей координации. Но он прилагал все усилия и мог заставить себя не пасовать перед опасностью. Казалось, у него сложилось собственное представление об образе героя, и он преисполнился решимости стать им.

Однажды во время игры в регби Скотт упал после розыгрыша мяча и бездыханно распластался на траве. Минуту спустя его привели в чувство. Он, преодолевая резкую боль в груди, порывался снова вступить в игру, но тренер заставил его покинуть поле (позднее обнаружилось, что у него

сломано ребро). Когда он, хромя, покидал поле, то, повернувшись к товарищам по команде, произнес на прощание! «Ребята, я выложилась весь, посмотрим, что теперь сделаете вы». В другой раз он уронил отпасованный ему мяч и это стоило игры его команде. Сознвая непоправимость совершенного, он заплакал. Остальные игроки, видя его безутешное горе, пытались успокоить его: «Плюнь ты, Скотт, не так уж это важно». Но, по-видимому, самый памятный подвиг он совершил в игре с гораздо более сильной командой из школы «Сентрал». Едва капитан, верзила из «Сентрала», ринулся с мячом по полю после штрафного удара, как игроки команды Сент-Пола расступились перед ним, словно воды библейского Красного моря.<sup>[15]</sup> Лишь Фицджеральд рванулся ему наперерез. Конечно, он был снесен с ног и вновь получил травму. Когда на следующий день один из друзей заглянул к Скотту, он застал его в постели, забинтованного и явно наслаждающегося ролью раненого ратоборца.

Спорт сам по себе, по правде сказать, не очень-то привлекал Фицджеральда. Он смотрел на спорт как актер, представляющий себя в главной роли: если же нельзя быть капитаном, центровым или нападающим, то лучше вообще не играть. Однажды во время эстафеты он настоял на том, чтобы ему поручили бежать на последнем этапе — он жаждал сорвать аплодисменты. Когда же соперник у самого финиша обогнал его, Фицджеральд нарочно поскользнулся и упал, чтобы снять с себя вину за проигрыш.

В нем явно проявлялось инстинктивное стремление выставить себя напоказ, усердно подогреваемое матерью. В детстве она наставляла его петь для гостей, и он пел, хотя и понимал всю нелепость этой затеи, — у него совсем не было голоса. Как-то Фицджеральды посетили монахинь в монастыре, где Скотт в течение четверти часа читал им с крыльца собственные произведения, очаровав их своей непосредственностью и даже увлеченностью, страстью. Когда дело доходило до слов — их значения, формы, звуков, — здесь ему не было равных, но, когда требовалось облечь в эти слова какую-нибудь идею, он мог порой пустить и пыль в глаза. Так, запомнив заголовки книг в книжных магазинах, он с внушающим доверие видом пускался в рассуждения об их содержании, не подержав их даже в руках.

Жизнь в доме бабушки действовала угнетающе на такого общительного ребенка, как Фицджеральд. Каждое утро две его тетушки, старые девы, облаченные во все темное, отправлялись в церковь с молитвенниками под мышкой, а в полдень Молли, так же во всем темном, шла в публичную библиотеку с наполненной книгами сумкой, чтобы

обменять их. Позади их ничем не примечательного дома, как две капли воды похожего на все остальные в квартале, находился узкий, засыпанный гравием двор. Конюшни, расположенные по другую сторону двора, принадлежали жильцам домов напротив. Фицджеральд, любил наблюдать, как кучера в красных передниках и высоких сапогах мыли кареты более состоятельных и привилегированных смертных.

Молли, преисполненная решимости не допустить, чтобы ее детей постигла участь отца-неудачника, составила свою программу их вступления в жизнь, и в декабре 1901 года Фицджеральд был определен в танцевальную школу, которая стала для него вторым домом до конца его пребывания в Сент-Поле. Занятия проводились в «Рамали-холл», продолговатом помещении с окрашенными и розовый цвет стенами и с белыми блестками на них, напоминавшими серебряную крошку на торте. Учителем танцев был профессор Бейкер, маленький полный человек с седыми усами и залысиной, от которого порой исходил запах рома, что, впрочем, не мешало ему всегда ловко скользить по паркету, демонстрируя мазурку или тустеп. Иногда, когда ему казалось, что подопечные недостаточно четко выполняют его указания, он выходил из себя, и эти приступы негодования как-то не вязались с великолепием и строгостью «Рамали».

Дети из самых богатых семей подкатывали к «Рамали» в инжирных лимузинах с монограммами и гербами на дверцах, которые им открывали шоферы. Из менее состоятельных, прибывали в сопровождении мам, на дешевых электромобильчиках. Остальные приезжали на трамваях или пробирались по сугробам, неся свои бальные туфли в мешочках. Девочки, со взбитыми кверху или, наоборот, с ниспадающими до плеч волосами, были одеты в платья из белого батиста с оборками или из муслина с шитьем, перехваченные яркими поясами. Мальчики приходили на занятия в костюмах из голубой шерсти, с брюками а ля гольфы. Раз в год в школе устраивался бал, на котором девочкам вручались подарки.

В то время дети проводили на воздухе гораздо больше времени, чем сейчас. Они ходили в походы по лесам, катались на велосипедах и самокатах вдоль авеню Саммит и до позднего вечера играли в прятки в больших дворах. Долгие зимы с ледяным дыханием, с катаниями с гор на санках подсказали Фицджеральду в будущем наполненные морозным воздухом зимние сцены катаний на санях под звон колокольчиков.

«Ох, эти катания на санях! — вспоминал Фицджеральд. — Нигде, кроме Миннесоты, не сыщешь такой прелести. Часа в три пополудни, укутанные в зимние пальто, надетые поверх свитеров, вместе с



раскрасневшимися от мороза и настроенными на веселый лад девушками, мы отправлялись в путь. Слегка робевшие юноши с напускной бравадой то спрыгивали, то вновь вскакивали в сани под шумное поддельное аханье остальных. В сумерки, часов в пять, мы добирались до цели — обычно это был клуб, — пили горячий шоколад, съедали по сэндвичу и танцевали под граммофон. Когда за окном подкрадывались сумерки и начинал потрескивать морозец, госпожа Холлис, госпожа Кэмпбелл или госпожа Уортон отвозили домой на машине кого-нибудь отморозившего щеки, а остальные, при тусклом свете январской луны, топтались на веранде в ожидании саней. При выезде на прогулку девушки усаживались вместе, но на обратном пути от их чопорности не оставалось и следа. Вся компания разбивалась на группки по четыре-шесть человек, а частенько уединялись и по двое. Те, кто не присоединялся ни к какой стайке, сидели на санях впереди, где какая-нибудь дурнушка натянуто переговаривалась с сопровождавшей ее гувернанткой. Сзади обычно рассаживалось с полдюжины застенчивых ребят и слышались шепоток и возня».

Девушкам Фицджеральд нравился неизменно. Он обладал редким даром вести беседу и, даже если они не поддавали под обаяние его утонченной внешности, они не могли не признать исходящей от него изысканности и очарования. Его чулки всегда сверкали белизной и свежестью, а пиджак «Норфолк» (со складками впереди и поясом) сидел на нем как влитой. Высокий, обычно неудобный воротничок «бельмонт» уютно восседал над изящно завязанным галстуком. В отношении же к нему юношей чувствовалась противоречивость. Он легко сходился с людьми, но все же не допускал их к глубоко скрытому в нем и никому не доверявшемуся «я». Душа кружков, возникавших один за другим и столь же быстро распадавшихся, он был слишком оригинален, чтобы стать лидером, он рождал столько идей и проявлял такую изобретательность при их воплощении, что его следовало бы назвать своего рода генератором.

Скука отступала там, где оказывался Фицджеральд. Представьте, что в дождливый полдень вы очутились с ним одни в доме и встает вопрос, как развлечься. Фицджеральд листает телефонный справочник и, остановившись на странице с перечислением компаний, занимающихся производством искусственных конечностей, поднимает трубку и без тени смущения звонит в компанию «Миннесота лимб энд брейс», чтобы заказать протез для ноги. Его просят прийти для примерки, но он отвечает, что не может ходить, потому что у него одна нога. Компания настаивает, но он продолжает под любым предлогом уклоняться от визита. Затем он начинает дотошно интересоваться качеством их продукции: скрипят ли протезы? Тут

вы начинаете заливаться от смеха и он машет рукой, чтобы вы не отвлекали его. Если протез скрипит, то каким сортом машинного масла надо пользоваться? Можно ли на протез поставить резиновый каблук? Если дать кому-нибудь пинок протезом, сломается ли он? Удовлетворив таким образом свою «любопытность», он повторяет всю эту процедуру с другими компаниями — «Сент-Пол артифициал лимбе», «Юнайтед лимбе энд брейс» и, наконец, «Макконелл», которая в рекламных проспектах хвастливо утверждает, что у нее «самые современные протезы для ног, ампутированных выше коленей». Устав наконец, он бросает это занятие. Час пробежал незаметно и он почерпнул полезную информацию о протезах, которая пригодится ему в будущей работе.

Его приятелем-театралом в Сент-Поле был Сэм Стургис, сын армейского офицера. Каждое воскресенье они отправлялись смотреть водевиль и театре «Орфей», а позднее, на вечеринках, разыгрывали понравившиеся сюжеты. Фицджеральд так правдоподобно изображал пьяного, что некоторые девушки говорили родителям о его увлечении спиртным. Скотт не обижался, наоборот, — он упивался репутацией 13-летнего гоце.<sup>[16]</sup>

Иногда Фицджеральд разыгрывал пьяного в трамвае, когда кондуктор пытался оказать ему помощь, он начинал куражиться. Если он ехал в трамвае со Стургисом, они изображали отца и сына, хотя были примерно одного возраста и роста. Едва Фицджеральду предлагали заплатить за проезд, он извлекал бумажник, который на глазах превращался в миниатюрную гармошку. Он начинал шарить во всех ее тридцати или сорока отделениях, но так и не находил мелочи. Когда же кондуктор, исполняя свой долг, поворачивался к Стургису, Фицджеральд указывал на висящее в вагоне объявление, гласившее, что дети до шести лет имеют право на бесплатный проезд. Кондуктор терял терпение, а Стургис «заливался слезами». Фицджеральд публично взывал к справедливости, чем вызывал неудержимый смех у пассажиров. Помимо стремления просто разыграть кондуктора, целью игры было также дотянуть до холма на авеню Селби, откуда до дома Фицджеральда и дома Стургиса было рукой подать.

Ум, обворожительность и хорошие манеры Фицджеральда открыли ему двери во многие дома. Скотта приглашали все, хотя его родители не общались с родителями его друзей, — Эдвард и Молли Фицджеральд находились на периферии тогдашнего общества Сент-Пола.

До Гражданской войны оно состояло в основном из аристократии, потомков старых родовитых семей с Востока. Люди свободных профессий, они свысока смотрели на представителей делового мира. Однако во время

бума 60-х и 70-х годов на авансцену выдвинулось много коммерсантов и банкиров. Некоторые старые аристократические семьи перебрались обратно на Восток, а другие, не пережив наплыва *piuveau riches*<sup>[17]</sup> съехали с авеню Саммит. В детские годы Фицджеральда среди «сливок» города еще можно было встретить отдельных выходцев из аристократических семей с Востока, но их влияние постепенно шло на убыль, и на смену им появились сыновья и внуки промышленных магнатов, сколотившие состояния в обувном, бакалейном или скобяном деле. Аристократичность стала ассоциироваться с богатством, хотя в Сент-Поле, более чем в других городах Среднего Запада, родовитость все еще оказывала влияние на иерархическую структуру общества. Сент-Пол был городом, где проживало третье поколение переселенцев, в то время как Миннеаполис и Канзас-Сити могли похвастаться лишь двумя.

Однако Сент-Пол являл собой типичный город Среднего Запада, где человеку для того, чтобы иметь вес, надо было чем-то всерьез заниматься, вести солидное, приносящее ощутимый доход дело, а Эдвард Фицджеральд, хорошо воспитанный человек, но загадка для многих, не делал ничего, что привлекло бы к нему внимание. Молли еще могла бы отвоевать себе место под солнцем, поскольку родословная Макквиланов восходила к «старым добропорядочным переселенцам». Семьи с гораздо меньшими заслугами обеспечивали себе место «наверху» в течение жизни одного двух поколений. Но, по всем людским стандартам Молли не была привлекательна: она слыла чудаковатой, и вся ее внешность свидетельствовала о ее странности. Её желтоватая кожа покрылась множеством морщинок, под бесцветными глазами появились темно-коричневые пятна, а её выстриженная челка стала притчей во языцех». Дочери часто укоряли своих матерей: «Ради бога, приведи в порядок свои волосы, а то будешь похожа на растрепу Фицджеральд». Одевалась она, по выражению кого-то, «как пугало огородное» — на ней все топорщилось. Перья же на ее, казалось, прабабушкиных шляпках обвисали так, словно они постоянно попадали под дождь. В век, когда платья носили длинными, она шила одежду еще длинней и ходила, подметая шлейфом пыль. Несколько широковатая для своего роста, она ступала, переваливаясь как утка, а её манера говорить, слегка растягивая слова, вызывала у многих улыбку. Если она не видела вас некоторое время, ей ничего не стоило приветствовать вас словами: «Ой, как вы изменились!», при этом сопровождая их кислой миной, не оставлявшей сомнения в перемене к худшему. Если же вы похорошели, она начинала критиковать вашу шляпку и предлагать свои услуги помочь вам выбрать головной убор в следующий

раз.

Но при всем этом, ей нельзя было отказать в доброте, и люди относились к ней незаслуженно жестоко. Ее называли ведьмой и насмехались над её ботинками на пуговицах, которые они носила, расстегнув сверху: от ходьбы у нее отекали ноги. Она возлагала большие надежды на сына, которого любила безумно, как может любить только мать, разочаровавшаяся в муже. Фицджеральд же стыдился своей матери, ее faux pas<sup>[18]</sup> и полного отсутствия у нее вкуса. В качестве образца матери в своем первом романе он выбрал grande dame,<sup>[19]</sup> которая тоже эксцентрична, но ее эксцентричность выражается в пристрастии к мебели из белой кожи, коврам из тигровой шкуры, китайским мопсам и туканам, которые едят только бананы. Временами Фицджеральду бывало не по себе от опеки матери, ее настойчивых просьб прилечь отдохнуть, принять ванну. Эти проявления мелочной опеки тяготили его. У него в комнате она повесила дощечки с надписями типа: «Мир будет судить о матери главным образом по тебе».

Менее критично он относился к отцу, который обладал изысканными манерами и умел хорошо держаться в обществе, — всем тем, чего так недоставало матери. По воскресеньям, отправляясь на прогулку, Эдвард Фицджеральд брал трость и надевал серые модные перчатки. Ему очень льстило, что сын безотчетно подражает ему. Но жизнь не благоволила к Эдварду, неудачи терзали его душу, он почти все время пребывал в удрученном состоянии и выглядел старше своих лет. Он старался найти утешение в вине, правда, эта страсть не владела им всецело.

Фицджеральд любил отца, хотя и не мог уважать его. С другой стороны, он против собственной воли уважал мать, которая вела хозяйство и не давала дому пойти прахом, но он не мог заставить себя любить ее. Ни мать, ни отец не соответствовали его идеалу. Фицджеральду, неистово стремившемуся к совершенству, нравилось представлять себя найденышем. В «Романтическом эгоисте», раннем черновом варианте «По эту сторону рая», герой рассказывает соседям о том, как его нашли на ступеньках крыльца с запиской, в которой говорилось, что он потомок Стюартов. В рассказе «Отпущение грехов» маленький мальчик отрешивается от своих родителей и Гэтсби — воплощение того, кем бы Скотт хотел стать, — возник из «его идеального представления о самом себе». В позднем автобиографическом произведении «Дом автора» Фицджеральд вспоминает «свою первую детскую любовь к себе, свою веру в то, что он никогда не умрет, подобно другим людям, и что он не сын своих родителей, а отпрыск

короля, который властвует над всем миром».

Осенью 1909 года, на втором году обучения в школе Сент-Пола, Фицджеральд начал публиковаться в школьном журнале. Его первое произведение «Тайна Рэймонда Мортгейджа» свидетельствовало о влиянии Гастона Леру и Анны Кэтрин Грин,<sup>[20]</sup> чьи детективные рассказы он поглощал один за другим и тщательно анализировал. Позднее он вспоминал о той экзальтации, в которую привел его литературный дебют.

«Никогда не забуду то утро в понедельник, когда должен был выйти номер с моим рассказом. Еще в субботу я безрезультатно слонялся у издательства и вывел из себя печатника назойливыми просьбами дать мне хотя бы экземпляр еще не сброшюрованного номера. В конце концов, я удалился с пустыми руками, едва сдерживая слезы. До самого понедельника я ходил как потерянный. Когда во время перемены была доставлена объемистая пачка номеров журнала, я был так возбужден, что не мог усидеть на месте, и, не переставая, повторял вслух: «Они здесь! Они здесь!» — чем вызвал всеобщее удивление. Я прочитал свой рассказ, по крайней мере, раз шесть. Весь день потом я бродил по коридорам, подсчитывая тех, кто читал его, и задавая вроде бы ничего не значащий вопрос: «А вы читали этот рассказ?»

В течение следующих двух лет Фицджеральд опубликовал три рассказа. В одном из них, под названием «Запасной Рид», описывалось, как «белокурый неопытный юнец» выходит на поле, когда его команда находится на грани поражения и вносит в игру перелом. В «Долге чести», генерал Ли<sup>[21]</sup> застаёт спящим на посту солдата и прощает его. В битве при Чанселлорвилле провинившийся смывает позор героическим поступком, который стоит ему жизни, «Комната с зелеными шторами» — смесь истории и фантазии. Фицджеральд представляет, что Джону Уилксу Бушу<sup>[22]</sup> после покушения на Линкольна удастся скрыться и в течение многих лет он тайно живет в разрушенном поместье на Юге. Рассказ заканчивается его арестом и казнью.

Весной 1911 новое увлечение пьяняще вошло в жизнь Фицджеральда. Местом сбора его группы был двор дома 501 по авеню Гранд. «...Во всем этом проглядывало что-то детское, — вспоминал он. — Лучи солнца не проникали сюда весь день, но какие-то непонятные растения вечно чахло цвели, кругом шныряли облюбовавшие себе это место собаки, и весь двор пятнился бурыми лысынами от бесконечного катания по кругу на велосипедах, во время которого дети тормозили ход, волоча ноги по земле». Ребята играли здесь в салочки, делились секретами в построенной на

дереве клетушке, хвастались друг перед другом ловкостью на кольцах и турнике. Иногда мальчишки выдерживали ленты из косичек у девочек и возвращали их лишь после разрешения поцеловать, что означало прикосновение к щеке. Здесь Фицджеральд испытал «первую головокружительную увлеченность», воспроизведенную много лет спустя в рассказах о Безиле Дьюке Ли.

«Безил подкатил на велосипеде к Имоджин Биссел и, остановившись перед ней, небрежно облокотился на руль. Что-то в его лице, должно быть, привлекло ее внимание: она задержала на нем свой взгляд, и ее лицо озарилось приветливой улыбкой. Через несколько лет она превратится в красавицу и будет блистать на балах. Сейчас же ее большие карие глаза, крупный, прекрасно очерченный рот и игривый под тонкой кожей румянец делали ее похожей на маленькую барышню, раздражая этим тех, кто хотел бы еще видеть в ней ребенка. На какое-то мгновение Безил перенесся в будущее, и чары ее великолепия покорили его в один миг. Впервые в жизни он воспринял девушку полностью, как нечто противоположное и в то же время дополняющее его. Это, безусловно, была страсть, и он в тот же момент осознал ее. Летний полдень вдруг растворился в ней: обволакивающий легкий воздух, тенистость кустарников, все цветы на клумбах, золотистый солнечный свет, смех, голоса, доносящиеся откуда-то звуки пианино, — казалось, запахи покинули все окружающее и влились в Имоджин, которая сидела напротив и улыбалась ему».

Прообразом Имоджин в реальной жизни послужила Мэри Герси, а Хьюберт Блэр, который отбивает ее у Безила в рассказе, — Рубен Вернер. Самоуверенный, энергичный человек, каким Скотт тоже мечтал стать, Рубен был на год моложе Фицджеральда, обладал природным обаянием, настоящей мужской привлекательностью.

Вернер прекрасно танцевал, играл на барабанах, отличался в спорте, выделывал разные трюки и фокусы. Подобно Безилу, Фицджеральд сокрушался, «что, хотя юноши и девушки всегда внимательно слушали его, буквально внимали каждому его слову, они никогда не глядели на него так, как они взирали на Хьюберта».

Вспоминая эту наполненную страстью весну, его последнюю весну в школе Сент-Пола, Фицджеральд писал: «По утрам, когда свежий ветер задувал в открытые окна, и в долгие прохладные вечера, когда мы с Бобби Шурмейером прогуливались к бирже посмотреть на вывешиваемый курс акций за неделю, а затем при слабом, всегда казавшемся нам романтическом свете фонарей возвращались домой, мое воображение уносило меня

далеко-далеко. Наш двор опостылел нам и наши души рвались на простор. Бродя по темным ночным улицам, мы предавались мечтам и строили воздушные замки: мечты уносили нас то на Монмартр, где мы будем обедать, когда нам будет по двадцати одному, то в темные кабачки, где мы с помощью сомнительных женщин или тайных посланий распутываем грандиозную международную интригу».

В это лето Фицджеральд начал курить и приобрел первую пару длинных брюк в ожидании осени, когда ему предстояло отправиться в пансион на Восток, поскольку, по мнению родителей, ему пора было прививать дисциплину. Незадолго до отъезда его очаровала песня молодого композитора Ирвинга Берлина.<sup>[23]</sup> Называлась она «Джазбэнд Александра», в ней чувствовались биение и ритм нового века.

## ГЛАВА III

Восточное побережье неотступно манило Фицджеральда. На жаждущую впечатлений душу юноши, выросшего на Среднем Западе, блеск восточных штатов действовал притягательно, как магнит. В одном из рассказов о Безиле Фицджеральд описывает томящее волнение, которое всецело овладело им по пути в пансион. «После угрюмого железнодорожного вокзала Чикаго и ночных сполохов Питтсбурга снова замелькали пейзажи старых штатов, заставивших его сердце учащенно биться. Он настроился на волну суматошной, захватывающей дух суэты Нью-Йорка, разноголосицы бескрайнего города, гомон которого, как песнь гудящих проводов, не умолкал ни на минуту. Воображению здесь не было пределов — само окружение походило на фантазию. Жизнь представлялась, такой же пленительной, как в книгах и грезах».

В сорока минутах езды по железной дороге от Нью-Йорка, через протянувшиеся вплоть до Нью-Джерси тоннели, на окраине Хакенсака расположилась школа Ньюмена<sup>[24]</sup> — обитель шестидесяти отпрысков состоятельных католических семей со всех уголков страны. Среди учеников школы, известной как «светская школа для католиков» или как учебное заведение, готовившее студентов для светских университетов, затерялось также несколько протестантских семей. Никого из учащихся не обязывали посещать церковь, за исключением служб в дни религиозных праздников. Небольшая по размерам школа Ньюмена была недурно спланирована и оборудована: просторное, обвитое плющом главное здание с несколькими расположенными поблизости коттеджами, современный спортивный зал, два поля для игры в регби, бейсбольное поле, походившее на граненый бриллиант, теннисные корты и открытый каток для игры в хоккей на краю прилегавших к Хакенсаку заливных лугов. Учащиеся питались в общей столовой и, по обычаю, роптали на пищу, хотя позднее эти обеды в школе Ньюмена и вспоминались бывшими ньюменцами как вполне сносные.

И все же разрыв между идеалом и реальностью, который всегда привносит дисгармонию и грусть в деяния человека, особенно бросался в глаза в этой школе. Здесь царила атмосфера жизнерадостного хаоса и ирландского индивидуализма, что привело бы в ужас известного кардинала, в честь которого школа получила свое название. Основатель и глава школы Ньюмена, доктор Джесси Альберт Локк, тяготел к «истинно



аристократическому» воспитанию. Он вообразил, что его школа — католический Итон<sup>[25]</sup> в миниатюре, но, поскольку ученики постоянно нарушали установленные правила и удирали из нее, чтобы тут же быть пойманными, единственным, чего ему удалось достичь, — это создать ситуацию, удивительно напоминающую игру в «кошки-мышки», где в роли мышек выступали ученики, а кошек — преподаватели.

Однажды весной того года, когда Фицджеральд поступал в школу и на небе должна была появиться, но непонятно почему запаздывала комета Галлея,<sup>[26]</sup> группа учеников высыпала в полночь гурьбой на шоссе, будто бы для проведения научных наблюдений, а на самом деле направилась в придорожный ресторанчик хлебнуть пивка. В другой раз, от нечего делать, в школе была устроена забастовка: вместо занятий ученики бесцельно слонялись по полю для игры в регби. В обед все вернулись в столовую, где застали сидящих за столами униженных учителей. Эта дерзкая выходка сошла им с рук — не исключать же всю школу. Весной наступал «сезон ужей»: каждый ученик заводил себе любимца ужа. Многие, не довольствуясь такой мелкой живностью, доставали себе полозов, которых они выпускали перед отходом ко сну, и те, шурша, расползались по коридорам. Школу Ньюмена того периода можно было сравнить со знаменитой иезуитской школой «Клонговис вуд», близ Дублина, где учащиеся в равной степени проявляли свои таланты как в правописании и актерской игре, так и в умении верховодить и неповиновении. Многие питомцы школы Ньюмена вышли из тех же семей, которые дали миру Джеймса Джойса и Оливера Сент-Джона Гогарти,<sup>[27]</sup> а также менее известных молодых людей, выступавших на подмостках театра «Эбби» или служивших в боевых отрядах Майкла Коллинза.<sup>[28]</sup>

На весь этот контролируемый хаос Фицджеральд смотрел как на ристалище, из которого он, пустив в ход всю свою изобретательность и волю, был полон решимости выйти победителем. К любому своему новому начинанию он подходил с неистовой страстностью. Из детских книг он почерпнул методы, позволявшие стать героем школы. Но в глубине души он, возможно, сожалел, что не попал в более престижное учебное заведение: Хочкис, например, или Андовер. Когда какая-то девушка в Сент-Поле заикнулась, что никогда не слышала о школе Ньюмена, Фицджеральд не мог не выступить в ее защиту: «Это совсем неплохое учебное заведение, к тому же католическое». Будь на то его воля, он бы не выбрал ее, но, тем не менее, был готов к предстоящим в ней испытаниям.

Вот как он оценивает себя на пороге вступления в школу Ньюмена: «Я

исповедовал четко выработанную философию, которая сводилась к своего рода аристократическому эгоцентризму. Я считал себя счастливым молодым человеком, способным к развитию в себе любого начала — и доброго, и дурного. Эта вера зиждилась не на скрытой во мне внутренней силе, а на моих способностях и превосходящем остальных интеллекте. Мне казалось, что я способен быть кем угодно, кроме, по-видимому, светила в точных науках. Я определил ряд областей, в которых, как полагал, я должен преуспеть хотя бы в глазах других. Возьмем внешность. Я считал себя красивым молодым человеком с недюжинными задатками спортсмена и, к тому же, исключительно хорошим танцором. Далее, положение в обществе. В этой области я, вероятно, представлял наибольшую угрозу, ибо, по моему убеждению, обладал индивидуальностью, обаянием, магнетизмом, умением держать себя в обществе и способностью подчинять своей воле других. Я считал также, что способен бессознательно очаровывать женщин. Что же касается интеллекта, то здесь, как я уверовал, мне не было равных. Кроме того, мне были свойственны тщеславие, изобретательность и способность быстро учиться у жизни.

Для равновесия во мне уживались некоторые противоположные черты. Во-первых, морально я считал себя хуже большинства молодых людей из-за скрытого во мне вероломства и желания влиять на людей, даже в низменных интересах. Я знал, что я холоден, язвительно-эгоистичен и способен на жестокость, и мне недоставало чувства чести. Во-вторых, психологически. Какое бы влияние я ни оказывал на других, сам я отнюдь не был «кузнецом своего счастья». Как это ни покажется странным, но все мое существо подтачивала какая-то слабость. Моя внешняя самоуверенность могла в любой момент рухнуть и уступить место застенчивой нерешительности. Я знал, что для учеников старших классов я всего лишь «щенок» и не пользуюсь у них популярностью. Я был рабом своих настроений и часто впадал в хандру, вызывавшую неприятные чувства у других. В-третьих, вообще я знал, что в глубине моего «я» мне не хватало самого главного. Во время последнего кризисного периода я не проявил ни стойкости, ни упорства, ни самоуважения.

Как видите, я оценивал себя объективно. Казалось, во мне зрел заговор, чтобы погубить меня, и все мое чрезмерное честолюбие шло от этого. Но то было только снаружи и могло рассыпаться от одного удара — колкого замечания или моего неточного паса во время игры. В глубине души я ощущал отсутствие твердости и непоколебимости. Если копнуть еще глубже, то, как я должен признать, все мое существо опиралось на ощущение своих безграничных возможностей, которое не покидало меня

ни в минуты стыда, ни в минуты тщеславия».

Ощущение безграничных возможностей...

В одном из своих произведений Фицджеральд заметит, что в пятнадцать лет его пуританское сознание заставляло его считать себя гораздо хуже других подростков. Можно лишь с уверенностью сказать, что юношу с характером, описанным выше, в школе Ньюмена ожидали большие неприятности. В первый же вечер за обедом, когда все еще робели и сидели тихо, он, напротив, чувствовал себя как дома и задавал массу вопросов о школьной команде регби, ее перспективах в чемпионате. Поскольку он был моложе других, ему предложили вновь пойти в четвертый класс, но он выразил такое благородное удивление, что его условно поместили в пятый. Придя в первый раз на тренировку третьей команды в регби, он тут же стал поучать других, как играть, но, осознав свою промашку, попытался сгладить впечатление: «Прошу извинить меня, но мне доводилось быть капитаном команды в Сент-Поле». Одновременно его так и подмывало блеснуть солидным запасом знаний: в классе его рука нетерпеливо взлетала при любом вопросе учителей.

Он знал: спорт будет его решающим испытанием.

В школе Ньюмена к «физическим занятиям относились серьезно и могли даже выставить неплохие команды, которые, правда, не имели равноценных запасных. В должное время Фицджеральд был переведен запасным нападающим во вторую команду, где он тут же не поладил с тренером О'Флэрти, который совмещал тренерскую работу с преподаванием истории и уже начинал терять терпение от прыткости Фицджеральда на уроках. Хотя Скотт бегал быстрее всех в команде, он стремился уклониться от силовой борьбы с более тяжелыми защитниками других команд и, вскоре, О'Флэрти обвинил его в трусости. Капитан команды высказал такой же упрек. Более молодые игроки поддержали тренера и капитана и Фицджеральд оказался изгоем. Его поколотили в нескольких драках, в одну из которых он полез из чувства полного отчаяния. Он начал ходить по самым незаметным коридорам и большую часть времени отсиживался в своей комнате. Его успеваемость резко снизилась. Теперь его называли только по фамилии. Озлобленность Скотта, каким-то образом, побуждала воспитателей наказывать его за малейшую провинность и, потеряв чувство меры, они безбожно занижали ему отметки.

Лишь отдельные удачи скрашивали его угнетенное состояние. Однажды, когда тренер, будто бы за трусость, несправедливо вывел его из игры, он написал рассказ и опубликовал его в «Ньюмен ньюс». Так он

понял, как писал позднее, «что, если ты не способен быть участником действия, по крайней мере, ты можешь рассказать об этом, потому что переживаешь его не менее остро. Это черный ход, через который можно уйти от реальности». Другим памятным событием на этот период осталась игра в регби между Принстоном и Гарвардом, когда крайний нападающий Принстона Сэм Уайт, перехватил чужой пас и пронес мяч почти сто метров, до самых ворот противника. «Сэм укрепил меня в решении, еду в Принстон», — пишет Фицджеральд в своей записной книжке, рядом с вложенным в нее билетом на этот матч. Во время поездок в НьюЙорк Фицджеральд впервые увидел поставленные на сценах крупных театров оперетты «Маленький миллионер» Джорджа М. Коэна и «Квакерская девушка» с Айной Клер.<sup>[29]</sup>

Наконец наступило Рождество, а с ним и долгожданные каникулы, которые он провел с родителями в Сент-Поле. Осенью 1909 года Фицджеральды съехали от бабушки и после годового квартирования в домах 514 и 509 по авеню Холли осели наконец в 499-м. В октябре, от туберкулеза, скончалась тетушка Клара, самая привлекательная из сестер Макквилан, блондинка, своими тонкими чертами более всех походившая на Скотта. Фицджеральд испытывал благоговейный трепет перед другой тетушкой, Анабеллой, которая сокрушалась, что родители Скотта позволяют ему все: читать литературный хлам, ходить на водевили... Поскольку тетушка Анабелла не баловала его, Фицджеральд уважал ее и называл «истинной прародительницей нашей семьи, иссушенной культурной старой девой с характером».

Фицджеральд вернулся в школу полный решимости выправить положение. Всеобщее недружелюбие подействовало на него как холодный душ и, в какой-то мере, смыло, как пену, присущую ему заносчивость. Он начал долгое восхождение из пропасти, в которой оказался. Из-за низких оценок за полугодие ему не позволили поехать на каникулы домой. Но стоило ему, впервые после этого запрета, вырваться из стен школы, как он тут же направился в НьюЙорк, где побывал на оперетте «На том берегу реки», подтолкнувшей его к написанию либретто. Примерно в то же время он подружился с Сапом Донахью (родители взяли за основу его имени латинское homo sapiens<sup>[30]</sup>), одним из самых уважаемых учеников в школе, который учился в том же классе. Спокойный, добрый, скромный Донахью выделялся в учебе и спорте и был магнитом, к которому, более склонный к перемене настроения, Фицджеральд инстинктивно тянулся. В свою очередь, Донахью высоко ценил оригинальность Фицджеральда, понимая,

что и он может кое-что почерпнуть от Скотта, отличавшегося глубокой начитанностью и проницательностью в оценке людей. Их объединяло еще и то, что в школе, где преобладали выходцы из семей с Востока, оба они являлись уроженцами западных штатов. Донахью был родом из Сиэтла и их совместные поездки через страну еще больше сблизили их.

Во время весенних каникул Фицджеральд съездил в Норфолк, чтобы повидаться с кузиной по отцовской линии Сесилией Тэйлор. Скотт, который был на шестнадцать лет моложе, когда-то, еще ребенком, нес шлейф ее подвенечного платья. Теперь это была обедневшая вдова с четверьмя девочками-малышками. Добрый «дядюшка» Фицджеральд щедро осыпал их ласками и угощал в кафе роскошным мороженым сандэ и содовой водой. Кузина «Сеси» была любимой родственницей Фицджеральда и послужила прототипом для очаровательной вдовы Клары в романе «По эту сторону рая».

Поездка на юг запомнилась и встречей с братом «Сеси» Томасом Делихантом, учившимся в то время в иезуитской семинарии в Вудстоке в штате Мэриленд. Эта встреча дала Фицджеральду фон для рассказа «Благословение», явившегося отражением религиозного ощущения, никогда не покидавшего Скотта, даже после его отхода от церкви. Фицджеральд вышел из религиозной семьи: Макквиланы были набожными католиками, а его отец, по крайней мере, соблюдал обряды. Время от времени Скотт подпадал под влияние какого-нибудь обаятельного священника и даже пытался обратиться в свою веру некоторых из своих друзей-протестантов. Но он мог быть и проказливо непочтителен к проявлениям религиозности. Как-то, во время службы в церкви в Сент-Поле, видя, как один из служек, зазевавшись, вот-вот подожжет свечей кружевную накидку на спине другого, Фицджеральд, так рассмешил находившегося рядом товарища, что их обоих вывели из собора.

Весенний семестр был отмечен небольшим достижением на спортивном поприще: он выиграл в одном из видов легкой атлетики. Оценки его улучшились, а полученная им пятерка по истории обрадовала еще и потому, что вызвала удивление у О'Флэрти. Во время каникул дома, он нежился в лучах неожиданной популярности. Девушек привлекали в нем налет грусти и предупредительность — черты, которые появились у него вследствие сделанного им в школе открытия, что и другие обладают такой же волей и такой же силой характера. Но похвалы, неизменно, действовали на Скотта губительно и скоро школьные товарищи махнули на него рукой. Порой, они вообще не замечали его и тогда он одиноко удалялся к себе и писал до тех пор, пока не придумывал новую забаву,

вызывавшую всеобщий интерес.

Между тем книга «Стоувер в Йеле» Оуэна Джонсона<sup>[31]</sup> превратилась для него, в своего рода, руководство, и, стремясь прославиться в игре в регби, он соорудил во дворе чучело для отработки приемов против атакующего противника. В своем дневнике он характеризует первый год обучения, как «год подлинной горечи». Второй же считал «годом получше, но не самым счастливым». В течение его произошли памятные события, такие, как встреча с командой из Кингсли, о которой потом говорили как о самой интересной игре, когда-либо проводившейся на поле школы Ньюмена. В тот день Фицджеральд блеснул всеми гранями своего таланта. В одном из репортажей победа школы Ньюмена приписывалась, главным образом, его «резким и неожиданным рывкам». Будучи 170 сантиметров ростом и весом около 65 килограммов, он был изящно сложен, если не считать его несколько коротковатых ног.

Он играл с фанатичной неистовостью. Особенно эффективны были его рывки по краям поля. Но выглядел он, из-за своих ног, немного неуклюжим и часто казалось, что он вот-вот упадет. Один из учеников младшего класса, наблюдавший за игрой Фицджеральда со стороны, позднее вспоминал что, «когда он наклонялся и как-то суетливо бежал с мячом на своих не слишком-то длинных ногах, в его беге чувствовалось отчаяние, каким-то образом, его бег передавал его душевную настрой и, если он был в ударе, на него было одно удовольствие смотреть, но когда игра не клеилась, — а это бывало с ним часто, — хотелось отвернуться, чтобы не видеть написанного у него на лице стыда».

Фицджеральд был игрок настроения, нервный и импульсивный, полная противоположность уравновешенному Сапу Донахью, который с его еще более низким ростом, плохим зрением выполнял свою роль нападающего с хладнокровным изяществом. Во время одного матча Фицджеральд, испугавшись силового приема, уклонился от идущего напролом на скорости нападающего и товарищи по команде снова устроили ему после игры головомойку. Реагируя на все, как обычно, слишком остро, он переживал промашку болезненнее, чем она того заслуживала.

Но подлинным событием той осени, хотя тогда Скотт об этом еще и не догадывался, была не игра с командой из Кингсли, а его встреча с преподобным Сигурни Вебстером Фэем, попечителем школы, который вскоре стал ее директором. Выходец из старой филадельфийской семьи, принявшей католическую веру, Фэй излучал неотразимое очарование, заставлявшее забывать о его несколько странной наружности. Он был почти полный альбинос, с редкими льняными волосами, белесыми бровями

и ресницами, красноватыми водянистыми глазами за толстыми стеклами очков. Его тучное тело, округлое лицо и нос пуговкой пристроившийся, казалось, прямо над складками подбородка, — все говорило о том, что он любит поест.

Он любил также попеть и сыграть на пианино, посудачить и рассказать анекдот, перемежая побасенки прерывистым смехом. Запас его шуток о церкви был неистощим и он искренне жалел протестантов, которые были не в силах относиться к себе с иронией. Одна из его любимых проделок заключалась в том, что он служил мессу на греческом языке или на кельтском. Все это сочеталось с рвением новообращенного, который обрел в католической церкви смысл своей жизни. Эрудиция Фэя не мешала его наивной вере, побуждавшей его порою благословлять посещаемый им дом от конька крыши до основания.

Между Фэем и Фицджеральдом моментально установилась та гармония, что и между прелатом Дарси и Эмори Блейном в романе «По эту сторону рая». Несомненно, что именно говорок Фэя припасен Фицджеральдом для монсеньора Дарси: «Вот сигареты, ты ведь, конечно, куришь. Ну-с, если ты похож на меня, ты, значит, ненавидишь естественные науки и математику». До этого знакомства Фицджеральд представлял себе священников-ирландцев, как людей неотесанных, необразованных, но перед ним оказался прелат (ирландец по материнской линии), обладавший умом, хорошими манерами, знавший кардинала Гиббонса и Генри Адамса.<sup>[32]</sup> В священнике Фэе, который носил рясу, сшитую в Париже и лакированные туфли с серебряными пряжками, ощущалось европейское образование, как, впрочем, и в его помощнике священнике Хеммике.

В то время Фицджеральд жил в пристройке главного здания, где помещались шестые классы. Вокруг царил атмосфера относительной свободы. Теперь, когда в его личную жизнь никто не вторгался, он мог уделить больше сил и времени своим литературным занятиями, три его рассказа напечатала «Ньюмен ньюс». В «Невезучем Санта-Клаусе» рассказывалось, как человек накануне Рождества пытается раздать двадцать пять долларов и как его за это избивают. Язык улицы, представленный здесь столь реалистично, ироническая подоплека рассказа — все приводит на память наиболее удачные пассажи из Стивена Крейна,<sup>[33]</sup> хотя в то время Фицджеральд еще не читал его. «Ученый и боль» — сатира на «Христианскую науку»,<sup>[34]</sup> а в рассказе «След герцога» Фицджеральд делает попытку взглянуть на жизнь богачей с Пятой авеню.

Подсознательно ощущая свой талант, он был не прочь испытать его, как ребенок, с упоением гонящийся по улице с утра до вечера на подаренном ему велосипеде. По стандартам школы Ньюмена, Фицджеральд был далеко не бунтарем, он казался даже немного сдержанным, но не допускал никаких посягательств на свою свободу.

Ученики все еще относились к нему настороженно. Они считали, что он слишком любит приглаживать свои светлые вьющиеся волосы и разглядывать свое отражение в зеркале. Затаенный вызов и уверенность в будущем ставили преграду между Скоттом и его товарищами, многие из которых понятия не имели, какой путь им избрать в жизни. Но теперь он относился к ним с большим почтением. Он перестал быть объектом их колкостей. Они стали уважать Скотта за острый ум и не обижались на его подтрунивание над ними в шутливых стихах и эпиграммах. Ученики младших классов создали даже кружок почитателей Фица, который в отличие от других старшекласников, имевших обыкновение безобидно, но, порой, грубо помыкать «мелюзгой», всегда отвечал на их выкрикиваемое хором приветствие улыбкой и называл каждого по имени, даже когда спешил куда-нибудь по делу. Он не подыгрывал им, более того, уделял им даже мало времени, но его умение говорить с ними, как с равными, снискало ему всеобщее уважение. Точно так же, когда его представляли кому-нибудь из родителей в коридоре, он неизменно очаровывал их сразу располагающей к себе искренней учтивостью. Он был не по годам обходителен и раскован в обращении, миновав свойственный большинству подростков этап неуклюжести.

В марте драмкружок ньюменцев поставил «Укрощение строптивой» (в ходе ее репетиций Фицджеральд предложил «улучшить» некоторые строки Шекспира). Однако все лавры в тот вечер достались другой пьесе — «Сила музыки», написанной одним из преподавателей школы. После ее окончания, исполнителей несколько раз вызвали на «бис». В постановке, действие которой происходило в вымышленном королевстве Шварценбаум-Альтминстер, рассказывалось о мечте одиннадцатилетнего сына канцлера стать профессиональным скрипачом. Недовольный канцлер отнимает скрипку у сына, но тот тайком завладевает ею снова и принимает участие в королевском конкурсе одаренных детей. В конце пьесы, когда канцлер готовится выпороть сына, снаружи неожиданно раздаются звуки трубы, и Фицджеральд (король Шварценбаум-Альтминстера) в роскошной белой, расшитой золотом форме гусара, которую он позаимствовал у артиста оперетты Дональда Брайена, выходит на сцену, покровительственно обнимает сына канцлера. Он объявляет, что тот стал победителем конкурса,



и порицает канцлера. Второклашке, исполнявшему роль сына, в тот момент казалось, что Фицджеральд на самом деле король вымышленного королевства и что он, ученик второго класса, действительно может играть, на скрипке, как Фриц Крейслер.<sup>[35]</sup> Фицджеральд очаровал всех искренностью исполнения. Публика была тронута и долго не хотела отпускать актеров со сцены.

В ту весну, незадолго до окончания школы, Фицджеральд переживал наплыв чувств, который он описал в романе «По эту сторону рая». «Он передвинул свою кровать к окну, чтобы солнце будило его пораньше, и, едва одевшись, бежал к старым качелям, подвешенным на яблоне возле общежития шестого класса. Раскачиваясь все сильнее, он чувствовал, что возносится в самое небо, в волшебную страну, где обитают сатиры и белокурые нимфы — копии тех девушек, что встречались ему на улицах Истчестера. Раскачавшись до предела, он действительно оказывался над гребнем невысокого холма, за которым бурая дорога терялась вдали золотой точкой».<sup>[36]</sup>

Теперь он читал все без разбора — Киплинга, Теннисона, Честертона, Роберта Уильяма Чемберса, Дэвида Грэма Филлипса, Филлипса Оппенгейма.<sup>[37]</sup> Как иронически заметил один из школьных друзей, он получал низкие отметки потому, что читал слишком много книг. Он пренебрегал классными занятиями и, позднее вспоминал, «что лишь «L'Allegro» и некоторая строгая ясность стереометрии привлекли его равнодушное внимание». Лежа на краю бейсбольного поля или поздно вечером в комнате, попыхивая во тьме сигаретой, они с Сапом судачили о школьных делах. Фицджеральду нравилось копаться в мотивах поступков людей, распределять их по категориям и предсказывать их будущее.

Он твердо решил поступать в Принстон,<sup>[38]</sup> объясняя свое предпочтение вечными проигрышами Принстона на чемпионатах в регби. «Йелю почти всегда удавалось вырвать победу у Принстона в последнем периоде за счет, как говорили газеты, «напористости». Это напоминало мне рассказ о Лисе и больших зверях, который я читал в детстве. Игроки Принстона представлялись мне изящными, тонко чувствующими и романтичными, а ребята из йельской команды — дюжими, грубыми и жестокими».

Он сдал вступительные экзамены, которые проводились в здании нью-йоркской «Христианской ассоциации женской молодежи», неосторожно прибегнув при этом к маленькой хитрости, о которой позднее долгое время сожалел.

Лето пролетело быстро. Лишь драма на тему Гражданской войны «Трус» заставила его забыть о надвигавшейся осени. Пьеса была поставлена «Елизаветинским драматическим кружком», названным так по имени его директрисы Елизаветы Магоффин. Фицджеральд фактически один осуществлял режиссуру, а мисс Магоффин, крупная, полная, энергичная девушка лет двадцати с небольшим, следила за порядком на репетициях, считая при этом, что главная задача актеров — заучить свою роль. Ее вера в Фицджеральда лишь способствовала быстрому росту его уверенности в самом себе. Мисс Магоффин подарила ему свою фотографию с надписью: «Скотту, чья божья искра и талант притягивают к себе. С большой любовью от той, кто о нем так думает».

В основу «Труса» положена любимая тема Фицджеральда — искупление вины через отвагу: южанин, отказавшийся взять оружие в руки, вступает добровольцем в армию и становится героем. Представление перед переполненным залом «Христианской ассоциации женской молодежи» принесло 150 долларов чистой прибыли, которые ассоциация передала в фонд помощи детям. Эта сумма вдвое превышала выручку от другой пьесы Фицджеральда — «Схваченная тень», поставленной годом ранее. По просьбе зрителей «Трус» был вторично показан в яхт-клубе «Уайт-Бэр» — незадолго до того Фицджеральд стал его членом.

Будучи главным лицом «Елизаветинского драматического кружка», Фицджеральд обнаружил качества настоящего импресарио. Он знал теперь, как выйти из положения девушке, взявшей напрокат лишь один костюм для пьесы, действие которой происходит в течение нескольких лет, или что делать, если юная актриса стесняется говорить на сцене: «Папочка, подумай о своей печени». Именно ему приходилось улаживать все эти мелочи, но его талант развертывался в полной мере, когда дело доходило до переработки текста пьес. Здесь Фицджеральд проявлял неистовую увлеченность. Он устраивался поудобнее в уголке и из-под его пера начинали вылетать лист за листом исписанные страницы. Скотта отличало также умение неистоимо импровизировать. Во время представления в «Уайт-Бэр», в соответствии с ремаркой, в тексте из-за сцены должен был прозвучать выстрел, но он не раздался. Мальчишка, которому поручалось произнести холостой выстрел, в последнюю минуту обнаружил, что пистолет заряжен настоящими патронами. В панике он стремглав бросился из театра и, добежав до конца пирса, пальнул в темное небо. Фицджеральд, игравший в это время на сцене, заполнил затянувшуюся паузу в высшей степени правдоподобными поисками коробки с сигарами.

В августе Фицджеральд начал готовиться к повторным экзаменам,

поскольку Принстон не хотел принимать его на основе оценок, полученных им весной.

— Ты действительно поступаешь в Йель (читай Принстон. — Э.Т.) этой осенью? — спрашивает Безила Дьюка Ли его друг в рассказе «Торопливость».

— Да, а что?

— Все утверждают, надо быть глупцом, чтобы поступить в шестнадцать лет.

— В сентябре мне исполняется семнадцать. Так что до встречи.

## ГЛАВА IV

Однако, переэкзаменовка в сентябре не приблизила Фицджеральда к университетской скамье. Правда, абитуриенты, чуть-чуть не дотянувшие до проходного балла, могли апеллировать в приемную комиссию, и, после собеседования или нажима на ее членов, пробить себе дорогу в Принстон. Личное присутствие Скотта подействовало на заседавших в комиссии жрецов науки убедительнее, чем результаты его экзаменов. Ко множеству доводов в свою пользу, он присовокупил и тот факт, что у него сегодня день рождения и было бы жестоко отклонить его кандидатуру в такой знаменательный для него день. Что бы там ни было, комиссия постановила принять его, и 24 сентября Фицджеральд телеграфировал матери: «ПРИНЯТ. ВЫСЫЛАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, НАКОЛЕННИКИ И БУТСЫ НЕМЕДЛЕННО. ЧЕМОДАН ЖДУ ПОЗЖЕ».

Щитки и бутсы, безусловно, могли бы подождать. Хотя в то время игроки в регби были пожиже (сантиметров на пять пониже и весом, соответственно, полегче), чем теперь, — 170 сантиметров и 65 килограммов не ахти какие данные, если, конечно, не обладать талантом, намного превосходившим способности Фицджеральда. Один из сокурсников вспоминал о нем как о «трудяге» и напористом игроке, стремительно мчавшемся по полю с развевающейся копной светлых волос, в черной майке команды школы Ньюмена с белыми полосками на рукавах. Ему особенно удавались перехваты пасов противника. Как-то позднее Фицджеральд писал о «наплечниках, за один день измочаленных первокурсником на поле принстонского стадиона». Автору этих строк он признавался, что изодрал их в три дня и ретировался с полупочетом и вывихнутой лодыжкой (в романе «По эту сторону рая» герой получает настолько серьезную травму колена, что выбывает из строя на весь сезон). Ну что ж, раз мечта прославиться, став звездой регби, к его невыразимому сожалению, осталась неосуществленной, ему придется отыскать иной способ, чтобы привлечь к себе внимание публики.

Красота Принстона, который в то время был поменьше и посонливее, нежели теперь, нашла отклик в его душе.

В ту пору железная дорога еще упиралась в начало улицы Блэйр, а Нассау-стрит оставалась невымощенной. Стадион «Пальмер» только сооружался и его строительство планировалось завершить следующей осенью. В Фицджеральде почти сразу вспыхнуло благоговение перед этой

студенческой обителью, где «старейший колледж Уидерспун, как отец в темных одеждах, осеняет своих ампирных детей Вигов и Клио, где Литл черной готической змеей сползает к Паттону и Койлеру, а те, в свою очередь, таинственно властвуют над тихим лугом, что отлого спускается до самого озера» и где «надо всем — устремленные к небу в четком синем взлете романтические шпили башен Холдер и Кливленд».

В один из сентябрьских вечеров, сидя на ступеньках дома, в котором он снимал комнату, Фицджеральд стал свидетелем парада, устроенного старшекурсниками, который он впоследствии описал в романе «По эту сторону рая». В белых костюмах, взявшись под руки и высоко вскинув головы, они стройными рядами двигались по Университетской улице, распевая «Назад, назад, в Нассау-холл». «Песня взмыла так высоко, что выдержали одни тенора, но те победно пронесли мелодию через точку и сбросили вниз, в припев, подхваченный хором». Во главе колонны шагал капитан команды регби, «стройный и гордый, словно помнящий, что в этом году должен оправдать надежды всего университета, что именно он, легковес, прорвавшись через широкие алые и синие линии, принесет Принстону победу».

Капитан команды Принстона, 85-килограммовый защитник, блондин Хобарт Бейкер, как две капли воды походил на Адониса. Во времена Фицджеральда идолопоклонничество было развито еще более, чем теперь, на игроков университетских команд смотрели как на полубогов. Хоби Бейкер, капитан команды регбистов и звезда хоккея, восседал на таком высоком пьедестале, что его нельзя было лицезреть без благоговения. Но Бейкер был свойский парень: иногда он спускался с Олимпа, чтобы потереться среди первокурсников, и однажды в октябре Фицджеральду удалось даже перебраться с ним несколькими словами.

Свод студенческих традиций неумолимо определял рамки поведения тогдашних первокурсников. Им запрещалось покидать общежитие после девяти часов вечера, ходить по газонам или курить трубки на территории университетского городка; им вменялось в обязанность также носить брюки без манжет, стоячие воротнички, черные галстуки, черные ботинки и помочи (в ту пору их носили все), а также черные приплюснутые кепи. В течение первых десяти дней их подвергали снисходительному третированию, походившему на своего рода помыкание, правда, безболезненное. Старшекурсники могли, например, заставить их танцевать с закатанными до коленей штанами или, построив в один ряд как солдат, приказать маршировать до главного здания университета. Если на первокурснике оказывался праздничный костюм в клетку, ему могли

предложить расстелить его на земле и сыграть на нем партию в шашки с приятелем с его курса. Враждебность между первогодками и «старичками» достигала своего апогея в «стенке», игре, во время которой новички плотным клином шли на приступ спортзала, защищаемого «старичками». Хотя эта забава, как правило, организовывалась под наблюдением выпускников, тут не обходилось без синяков и шишек. В пору обучения Фицджеральда на первом курсе, «стенки» запретили, после того как во время одной из них первогодок был затоптан до смерти своей же «фалангой». Задирание первокурсников, к тому времени, прекратилось и в отношении одежды были введены некоторые послабления.

И все же, эти университетские традиции, подвергавшиеся критике за их детскость и бесцельность, способствовали созданию праздничного настроения и *esprit de corps*,<sup>[39]</sup> которые были так милы сердцу Фицджеральда. После душевной атмосферы подготовительной школы его жажда жизни и любознательность в этом новом для него окружении не знали предела. Он стремился всюду побывать, все увидеть и почувствовать, исследовать каждую деталь. Он хотел приложить руку ко всему и потому за все брался с жаром. И это делало его привлекательным. Он рвался навстречу жизни, стремясь объять ее всю сразу, не будучи в силах ожидать медлительных поворотов ее размеренного течения.

В те годы контраст между выходцами из восточных и западных штатов, из городов и сельских местностей, между школьниками из подготовительных и обычных школ был более заметен, чем теперь. Детали в одежде и манере вести себя резче бросались в глаза. Фицджеральд быстро усвоил господствовавший в университете кодекс поведения и принял его. В общей столовой, где принстонцы питались первые два года, он мысленно отделил вожаков и всех, кто чем-либо выделялся от «вахлаков» и «плебеев», как тогда называли студентов из семей, стоящих на более низкой ступени общественной лестницы. Однако, хотя он и уважал тех, кого считал выше себя, он не пресмыкался перед ними: не стремился, например, сесть рядом со старостой курса, если около того пустовало место, хотя и отмечал про себя тех, кто поступал так. От его внимательного взгляда не ускользало ничто, даже такие мельчайшие детали, как отношение принстонцев к родителям, приезжавшим их навестить. Если какой-нибудь студент, прогуливаясь с родителями по университетскому городку, клал руку на плечо матери и, в то же время, почти не разговаривал с отцом, это порождало в голове Фицджеральда самые немислимые предположения.

Вместе с девятью первокурсниками, среди которых были Сап Донахью

и еще несколько однокашников из школы Ньюмена, Фицджеральд поселился на Университетской улице в доме 15, известном под названием «морг». Обжившись на своих местах, иными словами, украсив их различного рода плакатами и вымпелами, приобретя обязательный для всех студентов группы атрибут — курительные трубки, они усаживались в качалки у окна первого этажа и наблюдали за однокурсниками, стайкой направлявшимися в главное здание. Для писателя, который делал первые шаги и неустанно анализировал себе подобных, раскладывая их в своем мозгу по полочкам, с безудержной фантазией пытаясь докопаться до мотивов их поступков, подобное наблюдение представляло собой великолепный тренаж. О чем мечтает студент такой-то? Удастся ли ему осуществить свою мечту? Откуда он родом? Если отнять у него то или иное качество, что с ним станет?

«А вот и Том Хиллард, — раздавался вдруг голос Фицджеральда, завидевшего проходившую мимо окна компанию друзей из школы Сент-Пола. — Он метит высоко».

Фицджеральд заранее знал все о клубах, в которые студентам предлагалось вступать к концу второго года. До того момента считалось, что чем меньше студент говорил об этом, тем лучше. Но Скотт составил список студентов курса, указав против фамилии каждого клуб, для которого, казалось, тот был создан.

Жизнь в «морге» состояла из непрекращающихся игр в покер и «рыжую собачку», не обходилось и без обычных для первокурсников проделок — турниров по борьбе, драк подушками. Когда было обнаружено, что подача газа в здание перекрывается вентилем наверху, Фицджеральд, снимавший комнату на последнем этаже, отключал газ как раз в тот момент, когда в нем больше всего нуждались. Кроме того, он имел обыкновение вваливаться к кому-нибудь в комнату часа в два-три ночи и во время разговора мерить комнату шагами, красуясь перед зеркалом.

То, что он лицезрел в зеркале — красивого, самоуверенного, непохожего на других блондина, — внушало надежды. По чьему-то точному замечанию, он выглядел как нарцисс. Теперь он носил пробор посередине (в школе Ньюмена он делал его сбоку) и, если по официальным случаям он приглаживал волосы, все остальное время они были слегка растрепаны оттого, что он постоянно был в движении. Чистая кожа его бледного лица обычно розовела после физических упражнений или на морозе, хотя в этот период она утратила свою свежесть из-за юношеских угрей. Фицджеральд предпочитал костюм от «Братьев Брукс». В первый год в университете он носил зеленовато-серый твидовый костюм, который

ему очень шел. При этом он выгибал застегивавшиеся на пуговицы кончики воротничка рубашки, отчего его темные консервативные галстуки выглядели под диктуемым модой углом.

Иногда он, вместе с товарищами отправлялся, в Trenton, чтобы заглянуть в бар или посетить бурлеск. Фицджеральд впервые попробовал виски весной того года и во время поездки в НьюЙорк шокировал Сапа Донахью, выпив подряд несколько коктейлей. Когда винные пары ударили ему в голову, он, дурачась, взял Сапа за руку и стал обращаться с ним как с сыном, чем необычайно позабавил прохожих. Организм Фицджеральда совсем не принимал спиртного и, до последнего курса, он не часто притрагивался к нему. Это были еще времена, когда родители обещали детям подарить золотые часы, если те воздержатся от вина до двадцати одного года. Потребление алкоголя в любой форме в университетском городке запрещалось и на студентов под хмельком смотрели косо. Поэтому Фицджеральд, как и большинство студентов, употреблял лишь пиво, подаваемое в барах на Nassau-стрит.

Именно в то время у него появилась мечта стать литературным сотрудником юмористического журнала «Тигр» или «Треугольника», где публиковались сценарии музыкальных комедий. Поместив как-то под псевдонимом в «Тигре» свою первую мелкую заметку, Фицджеральд начал бомбардировать журнал сентиментальными виршами, незатейливыми шутками и безыскусными скетчами. Частенько, сбежав с лекций, он поджидал редактора журнала на Nassau-стрит и уговаривал его взять рукопись на просмотр. Поскольку редактор собирался уходить в отставку, он сдался, не выдержав бурного натиска, и напечатал второй опус Фицджеральда.

Пробиться в «Треугольник» оказалось значительно труднее. Ему неизменно возвращали ворох посланных в журнал стихов, предпочтение обычно отдавалось песням всем известных в университете старшекурсников. Фицджеральд пристроился осветителем в старое казино, где «Треугольник» проводил репетиции. Писал Скотт неистово, запойно, вскакивая иногда глубокой ночью и разбрасывая по полу исписанные листки, которые на следующий же день выбрасывал в корзину, не читая.

Занятия ничуть не интересовали его. В течение первого года он пропустил 49 дней — максимальный срок, который не влек за собой взысканий. Подремывая на лекциях, он ловко уклонялся от полурасслышанного вопроса преподавателя, обычно начиная свой ответ словами: «Все зависит от того, как на это посмотреть, сэр. На это можно взглянуть с субъективной и объективной точек зрения». Фицджеральд не



проявлял больших склонностей к наукам, хотя университетская жизнь действовала на него возбуждающе. Его влекла к себе ведущаяся в стенах университета неустанная борьба за положение и авторитет; он верил, что его талант непременно будет вознагражден. На него пьяняще действовала атмосфера Принстона — яркие толпы во время матчей в регби, обрывки песен, плывущие по территории университетского городка, мягкий свет ламп на Нассау-стрит, шепот в ночных аллеях перед Уидерспуном.

По пути домой, на рождественские каникулы, он ощутил единение с родным краем, так трогательно описанное на последних страницах «Великого Гэтсби», в отрывке, который, подобно вздыбившейся на море волне, смывает все неприглядное и низменное, что предшествовало этой поэтической картине.

«Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни — это поездки домой на рождественские каникулы, сперва из школы, поздней — из университета. Декабрьским вечером все мы, кому ехать было дальше Чикаго, собирались на старом, полутемном вокзале Юнион-стрит, забегали наспех проститься с нами и наши друзья-чикагцы, уже закружившиеся в праздничной кутерьме. Помню меховые шубки девочек из пансиона, мисс Такой-то или Такой-то, пар от дыхания вокруг смеющихся лиц, руки, радостно машущие завиденным издали старым знакомым, разговоры о том, кто куда приглашен («Ты будешь у Ордуэев? у Херси? у Шульцев?»), длинные зеленые проездные билеты, зажатые в кулаке. А на рельсах, против выхода на платформу, — желтые вагоны линии Чикаго — Милуоки — Сент-Пол, веселые, как само Рождество.

И когда, бывало, поезд тронется в зимнюю ночь и потянутся за окном настоящие, наши снега, и мимо поплывут тусклые фонари висконсинских полустанков, воздух вдруг становился совсем другой, хрусткий, ядреный. Мы жадно вдыхали его в холодных тамбурах на пути из вагона-ресторана, остро чувствуя, что кругом все родное — но так длилось всего какой-нибудь час, а потом мы попросту растворялись в этом родном, привычно и нерушимо.

Вот это и есть для меня Средний Запад — не луга, не пшеница, не тихие городки, населенные шведами, а те поезда, что мчали меня домой в дни юности, и сани с колокольцами в морозных сумерках, и уличные фонари, и тени гирлянд остролиста на снегу, в прямоугольниках света, падающего из окон».

Хотя встречи со старыми друзьями доставляли много радости, все же Фицджеральду, кругозор которого к этому времени значительно расширился, Сент-Пол начинал казаться унылым провинциальным

городишком. Его так и подмывало встряхнуть его обитателей, пробудить их от спячки. «Я думаю ввести вас в свой следующий рассказ, — говорил он, бывало, соседке на каком-нибудь званом обеде, давая этим понять, что его очередное произведение вот-вот выйдет из печати. — Какой бы вы хотели себя в нем видеть?» Очередную заезжую девицу он мог спросить: «Неужели вы самая богатая среди питомиц пансионата?». Для девушек из католических семей у него был уже заготовлен вопрос: «Вы действительно верите в бога?».

После каникул он возвратился в университет, чтобы получить заслуженное возмездие на экзаменах за первый семестр.

Сдав кое-как четыре экзамена и завалив три, он едва удержался в университете. В марте засел за сценарий для «Треугольника», к чему побудил его новый президент клуба Уокер Эллис. Выходец из богатой семьи из Нью-Орлеана, разносторонний студент-третьекурсник, Эллис казался Фицджеральду beau ideal.<sup>[40]</sup>

К концу апреля, после проведенного конкурса, «Треугольник» отобрал два сценария — Фицджеральда и второкурсника Лоутона Кэмпбелла. Поскольку оба никогда ранее не встречались, Эллис делал все, чтобы держать их в отдалении друг от друга и подогреть в каждом дух соперничества. 15 мая Кэмпбелл представил свой окончательный вариант. Он обсуждал его с Эллисом в кабинете, когда на пороге появился Фицджеральд, еле переводя дыхание. Его волосы были растрепаны, а глаза, отражавшие сразу и подозрение, и нетерпение, и любопытство, доброжелательный юмор, сострадание, иронию, горели огнем. В руке он держал рукопись.

— Кэмпбелл еще не пришел? — выпалил он.

— Пьеса Кэмпбелла у меня, как и он сам, — ответил Эллис, и соперники были представлены друг другу.

Они стали друзьями и, в течение нескольких последующих недель, Скотт частенько заглядывал к Кэмпбеллу, чтобы поинтересоваться, как идет конкурс. Фицджеральд не имел никаких шансов.

Чтобы улучшить свой стиль, он с головой окунулся и лирику Гилберта и Салливана<sup>[41]</sup> и драмы Оскара Уайльда.

В конце концов, предпочтение было отдано его сценарию, главным образом, из-за мастерски написанных песен, которые, как утверждали, отличались наибольшей оригинальностью из всех, когда-либо публиковавшихся в «Треугольнике». Эллис переделал сценарий и поставил на нем свое имя. Но Фицджеральд на своем экземпляре внес поправку:

«Сценарий и текст песен Ф. Скотта Фицджеральда, 1917 год. Редакция Уокера Эллиса, 1915 год».

В первые месяцы своего пребывания в университете Фицджеральд совершенно случайно познакомился с редко одаренным студентом из его же группы. Вот как Джон Пил Бишоп<sup>[42]</sup> описывает их первую встречу:

«Фицджеральд, как и я, только что прибыл в Принстон. Университетская столовая еще не работала, и мы как-то оказались рядом за большим круглым столом в углу кафе «Павлин». В тот день я впервые отважился выйти в город один: поначалу все учившиеся ранее в одной школе держались вместе. Совершенно случайно я сел рядом с этим юношей, и у нас быстро завязалась беседа. Мы остались вдвоем, когда все другие уже ушли. На усталой пожелтевшими листьями улице растворялись утренние сентябрьские сумерки. Свет растекался по стенам, обклеенным обоями, на которых важно вышагивали маленькие павлины, неся за собой, словно шлейфы, хвосты среди пышной зелени. Я узнал, что Фицджеральд написал пьесу, которая была поставлена в школе... Мы вели беседу о книгах: прочитанных мной (их было не так много), тех, с которыми успел познакомиться Фицджеральд (их было еще меньше), и о тех, которые, по его словам, он прочитал (их было куда как больше)».

В романе «По эту сторону рая» Бишоп — это Томас Д'Инвильерс, человек с «высоким надтреснутым голосом», внешностью ученого и относительным неведением условностей окружающей жизни. Кодекс поведения в Принстоне предусматривал, что не следует обнаруживать слишком серьезное отношение к занятиям. Бишоп же являл собой само воплощение усердия. Кроме того, он писал стихи об украшенных цветами фавнах и умирающих девах для снобистского «Литературного журнала Нассау», играл в пьесах, которые ставились для завязанных театралов «Английской драматической ассоциацией». Некоторые считали его напыщенным и слегка англизированным за его привычку с придыханием, на английский манер, произносить отдельные слова.

Однако Фицджеральду Бишоп показался мягким, располагающим к себе собеседником с удивившей, правда, Скотта склонностью к скабрёзным анекдотам и сквернословью. Он умел заразительно смеяться: часто, запрокинув голову, он покатывался от безудержного хохота. «Даже на первом курсе, — вспоминал один из преподавателей, — Джон умел так держаться и владеть собой, что походил на юного английского лорда». Из-за болезни в детстве он поступил в Принстон в двадцать один год и оттого выглядел более зрелым, чем его однокурсники. Его можно было принять за молодого профессора. Он с его поразительным знанием литературы,

особенно поэзии, оказал заметное влияние на выбор Фицджеральдом книг для чтения.

Легко увидеть, что почерпнул Фицджеральд у Бишопа. Труднее определить, что дал Бишопу Фицджеральд, хотя и можно предположить из трогательного реквиема Бишопа «Часы», посвященного Фицджеральду:

Был полон обещаний, как весна,  
Приход твой: золото нарцисса в волосах —  
Так ветер вдохновен, когда еще пусты леса  
И каждый миг запеть готова тишина.<sup>[43]</sup>

Лето 1914 года на Западе ничем не отличалось от предшествующих. В это последнее мгновение обманчивого спокойствия война казалась отдаленным возбуждающим воображение событием. Бросок немецких войск на Париж вызвал у Фицджеральда простое любопытство. Затем он перестал об этом много думать, хотя, подобно Эмори из «По эту сторону рая», «если бы война тут же кончилась, он разозлился бы, как человек, купивший билет на состязание по боксу и узнавший, что противники отказались драться».

В этот период все его внимание было поглощено третьей пьесой, написанной им для «Елизаветинского драматического кружка». Несмотря на перегруженность пьесы такими фразами, как «вы, конечно, усекли, к чему я клоню, или мне стоит вещать и дальше», газеты назвали «Разрозненные чувства» «до колик смешным, ослепительно тонким фарсом». Пьеса Фицджеральда вновь собрала полный зал в здании «Христианской ассоциации женской молодежи». Во время представления в яхт-клубе «Уайт-Бэр» неожиданно с треском перегорели пробки, и помещение погрузилось в темноту как раз в тот момент, когда в первом акте на сцене появился призрак. Раздались пронзительные женские крики, явно назревала паника. Фицджеральд выбежал на сцену и импровизированной речью удержал публику на местах до тех пор, пока пробки не были заменены.

Возвратившись в сентябре в Принстон, он обнаружил, что отлучен от «Треугольника». Хотя весной его отметки несколько улучшились, и он отвечал критериям «добросовестного студента второго курса», ему не разрешили играть в постановках и выезжать вместе с труппой в турне по другим городам. Все же, он принимал участие в оформлении сцены и режиссуре и, не переставая, переписывал и шлифовал перекладываемые на

музыку стихи.

Теперь он жил один, в доме 107 по улице Паттон в комнатке-башенке, окна которой выходили на лес и луга, полого скатывающиеся к озеру Карнеги. Он продолжал внимательно изучать своих однокурсников, их жизнь и знал о них больше, чем они о том подозревали. В целом его оценки были объективными и снисходительными, хотя тех, к кому он питал антипатии, он мог изничтожить несколькими беспощадными штрихами. Посторонние интересы продолжали оттеснять занятия на второй план. На уроках химии он забывал о формулах и вместе со своим соседом сочинял стихи. Ему чем-то понравился учитель английского языка по кличке Рип Ван Винкль,<sup>[44]</sup> и он даже посещал литературные вечера на квартире у Винкля, где студенты читали стихи Шелли и Китса и пили чай с ромом.

В декабре «Треугольник» отправился на гастроли, и, хотя Фицджеральд не поехал вместе с труппой, он, тем не менее, разделил славу от постановки спектакля «Фу ты — ну ты!». «Эта прелестная пьеска, — откликнулась на нее рецензией газета «Бруклин ситизен», — была анонсирована как музыкальная комедия. Это несправедливо хотя бы потому, что сие название дано бесчисленному множеству постановок па Бродвее, в которых гораздо меньше жизни, сверкающего юмора и подлинно хорошей музыки». «Успех представления, — вторила ей «Балтимор сан», — следует в первую очередь отнести за счет талантливых стихов Ф.С. Фицджеральда, — он создал несколько действительно прекрасных потешных песен». И, наконец, «Луисвилл пост» заключала: «Слова песен написаны Ф.С. Фицджеральдом, которого ныне по праву можно поставить в ряды самых талантливых авторов юмористических песен в Америке».

Эти похвальные отзывы как хмель подействовали на Фицджеральда. «Успех «Треугольника», — признавался он позднее одному из однокашников, — самое худшее, что могло со мной произойти. До тех пор пока я неизвестен, я довольно приятный малый, но стоит мне приобрести хоть чуточку популярности, и я надуваюсь как индюк».

Однажды, когда Фицджеральда спросили, как это ему удастся на вечерах поймать в свои сети самую привлекательную девушку, он ответил: «Меня интересует лишь самое лучшее». Поэтому нет ничего удивительного, что во время рождественских каникул в Сент-Поле он стал увиваться за Джиневрой Кинг из Чикаго, которую встретил, будучи в гостях у Мари Герси. Джиневра была ослепительной красоты брюнетка с естественным румянцем, который приходился столь кстати в те годы, когда косметикой пользовались лишь актрисы. Хотя ей недавно исполнилось шестнадцать, и она училась на предпоследнем курсе в Вестовере, она уже

получала уйму писем от студентов из Йеля, Принстона и Гарварда. Подобно Изабелле в романе «По эту сторону рая», за ней закрепилась репутация «ветреной», и она была способна «на очень сильные, хотя и преходящие чувства». Фицджеральд, который встретился с ней за день до отъезда в Принстон, все же монополизировал ее в эти оставшиеся скоротечные часы. Отношения между Эмори и Изабеллой в романе «По эту сторону рая» — отражение столкновения эгоцентрических натур Скотта и Джиневры. Фицджеральд сразу же затмил сонмище ее поклонников. Его ухаживания льстили тем, что его сердце, как утверждали, не так-то легко было завоевать, и он философствовал о жизни как никто другой из ее кавалеров. У Фицджеральда увлеченность шла глубже: он впервые был влюблен без памяти.

По пути в Принстон он написал телеграмму, которую так и не отправил: «Дорогая Джиневра, простите за пляшущий почерк, который выводит далеко не твердая рука. Я только что пропустил три коктейля «Бронкс» и бутылочку сотерна по случаю встречи в поезде с моим однокашником Донахью». Он развернул с Джиневрой обширную переписку. Джиневра обещала прислать ему свою фотокарточку из «семейного альбома» и, одновременно, просила его фото, поскольку у нее остались довольно смутные воспоминания о его светлых волосах, больших голубых глазищах и очень шедшем ему коричневом вельветовом жилете. У Фицджеральда вскоре появились основания для ревности. До него дошли слухи, что после его отъезда из Септ-Пола на Джиневру положил глаз его заклятый соперник Рубен Уорнер, чары которого приобрели дополнительную силу после появления у него автомобиля «штуц бэркэт». Когда Фицджеральд написал Рубену письмо, требуя объяснений, ответ не рассеял его сомнения: «Скотт, ты мелешь чепуху, утверждая, будто я вечно обставляю тебя. Ведь я-то знаю, что тебя она любит больше. Это ты, черт бы тебя побрал, постоянно обскакиваешь меня. Но, несмотря ни на что, мы — друзья-соперники, и одно это утешает...

В среду утром ко мне заглянула Мари и спросила, не присоединюсь ли я к их компании, на что я тут же согласился, и мы вшестером — я, и Дж. К. Джонстон, и Мари, г-жа Херси и еще какая-то старая перечница, приставленная приглядывать за девушками, — отправились на прогулку в карете. Когда я увидел последнюю парочку, я сказал себе: «Рубен, считай, что сегодня у тебя потерянный день». И все же, я начал прикидывать, как бы... (только чтобы старушечки не заметили — Э.Т.). Дж. К., мне кажется, думала о том же самом.

Не прошло и десяти минут, как Джиневра сунула руки в висевшую у

нее на шею муфту и опустила ее себе на колени. Я сидел как остолоп... Ты знаешь, как трудно всегда бывает что-нибудь начать. И вдруг — что ты думаешь! — она уперлась в меня своим мягким локотком, и, когда я посмотрел на нее, она показала мне глазами на муфту. Как ты, конечно, догадался, я сунул свою лапу в муфту и... Остальное, надеюсь, тебе понятно. Когда я сжимал ее руку, она отвечала мне тем же. У-уф! Ты не можешь представить себе всей прелести! Послушай, Скотт, я надеюсь, ты никому не разболтаешь об этом. Следующим летом, если она снова придет в Сент-Пол, мы славно проведем время».

Доходившие до Фицджеральда слухи о кавалерах Джиневры выводили его из себя, но она уверяла, что именно он ее избранник, и ее длинные письма, казалось, подтверждали это. Как-то она предложила ему приехать в Востовер: она была бы «без ума от счастья». Конечно, встреча не может состояться в идеальных условиях: им придется сидеть в застекленной гостиной школы под немеркнущим оком воспитательницы.

В один из февральских дней Фицджеральд отправился навестить Джиневру. Спустя много лет в рассказе «Безил и Клеопатра» он воспроизвел свою встречу с Джиневрой в тот день. «Искрясь светом и излучая тепло, еще более загадочно желанная, чем когда-либо ранее, неся свои пороки, словно драгоценности, она сошла к нему по лестнице в белом платье, и у него захватило дух от приветливости ее глаз».

Джиневра была явно польщена визитом Фицджеральда и в своем следующем письме предложила, чтобы они переписывались каждый день. Но Фицджеральд, который, как это с ним обычно бывало, возмечтал бог весть что, теперь впал в отчаяние. Он предостерегал ее, что, когда она устанет от его писем, в их отношениях наступит отчуждение. Порой он пытался получить от нее ответы на немислимые вопросы («Опиши мне твое последнее увлечение») и поговаривал о принятии церковного сана. Не отказывал он себе и в том, чтобы поморализировать: у девушек, которые любят пофлиртовать, предупреждал он, мало что останется для последующей жизни. Когда Джиневра поехала домой на весенние каникулы, ее письма о веселом времяпровождении как кошки скребли его душу. «Даже сейчас, — начинал он одно из писем, — ты, может быть, сидишь с каким-нибудь «незнакомым чикагцем» с темными кудрями и ослепительной улыбкой».

В марте старшекурсники совершали обход второкурсников, приглашая их записываться в университетские клубы. По вечерам Фицджеральд вместе с Сапом Донахью и еще несколькими приятелями сидел в своей комнате, нетерпеливо ожидая шагов в прихожей, топтания у двери и,

наконец, долгожданного стука в дверь. С посланцами клубов, в которые Фицджеральд намеревался вступить, он разыгрывал приветливого, искреннего молодого человека, якобы не ведающего о причине их визита. Представителям же клубов, членом которых он не собирался становиться, он находил удовольствие наносить оскорбления. Известный старшекурсникам по участию в «Треугольнике», Фицджеральд нацелился на один из четырех самых престижных клубов, «Коттедж», председателем которого был Уокер Эллис. Возможно, он предпочел бы «Плющ», надменный и до мозга костей аристократичный, как он охарактеризовал его в «По эту сторону рая», но он и «Коттедж» считал вполне уважаемым вариантом. В конце концов, взвесив предложения от таких клубов, как «Колпак и мантия», «Квадрат» и «Пушка», он вместе с Сапом Донахью вступил в «Коттедж» и на устроенной по этому случаю пирушке свалился под стол от выпитого вина.

Секция в «Коттедже», куда попал Фицджеральд, состояла из разношерстной и разобщенной публики. Как он позднее писал, может быть, он более прижился бы в «Квадрате», небольшом приятном клубе во главе с Джоном Пилом Бишопом, который облюбовали себе ценители литературы, но он никогда не сожалел о сделанном выборе. В Принстоне крупные клубы издавна привлекали к себе вожаков и тех, кто задавал тон, а Фицджеральд, как всегда, горел желанием быть в первых рядах.

Джиневра в это время обитала в относительном уединении в Вестовере, и Фицджеральд, обосновавшись в «Коттедже», полагал, что настало время пригласить ее на вечер их курса. Джиневре эта идея пришла по душе, но она не была уверена, что ее мать сможет поехать с ней. Однако была надежда, что... Когда несколько недель спустя она написала, что мама не сможет сопровождать ее, Фицджеральд воспринял это сообщение без тени обиды, хотя его подлинные чувства нашли отражение в четверостишье Браунинга,<sup>[45]</sup> которое он выписал себе в альбом:

Не знали мы жизни даров,  
Не знали судьбы участья:  
Слез, смеха, поста и пиров,  
Волнений — ну, словом, счастья.

Чтобы загладить горечь от неудавшейся поездки, Джиневра пригласила его сходить с ней в театр, как только начнутся каникулы. Их отношения



принимали все более бурный характер. Фицджеральду казалось, что для Джиневры он лишь скоротечное увлечение, в то время как все его помыслы были обращены к ней. В минуты душевного смятения он жаловался ей, что устал от нее, что она безвольна, что он идеализировал ее с первой встречи, но вскоре понял свою ошибку. Когда Джиневра ответила, что она не виновата в том, что он ее идеализировал, Фицджеральд тут же раскаялся.

Если не считать перипетий в отношениях с Джиневрой, та весна оказалась для него счастливой порой. Может быть, эти осложнения повлияли на более серьезный подход Фицджеральда к выбору читаемых им авторов. Сап Донахью вспоминал, как возбужденный Фицджеральд ворвался однажды в комнату с «Гончей небес» Фрэнсиса Томпсона,<sup>[46]</sup> которую он только что прочитал по совету Бишопа. В такие мгновения Фицджеральд буквально задыхался от охватывающего его волнения. Литература действовала на него как вино. Ночи напролет он читал и писал в своей комнатке-башенке, заполняя пепельницы окурками, а затем направлялся через погружившийся в темноту университетский городок на Нассау-стрит в ресторанчик «Джо», чтобы подкрепиться жареным картофелем и молоком.

Имя Скотта стало появляться в «Литературном журнале Нассау». В апрельском номере была напечатана его одноактная пьеса «Тенистые лавры» — о французе, пытающемся разыскать в винном подвальчике Парижа следы давно умершего отца. Отец был пьяница-бузотер, но живая душа, эдакий невоспетый Франсуа Вийон. В рассказе «Суд божий», опубликованном в июне, описаны соблазны послушника, готовящегося принять монашеский обет. Столкновение духовных добродетелей и земных пороков показано здесь столь убедительно, что это наводит на мысль о религиозных колебаниях самого Фицджеральда.

Сотрудничая в «Журнале», Фицджеральд познакомился с ее талантливым редактором Эдмундом Уилсоном<sup>[47]</sup> по кличке Кролик. В те годы, студентов различных курсов разделяла гораздо большая дистанция, нежели теперь. К тому же Уилсон был не просто на год старше Фицджеральда, главное — он сам предпочитал устанавливать нормы общения с людьми, проявляя к человеку интерес лишь в том случае, если не считал это пустой тратой времени. Затворник, засиживавшийся за работой до поздней ночи, он пришел в Принстон из школы Хилла, уже обладая блестящим зрелым интеллектом и высокоразвитым критическим чутьем. Его эрудиция снискала ему авторитет среди преподавателей, и он на равных обсуждал с ними интересовавшие их вопросы. Однако,

большинству студентов младших курсов он казался ушедшим в себя литературным маньяком, консервативно одевающимся чудаком и занудой, чопорным, высокомерным коротышкой, который не достаивает вас разговором, считая себя — быть может, и имея на то все основания, — самым умным.

Несмотря на интеллектуальную зрелость, в обращении, Уилсону недоставало изысканности и чувства меры. Он мог вдруг пуститься в пространные рассуждения в совершенно незнакомой ему компании, не сознавая, что другие уже потеряли к нему интерес и даже подсмеиваются над ним. Принстон в какой-то степени казался ему неприятным. Ему претил его провинциализм, чрезмерное увлечение спортом и клубами и относительное безразличие к философии и искусствам — двум его нераздельным страстям. Свои антипатии он не боялся излагать в передовицах «Литературного журнала».

Хотя они с Фицджеральдом сразу оценили друг друга по достоинству, их натуры во многом разнились. Уилсон, прирожденный интеллектуал, через любовь к книгам и культуре пришел к исследованию окружающей жизни. Скотт же, отнюдь не проявивший особых интеллектуальных склонностей, обладал талантом иного рода. Он начал с инстинктивной, спонтанно пробудившейся любви к жизни и, прорубая дорогу в совершенно противоположном от Уилсона направлении, нашел обратный путь к книгам. Из этой основополагающей противоположности вытекали многие различия.

Уилсон обладал рациональным, рассудительным складом ума, унаследованным от своего отца-адвоката, который оказал большое влияние на его образ мышления. Фицджеральд же жил в мире, созданном его собственным воображением. Его художественная фантазия выплескивалась через край. Рядом с живым, импульсивным Фицджеральдом Уилсон казался неловким, излишне утонченным педантом (он был единственным сыном глухой матери, с которой, чтобы она понимала его, ему приходилось говорить исключительно внятно). Миром Уилсона стал «Литературный журнал», где вокруг него группировались более серьезные из старшекурсников, пробовавшие свои силы на литературном поприще. Они считались с его вкусом и суждениями, ибо только Уилсон мог определить, где кончается литература и начинается ремесло. В целом, Уилсон был низкого мнения о «Тигре» и «Треугольнике», хотя и обнаруживал непостоянство, — как-то он даже снизошел до того, что написал сценарий для «Треугольника». Фицджеральд, из чувства противоречия, сначала относился пренебрежительно к «Литературному журналу» и даже

высмеивал его сотрудников — «полдюжину лиц, готовых ради появления в печати слушать рукописи друг друга». Когда над Фицджеральдом подтрунивали за его работу в «Тигре» и «Треугольнике», он и сам частенько подыгрывал. Уилсон же, гордый и высокомерный, терпеть не мог шуток над своим увлечением литературой.

Одним словом, с Уилсоном куда как менее приятно было иметь дело, чем с Фицджеральдом, хотя Эдмунд — когда он этого хотел — тоже мог позабавить, правда, юмор его носил несколько язвительную окраску. Бледный, с тонкими чертами лица, непропорциональными по отношению к крупному торсу ногами, он не был полным, но выглядел несколько приземистым. Оранжевого цвета галстуки, которые он носил, шли к его светло-каштановым волосам. По университетскому городку он передвигался на английском велосипеде — довольно редкое зрелище в то время. Несмотря на спокойные и размеренные манеры, в кругу своих сотрудников он мог себе позволить разговаривать в повышенном тоне, и, если дискуссия принимала острый характер, он начинал часто моргать и от волнения заикаться.

В июне у Фицджеральда, наконец, состоялось долгожданное свидание с Джиневрой в Нью-Йорке. Они побывали на спектакле «Никого нет дома», пообедали в ресторане «Рицруф», а по пути домой, в Сент-Пол, он заехал к ней в Чикаго. Он продолжал думать о ней как о своей девушке, хотя, как она не преминула ему напомнить, они виделись всего лишь пятнадцать часов.

Июнь и август он провел на ранчо у Донахью в Вайоминге. Жизнь на свежем воздухе пришлась ему не по вкусу, но, чтобы не выглядеть маменькиным сынком, он разделял будни ковбоев, помогая им ухаживать за скотом. Однажды он даже напился, а в другой раз выиграл пятьдесят долларов в покер.

Иногда он получал весточку от Джиневры, которая проводила летние каникулы в штате Мэн. Правда, теперь это уже не были те длинные, полные душевных излияний письма, которые приходили зимой.

## ГЛАВА V

Фицджеральд вернулся в университет, как обычно, раньше, чтобы ликвидировать академическую задолженность. Первые недели сентября его натаскивал по начертательной геометрии маленький живой сеятель разумного Джонни Хан.

— Ну а сейчас, Фицджеральд, понимаете? — после третьего объяснения вопроса спрашивал Хан.

— Нет, мистер Хан, не понимаю, — отвечал Фицджеральд, всем своим добродушным видом давая понять безнадежность дальнейшего объяснения, и не обижая при этом ни Хана, ни себя, ни геометрию.

Он кое-как сдал «хвосты», и хотя у него осталось много условных зачетов, не позволявших ему сотрудничать в «Треугольнике», он пропал там почти всю осень. Он был секретарем журнала и нес основную нагрузку, поскольку президент постоянно находился в разъездах с командой регбистов. Фицджеральд написал песен для музыкальной комедии «Дурной глаз», автором которой был Эдмунд Уилсон. Еще летом Уилсон дал ему рукопись, сопроводив ее словами: «Мне опротивело это либретто. Может быть, ты вдохнешь в него чуточку того юношеского пыла, что принес тебе столь заслуженную славу. Растущая желчность и цинизм моего зрелого возраста несколько мешают непосредственности сего творения».

Хотя Фицджеральду не разрешалось принимать участия в спектаклях, он как-то сфотографировался в костюме девушки-хористки, приспустив платье со своего ослепительно белого плечика и изобразив на лице пленительную улыбку. Фотография каким-то образом угодила в «НьюЙорк таймс», и Фицджеральд получил даже несколько писем от поклонниц. Одна из девиц писала, что он очарователен при перевоплощении в женщину и, должно быть, еще более привлекателен в роли мужчины. Импресарио Чарлз Борнхопт обещал даже подыскать для него какую-нибудь пьесу на Бродвее.

В ту осень Фицджеральд посещал заседания «Кофейного клуба», группы старшекурсников, регулярно проводивших литературные диспуты. Главенствовал в клубе Джон Пил Бишоп, голос которого чаще других раздавался во время разгоравшихся в клубе споров. Фицджеральд же вносил в обсуждения, с восторгом принятый всеми, элемент задора и юмора. Хотя его литературный багаж был не столь увесист, как у Бишопа, он воспринимал прочитанное всем своим существом, и ему не терпелось

поделиться с другими чувствами, переполнявшими его после общения с какой-нибудь понравившейся ему книгой. Ворвавшись в комнату, он с видом первооткрывателя выпаливал: «Я только что проглотил «Кузена Понса» и получил колоссальное удовольствие. Какая книга! Какой все-таки Бальзак великолепный писатель!»

Свои стихи и прозу Фицджеральд носил на отзыв Альфреду Нойзу<sup>[48]</sup> (тот преподавал в Принстоне с 1914 по 1923 год). При этом он уверял Нойза, что ощущает в себе способности писать или книги, которые найдут хороший сбыт, или книги, имеющие непреходящую ценность, и что он в раздумье, какой путь ему избрать. Нойз убеждал Фицджеральда, что, в конечном счете, он получит больше удовлетворения от создания книг непреходящей ценности. Фицджеральд делал вид, что не может разрешить эту дилемму. Позднее он шутил, что «счел за благо все-таки ухватиться за звонкую монету и отказаться от звонкой славы». Однако Нойз, отнюдь не производил на Фицджеральда большого впечатления. Когда мать Джона Бишопа как-то сказала, что она только что пила чай с поэтом Альфредом Нойзом, Фицджеральд, взглянув на нее с непроницаемым выражением лица, произнес: «О-о, разве он поэт?»

В начале третьего года обучения в университете Фицджеральд мог оглянуться назад и сделать вывод, что он кое-чего достиг. Юноша со Среднего Запада, окончивший никому не известную подготовительную школу, был принят в клуб, куда стремился попасть, а его сотрудничество в «Треугольнике» и, в меньшей степени, в «Тигре» и «Литературном журнале» снискало ему популярность. Он уже представлял себя следующим президентом «Треугольника» и даже лелеял надежду когда-нибудь быть избранным в святая святых — студенческий совет старших курсов.

Конечно, он понимал, что публикация одного рассказа в «Литературном журнале» или написанная для «Треугольника» песня, не шли ни в какое сравнение с голом, забитым в ворота противника в субботнем матче. Спорт, сводившийся в университете главным образом к регби, в котором в национальном масштабе доминировала «Большая тройка»,<sup>[49]</sup> по-прежнему оставался столбовой дорогой к непререкаемому авторитету среди старшекурсников. В ту пору тактика игры в регби строилась в основном на упорстве и силовых приемах. Головы игроков защищали маленькие, выдавшие виды шлемы, а иные играли вообще с непокрытой головой. Хотя много говорилось об «открытой игре», под которой подразумевались пасы и обманные движения, тактика

преимущественно сводилась к обыкновенным рывкам. Фицджеральд уже не проявлял такого энтузиазма к регби, как несколько лет назад, когда он играл сам, но прорывы Хоби Бейкера или «ломовика» Лоу по-прежнему вызывали у него восторг. Лоу с его ленивой, вразвалочку походкой остался в памяти Фицджеральда навсегда. Он не мог забыть, как тот головой в бинтах отбивал мяч от своих ворот. Фицджеральду нравилось создавать ореол романтики вокруг людей, подобных Лоу, наделяя их сверхъестественными качествами, коими те, как это все прекрасно знали, не обладали.

В тот год Фицджеральд снова жил один. Правда, он переехал с улицы Паттон на улицу Литл в дом 32, поближе к центру университетского городка. Необычайно открытый и общительный, несмотря на свою уязвимость, он постоянно вращался среди людей — подтрунивал над ними, одаривал их комплиментами, изучал их. Для друзей и знакомых у него всегда находилось дружеское приветствие. Бродя по университетскому городку и завидя кого-нибудь издали, он непременно подходил, чтобы накоротке рассказать анекдот, поделиться новостями или передать последние слухи.

Одним из любимых и часто посещаемых им мест был принстонский ресторанчик «Несс». Студенты всех клубов с самыми разнообразными интересами беспорядочно рассаживались здесь за деревянными столами с вырезанными на них ножом инициалами, и бармен-негр Конни сновал между ними, разнося кувшины с пивом. Фицджеральд, как правило, вел увлекательную беседу с кем-либо одним, он был «прилипала», предпочитавший общим дискуссиям разговоры *tete-a-tete*. В беседах он всегда стремился докопаться до сути вещей и если заглядывал к кому-нибудь из товарищей, чтобы посудачить об университетских новостях, то застревал у него на несколько часов. Пристально глядя на собеседника, он внимательно следил за ходом его мысли. Ответы Скотта неизменно были или эксцентричны, или проницательны. При этом в его блуждающей улыбке всегда проглядывала серьезность. Не переносивший глупости и ханжества, он восхищался совершенством во всем, и ему доставляло удовольствие анализировать тех, кто оставил на чем-нибудь печать своей индивидуальности. Ему не терпелось узнать, как этот человек стал редактором газеты, а тот капитаном команды регби?

Он постоянно выпытывал у людей их мысли, причем делал это оборотительно, зная, как он писал об этом впоследствии, что «людей можно ласкать словами». Он привлекал их обходительностью, проницательностью, особой доверительностью, с которой смотрели на

собеседника его светло-голубые приветливые глаза, хотя эти же самые глаза могли зажигаться недружелюбием, когда, сделав из кого-нибудь посмешище, он раздражался приглушенным саркастическим смехом. Кто-то считал его инфантильным. Он мог поразить вас каким-нибудь тонким замечанием и тут же, словно ребенок, начать лепетать о своей мечте: стать звездой регби. Хмель быстро ударял ему в голову, и он любил притворяться более пьяным, чем это было в действительности. После выпитой кружки пива он делал вид, будто еле стоит на ногах, и разыгрывал сцену, которая так умиляла пассажиров в трамвае в Сент-Поле. Ему ничего не стоило сказать, что он всю ночь провалялся в канаве, хотя на самом деле, свернувшись калачиком, он скоротал ее в каком-нибудь уютном уголке университетского городка.

Некоторые относились к нему снисходительно, как к легкомысленному человеку. Он ассоциировался у них с «Треугольником». Признавая за ним определенную степень одаренности, они ожидали от подлинного таланта большей умудренности. Но Фицджеральда положительно нельзя было упрекнуть в поверхностности, просто в нем жил романтик. Он видел красоту жизни, хотел упиваться ею, и передать это ощущение другим. В нем чувствовалось что-то возвышенное и идеальное, что вечно побуждало его к познанию еще не пережитого.

В ноябре, заболев малярией, которая в то время свирепствовала в Принстоне, он угодил в изолятор. В одной комнате с ним оказался Чарлз Эррот, учившийся курсом ниже. Позднее Эррот вспоминал беседы, которые они вели на самые разнообразные темы в течение тех пяти или шести дней, пока были вместе. Когда Фицджеральд завел разговор о регби, Эррот, не очень-то блиставший на поле, счел слова Фицджеральда за проявление такта, желание подбодрить его. Однако он вскоре убедился, что Скотт действительно хочет обсудить с ним вопрос о регби. Эррот в то время читал рассказы Толстого. Как-то он привел цитату из Толстого о том, что цель любого художественного произведения — донести до читателя ту или иную нравственную идею, Фицджеральд резко не согласился с этим. Если бы это было так, возразил он, тогда все величайшие произведения представляли бы собой «чертовски приличные проповеди». Цель художника, по его мнению, должна состоять в том, чтобы выразить пережитое им в изысканной форме.

Фицджеральд жаловался Эрроту, что ректорат травит его из-за низких отметок. На совет Эррота каждый день уделять хоть немного времени занятиям — полдела для получения удовлетворительных оценок — Фицджеральд отвечал, что он никак не может выкроить на это даже и

малой толики. Поскольку он чувствовал, что ему грозит провал на зимней сессии, он, под предлогом болезни, в декабре взял академический отпуск, надеясь вернуться в университет во втором семестре и нагнать курс.

Однако, когда он в феврале возвратился в Принстон, деканат предложил ему остаться на следующий год снова на третьем курсе. Встретив как-то Эррота в университете, Фицджеральд сказал: «Чарли, они только что завалили самого способного студента выпуска 1917 года и перевели к вам на курс». Фицджеральду все же удалось заполучить у декана Макленана копию постановления, в котором говорилось, что «Ф.С. Фицджеральд добровольно прекратил посещение занятий в Принстоне третьего января тысяча девятьсот шестнадцатого года ввиду состояния здоровья и имеет право в любое время, когда оно ему позволит, продолжить занятия на своем курсе».

К выписке была приложена записка декана: «Только ради Ваших тонких чувств. Надеюсь, это Вас успокоит».

Фицджеральд вернулся домой, чтобы дожидаться осени. Теперь семья обитала в доме 593 на Саммит-авеню, самой живописной улице в Сент-Поле, куда она переехала в сентябре 1914 года. Фицджеральды, правда, жили в менее привлекательной ее части, в трехэтажном доме с кирпичным фасадом, какими было застроено все вокруг. Дом представлял собой узкое темное строение и выглядел несколько загадочно, чему способствовало еще и то, что Молли любила держать окна зашторенными. Скотт, которого, казалось, так и тянуло наверх, к воздуху и свету, занимал верхний этаж. Окна его спальни с балконом выходили на улицу.

После многолетнего пребывания в школе Ньюмена и в Принстоне его еще более коробила бестактность матери, о которой в Сент-Поле ходили легенды. Так, один из ее знакомых был серьезно болен, и друзья условились держать это в тайне от его жены. Однажды Молли и эта женщина вместе ехали в трамвае. Когда спутница спросила Молли, о чем она думает, та ответила: «Я пытаюсь представить, как вы будете выглядеть в трауре». В другой раз Молли дала книжку своей знакомой. Прошло немного времени, и она написала ей записку с просьбой вернуть книгу. Знакомая, полагая, что она уже ее возвратила, перевернула вверх дном весь дом в поисках книги. Она была уже готова сообщить Молли, что потеряла ее, как, посмотрев на обратную сторону листка, увидела приписку: «Я только что нашла книгу, но, поскольку здесь посылный, все равно посылаю тебе записку, чтобы пожелать всего самого лучшего».

До своего последнего приезда домой Фицджеральд не поддерживал близких отношений со своей сестрой Анабеллой, которая была на пять лет



моложе его. В душе он гордился этим кротким, милым созданием и хотел, чтобы она в жизни реализовала максимум из своих возможностей. Чтобы помочь сестре в этом, он посылал ей пространные наставления, в которых содержались такие, например, советы: «Как это известно и тебе самой, ты не очень-то хорошая собеседница. Поэтому, совершенно естественно, можешь задать вопрос: «О чем любят говорить мальчишки?» Мальчишки в еще большей степени, чем девчонки, любят говорить о себе. Вот несколько фраз, которые могли бы пригодиться девушке в разговоре с юношей: а) «А вы танцуете гораздо лучше, чем в прошлом году»; б) «Вы мне подарите свой красивый галстук, когда будете его выбрасывать?»; в) «У вас такие длинные ресницы!» (это сконфузит его, но польстит); г) «Я слышала, что в вас есть изюминка»; д) «А кем из девушек вы в последний раз увлекались?»

Избегай таких фраз, как: а) «А когда вы возвращаетесь в школу?»; б) «Вы уже здесь давно?»; в) «Как здесь жарко!» «Как хорошо играет оркестр!» или: «Какой здесь великолепный зал!»...

Когда ты подрастешь, ты узнаешь, что юноши любят говорить, о курении и вине. Всегда проявляй к этому терпимость — молодые люди ужасно не любят нравоучений. Говори, что ты не против того, чтобы девушки курили, но тебе самой это не нравится. Убеждай их, что ты куришь только сигары, дурачь их... Никогда не создавай у юношей впечатления, будто ты пользуешься у них популярностью. Джиневра всегда начинает разговор с того, что она, бедняжка, заброшена и у нее нет поклонников. Будь всегда внимательна к кавалеру, если можешь, смотри ему прямо в глаза; никогда не давай ему понять, что тебе с ним скучно. Делать это непринужденно ужасно трудно. И еще, научись быть практичной. Помни, в любом обществе девять девушек из десяти выходят замуж из-за денег, а девять мужчин из десяти — попросту глупцы...

Выражение, я имею в виду выражение лица, — одна из твоих слабин. Девушка с такой привлекательной внешностью, как у тебя, и в твоём возрасте обязана в совершенстве владеть своим лицом. Оно должно быть почти как маска: а) Приветливая улыбка или умение, когда надо, изобразить ее — абсолютная необходимость. Ты улыбаешься одним уголком рта, что совершенно недопустимо. Сядь перед зеркалом, потренируй улыбку и научись улыбаться подкупающе. Ослепительная улыбка должна стать неотъемлемой чертой каждой девушки. Улыбайся везде — при подругах, в кругу семьи, когда у тебя горе и когда тебя одолевает скука, когда тебе стыдно и когда ты в затруднительном положении. Иными словами, вырабатывай её в условиях, в которых тебе придется пользоваться ею в

обществе. Только после того, как ты отшлифовала ее в спокойной обстановке, ты можешь быть уверена, что это надежное оружие в трудной ситуации; б) Смех не такая важная деталь, как улыбка, но умение смеяться, тоже неплохо иметь про запас. Твой смех привлекателен, когда ты смеешься естественно, твой же искусственный смех никуда не годится. В следующий раз, когда на тебя нападет смех, запомни, как это делать, и упражняйся, чтобы уметь повторить его в любое время. Упражняйся везде; в) Каждая девушка должна носить на лице печальное выражение. Сандра и Джиневра изображают его очень умело, и Ардита тоже. Лучше всего его можно изобразить, широко открыв глаза и слегка опустив уголки рта; глядеть при этом, склонив немного набок голову, надо прямо в лицо мужчины, с которым разговариваешь. Джиневра и Сандра пользуются этим приемом, когда заводят речь о том, как они одиноки и несчастны; на самом же деле это выражение не сходит у них с лица почти ни на минуту. Так что учись ему; г) Не кусай и не криви губы — нет ничего хуже, это испортит любое лицо; д) Два выражения лица, которые ты можешь сейчас изобразить — кривая улыбка и задумчивый взгляд с полузакрытыми глазами, — никуда не годятся. Я говорю тебе все это потому, что ни я, ни мама не можем полностью контролировать выражение наших лиц и ужасно мучаемся от этого. Мама в еще худшем положении, чем я. Ведь ты знаешь, как люди пользуются тем, что написано у нее на лице, и подсмеиваются над ней на каждом шагу. Но ты молода и можешь еще многое сделать, хотя тебе и недостает опыта, которым обладаю я...

...Если ты окажешься когда-нибудь в обществе и почувствуешь, что выглядишь привлекательно, считай, что одной заботой меньше, и ты получила колоссальное подспорье для уверенности в себе. Если с тобой окажется кто-нибудь рядом — мужчина, юноша или женщина (будь то тетушка Милли, Джек Аллен или я), — твоему спутнику будет приятно ощущать, что лицо, которое он сопровождает, делает, по крайней мере, внешне, ему честь».

Фицджеральд чувствовал, что Джиневра охладевает к нему. Осенью он пригласил ее на матч регби, но после проведенного с ней вечера «впал в мрачное уныние». Зато в Сент-Поле у него появилась возможность забыть о своем удрученном состоянии и пустить людям пыль в глаза после того, как его родители приобрели подержанный автомобиль марки «чалмерс». Конечно, это был не «штуц бэркэт», но, если не обращать внимания на его «отнюдь не аристократическую тряску и тарактение», из него удавалось «с муками выжать с полсотни миль в час». Об умении Фицджеральда водить машину можно говорить лишь с известной долей условности. Когда он не

вита в облаках, он, сторбившись, хватался за руль, подражая известному в то время гонцику Барни Олфилду. Один из друзей Скотта вспоминал, как, возвращаясь с ним на машине после танцев, он все время вынужден был сбрасывать рукоятку переключения скоростей в нейтральное положение, чтобы удержать машину в пределах разумной скорости.

В то время танцевальная стихия, символом которой стали Вернон и Ирен Касл, захлестнула страну. Фицджеральд вскоре понял, что один азарт не может заменить навыков и умения. Он целые часы проводил перед зеркалом, отрабатывая движения «максиси», «теркитрот» и «аэроплейн глайд». Его не слишком интересовали танцы *per se*,<sup>[50]</sup> но он горел желанием вызвать всеобщее восхищение, когда он заскользит по паркету с самой красивой девушкой. Как-то на гастроли в Сент-Пол приехала передвижная театральная труппа, и Скотт послал ведущей актрисе записку с просьбой встретиться с ним после представления. Та согласилась, и он, вместе с другом, пригласил ее с подругой на танцы. На следующий день вчетвером они обедали в университетском клубе. Их поведение вызвало в городе кривотолки, хотя вся затея была от начала до конца невинной.

В Принстоне Фицджеральд знал студентов, которые знакомились с девушками в ресторане «Бастаноби» и проводили с ними целые ночи. Фицджеральд избегал подобных отношений. В своих взглядах на женщин он был романтик и абсолютно лишен цинизма. Однажды вечером у озера Уайт-Бэр, когда «волны раскачивали серебряные чашечки, выкованные на воде луной», он случайно услышал, как известный в прошлом спортсмен из Принстона предложил руку и сердце молодой девушке-дебютантке. На него накатила такая волна чувств, что ему «ужасно захотелось и самому оказаться помолвленным тут же и почти с кем угодно». Чисто физическое влечение было развито в нем в меньшей степени. И ему претила скабрзность.

Как-то несколько лет спустя, в разговоре со знакомой женщиной, он сказал о сдобренных порнографией мемуарах Фрэнка Харриса:<sup>[51]</sup> «Книга вызывает одно лишь отвращение». Это говорил отнюдь не пуританин. Некоторое время спустя он добавил: «Мне претит ханжа, морализирующий о сексе».

Его неприятие неразборчивости в половых отношениях видно из сцены в романе «По эту сторону рая», когда Эмори со своим дружкой приезжают на квартиру к двум девушкам, с которыми они познакомились в ночном клубе. «Была минута, когда соблазн овеял его, как теплый ветер, и воображение воспламенилось, и он взял протянутый Фебой стакан». В ту

же секунду он увидел человека, сидящего на диване у противоположной стены комнаты, того самого, который наблюдал за ними весь вечер в кафе. Лицо человека было бледно той бледностью, которая свойственна всем, кто долго проработал в шахте или трудился по ночам в сыром климате. «Рот у него был из тех, что называют откровенным, спокойные серые глаза оглядывали их всех по очереди с чуть вопросительным выражением. Эмори обратил внимание на его руки — совсем не красивые, но в них чувствовалась сноровка и сила... нервные руки, легко лежащие на подушках дивана, и пальцы то сжимались слегка, то разжимались. А потом Эмори вдруг заметил его ноги, и что-то словно ударило его — он понял, что ему страшно. Ноги были противоестественные...»

Поняв, что дьявол попутал его, он бросается вон из квартиры.

В возрасте, когда половой позыв наиболее силен и таит в себе опасность надлома молодой души, какое-то застенчивое целомудрие удерживало Фицджеральда. Как он писал позднее, скорее отчаяние, чем вожделение, толкало его и объятия женщины. Это был год «ужасных разочарований и конец всем университетским мечтам. В один из мартовских дней мне показалось, что я потерял буквально все, чем я так хотел обладать, и в тот вечер меня впервые преследовал призрак женщины, который на какое-то мгновение заслонил все остальное». Это же чувство отчаяния побуждает его написать рассказ о своем провале в Принстоне, который он позднее считал своим первым зрелым произведением, ибо именно в рассказе «Шпиль и химера», опубликованном зимой следующего года в «Литературном журнале Нассау», впервые появляются мотивы «По эту сторону рая».

После возвращения осенью в Принстон, он поселился в одной комнате с Полем Дики, который писал музыку для «Треугольника». Мало того, что Фицджеральд не перешагнул третий курс, но, временно оказавшись за стенами университета, он лишился и желанного поста президента, да и вообще уже не занимал тут больше никакой должности. Тем не менее, он написал слова всех песен для пьесы «Осторожность превыше всего!», поскольку никто не мог ему запретить писать.

Начав все заново на курсе, он счел, что знает все предметы, и не утруждал себя занятиями. Он избрал своей специальностью английскую литературу, но его раздражили академический подход к ней и консервативный дух, царивший на кафедре английской литературы. Ему импонировал Джон Данкан Смит, деливший в равной степени свое время между тренерской работой и чтением лекций о поэтах периода романтизма. Других преподавателей литературы он характеризовал как «субъектов со

слабо развитым вкусом к поэзии, которые терпеть не могли искренности во время дискуссий и даже самых известных в университете студентов называли по фамилиям». На внутренней стороне обложки книги Сидни «В защиту поэзии»,<sup>[52]</sup> он написал: «Боже мой! Да ведь этот человек ужасен! И умираю от скуки, видя, как он кромсает английскую поэзию. Мелкий ум, жалкая отталкивающе-антипатичная личность! Черт бы его побрал! «Изящный» его любимое словечко. Представьте себе изящным Шекспира. Вчера я подсчитал, он употребил выражение «не так ли» сорок пять раз. Какой он противный, этот идиот! Говорят, он собирается жениться. Да поможет господь его жене! Бедняжка, ее ожидает нелегкая судьба!»

Позднее Фицджеральд признавался, что Джон Пил Бишоп «за какую-нибудь пару месяцев помог мне распознать разницу между истинной поэзией и поделкой. После этого, одним из моих первых откровений было то, что, некоторые преподаватели, обучавшие нас поэзии, на самом деле ненавидели ее и абсолютно ничего в ней не смыслили».

Единственное исключение составлял Кристиан Гаус, в то время преподававший романские языки, и позднее ставший деканом факультета. Сын немецкого эмигранта, Гаус за три года прошел курс обучения в университете Мичигана и прибыл в Принстон в 1905 году как один из пятидесяти наставников, которым дал путевку в жизнь Вудро Вильсон.<sup>[53]</sup> Это был человек небольшого роста, с редкими прядями светлых волос, зачесанных на просвечивающую спереди лысину. Взгляд его из-под пенсне был кроток и одновременно тверд. Лет пятнадцать до этого он работал в Париже репортером, встречался с Оскаром Уайльдом. Его лекции выходили далеко за рамки обычной программы, и после их окончания студенты еще надолго задерживались в классе, чтобы продолжить начатую дискуссию.

Гаус придерживался сократовского подхода. Он выдвигал теории, которые затем предлагал развивать самим студентам, утверждая, что его цель «порождать идеи, а не находить им решения». Начиненный цитатами и наделенный добродушным юмором, он обычно приветствовал опоздавшего словами: «Добро пожаловать в Эльсинор!». Когда студент плел околесицу, он мог вдруг прервать его увещанием: «Дорогой друг, ради бога, пощади, — добавляя при этом тихо: — Всемиловитый, не дай погибнуть отроку в неведении!». Гаус обожал старшекурсников. Своей верой в них он пробуждал в их душах самое лучшее, что было в них заложено. Позднее, будучи уже деканом, он спас не одну заблудшую овцу. Он мог быть строгим и, в то же время, проявлял чуть ли не сентиментальность в отношении самых беспокойных студентов, явно

считая, что они обладают большими способностями, чем паиньки. Возможно, это и стало причиной его симпатий к Фицджеральду. Скотт отвечал ему глубокой взаимностью. Для Фицджеральда Гаус стал в американской педагогике эталоном и одновременно маяком, по которому он сверял свой неустойчивый курс жизни.

В отношениях Фицджеральда и Джиневры уже был виден финал. Предыдущим летом, когда он оказался с ней на вечеринке, он поймал чью-то реплику о том, что «бедным юношам нечего мечтать о женитьбе на богатых девушках». В ноябре Джиневра приняла его приглашение посмотреть матч между Йелем и Принстоном, но сразу же после игры, простившись с ним на остановке, завернула за угол, чтобы встретиться с другим молодым человеком. После этого она перестала писать, и в январе Фицджеральд прекратил свои настойчивые ухаживания.

Джиневра была принцессой, ради которой он, словно рыцарь, добивался славы и почестей в Принстоне. Но она вышла из семьи богатых чикагских аристократов и потому была ему не пара. Он казался ей ломкой тростинкой, на которую она не могла опереться. Фицджеральд понимал, что не соответствует ее идеалу, и это глубоко его ранило. Кто знает, сколько тоскующего чувства Фицджеральда к Джиневре перенесено на незатухающую и чистую любовь Гэтсби к Дэзи Фэй.

Но Фицджеральд, часто относившийся иронически к превратностям судьбы, увидел в этом разрыве и обратную сторону. Что стало бы с ним, если бы он добился Джиневры? После их размолвки он написал рассказ для «Литературного журнала» под названием «Источник вдохновения и последняя капля», в котором писатель завоевывает утраченную когда-то любовь, и это исполнение желания лишает его способности писать. Остаток жизни он проводит за игрой в гольф и в уютной скуке.

«Медленно и неотвратимо, а под конец одним мощным всплеском — пока Эмори разговаривал и мечтал — война накатила на берег и поглотила песок, на котором резвился Принстон. По вечерам в гимнастическом зале теперь гулко топал взвод за взводом, стирая на полу метки от баскетбола». Это была весна, когда Америка вступила в первую мировую войну. Скотту все чаще приходили мысли самому принять в ней участие, хотя в ту пору он был полностью поглощен борьбой, которая велась в университетском городке.

То и дело в Принстоне возникали разговоры о роспуске студенческих клубов, которые, как утверждали, — пустая трата времени, да и в известной мере снобизм, поскольку процентов для пятнадцати студентов каждого курса двери в них оказывались закрытыми. Вудро Вильсон, будучи

ректором Принстона, пытался упразднить клубы, теперь же они подвергались нападкам со стороны самих учащихся. Три ведущих студента второго курса отказались вступить в них. При поддержке «Принстонской газеты» они развернули кампанию, которая привела к сокращению на четверть числа вступивших в клубы второкурсников. Протест искусно направлялся и мог бы уничтожить существующую структуру, не разразись война, которая перевернула жизнь в университете.

Фицджеральд был замороженным, но оставшимся в стороне наблюдателем. Рассматривая движение против клубов как колоритное и забавное представление, он явился вдохновителем номера «Тигра», где в гротескной форме выставлялись и клубы, и их низвергатели. Он рассматривал клубы как часть установившейся традиции и был склонен воспользоваться ею, тем более что сам он попал в один из лучших. В то же время он восхищался реформаторами, которые приносили в жертву привилегии ради идеалов равенства и братства, почерпнутых у Толстого, Уитмена и Торо.<sup>[54]</sup> Это был период, когда волна идеализма захлестнула университет. Один из второкурсников — руководителей движения — Генри Стрейтер, стал прообразом Бэрна Холидея, бунтаря и пацифиста в романе «По эту сторону рая».

Впоследствии Фицджеральд рассматривал этот хаотический год, как исток своей литературной карьеры. Он приехал в Принстон в поисках выхода своему таланту и проторил для себя дороги одну за другой, сначала в «Тигре», а затем в «Треугольнике». Постепенно он стал больше тяготеть к «Литературному журналу», поскольку твердо решил стать крупным писателем, — если не Шекспиром, то, по крайней мере, на одну ступеньку ниже — Китсом или, скажем, Марло.<sup>[55]</sup> Эта его самоуверенность раздражала даже друзей и благожелателей.

Он вкусил той жизни, о которой мечтал, когда посетил Эдмонда Уилсона, теперь начинающего репортера в Нью-Йорке». Фицджеральд, заметивший Уилсона еще из такси до того, как они встретились, сразу понял, что он сильно изменился.

«Я увидел его, быстро шагавшего в толпе, одетого в темно-коричневый плащ поверх неизменного коричневого пиджака... Меня крайне удивило, что он опирается на легкую трость... Это уже не был застенчивый, неприметный студент, эрудит из Холдер-Корта. Он шествовал уверенно, погруженный в свои мысли и глядя прямо перед собой. Было совершенно ясно, что нынешнее положение вполне устраивало его. Я знал, что сейчас он жил в отдельной квартире вместе с тремя знакомыми, свободный от всех

табу студенческих лет. В нем чувствовалось и еще что-то, что поддерживало его в жизни, и я впервые ощутил это что-то — дух большого города...

В тот вечер, на квартире у Кролика, жизнь казалась полной упоения, и свободной от каких бы то ни было тревог — утонченное воплощение всего того, что я полюбил в Принстоне. Нежные звуки гобоя перемешивались с шумом улицы, с трудом проникавшим в комнату через великое множество стеллажей с книгами».

Но это наслаждение ему предстоит пережить в далеком будущем. В тот момент Фицджеральд утолял жар души тем, что писал в «Литературный журнал». «Моя голова была наполнена музыкой стихов Суинберна и образами Руперта Брука,<sup>[56]</sup> — вспоминал он. — Я провел всю весну, просиживая до поздней ночи над сонетами, балладами, ронделями. Где-то я прочитал, что все великие поэты создавали крупное произведение к двадцати одному году. Мне оставался всего лишь один год. Кроме того, надвигалась война. Я должен опубликовать книгу потрясающих стихов до того, как погибну».

Поэзия была его страстью, но все же шедевром, как это представлялось ему, оказался рассказ, позже перепечатанный лишь с небольшими поправками в одном журнале. Этот рассказ в какой-то степени предопределил всю его дальнейшую судьбу. «Тарквиний из Чипсайда»<sup>[57]</sup> начинается с погони.

«Топот бегущих ног. Впереди, задавая темп, легкие на мягкой подошве туфли из цейлонской кожи. Ярдах в ста позади две пары спешащих тяжелых темно-синих сапог, расшитых золотом, в них тусклыми отблесками отражается лунный свет. Легкие туфли на мгновение останавливаются на лунной дорожке, чтобы перевести дыхание, и затем стремглав бросаются в запутанный лабиринт улочек, превратившись в еле различимый в темноте призрак. Вслед за ними устремляются фигуры в сапогах, сотрясая мечами, спотыкаясь и кляня темные переулки Лондона».

Затем действие переносится в комнату Питера Хакстера, друга преследуемого. Бежавший стучится к Питеру и умоляет спрятать его. Питер шестом открывает потайную дверь в потолке, друг его с ловкостью акробата взбирается по шесту и, чуть не сорвавшись с края лаза, исчезает. Минуту спустя в комнату врываются преследователи. Во время обыска они рассказывают Питеру, что разыскивают человека, совершившего насилие над женщиной. Когда они уходят, беглец спускается с чердака и просит у Питера перо и чернила. Питер корит друга за совершенное преступление,



на что тот отвечает: «Питер, кто дал тебе право вмешиваться в мою жизнь? За совершенное я несу ответственность только перед самим собой». Питер удаляется в спальню. Спустя несколько часов друг будит его и показывает написанную им поэму «Лукреция». Другом Питера оказывается юный Вильям Шекспир.

С самого начала Фицджеральд тяготеет к концепциям Ренессанса и романтизма, предполагавшим, что писатель — это человек действия, и он должен непосредственно пережить то, о чем пишет, не из-за отсутствия у него воображения, а потому, что это придает его писаниям особую глубину и яркость. Такой подход к писательскому ремеслу таит в себе большую опасность даже для сильных личностей, и Фицджеральду следование этой традиции не сойдет с рук так гладко, как выдуманному им Шекспиру.

Весна проплыла длинными вечерами, на веранде клуба под звуки граммофона, и так полюбившейся Фицджеральду грустной песенки «Бедняжка Баттерфляй». Казалось, эта весна ничем не отличается от других, если не считать ежедневных занятий военной подготовкой. Правда, во всем присутствовало щемящее чувство невозвратимости прошлого. Однажды вечером Бишоп и Фицджеральд прогуливались по университетскому городку, читая друг другу стихи и философствуя, и в это время «от арки Блера донеслись последние звуки какой-то песни — печальные голоса перед долгой разлукой». В воздухе Принстона стояла песня, которой, он знал, уже не услышит.

Хотя осенью Фицджеральд вернется в Принстон, чтобы начать свой последний год, он вдруг остро ощутил душевное состояние студентов-выпускников его курса, и попытался передать это в поэме, которую назвал «Принстон, последний день».

*«Скользит последний луч. Ласкает он край шпилей, солнцем только что залитый, и духи вечера, тоской повиты, запели жалобно под лирный звон в сени дерев, что служат им защитой. Скользит по башням бледный огонек... Сон, грезы нам дарующий, возьми ты, возьми на память лотоса цветок и выжми из него мгновений этих сок.*

*Средь звезд и шпилей, в замкнутой долине, нам снова лунный лик не просквозит. Зарю желаний время обратит в сиянье дня, не жгущее отныне. Здесь в пламени нашел ты, Гераклит, тобой дарованные предвещанья, и ныне в полночь страсть моя узрит отброшенные тенью средь пыланья великолепие и горечь мирозданья».*

## ГЛАВА VI

«Он даже не был католиком, а между тем лишь католичество было для него хотя бы призраком какого-то кодекса...» — писал о своем герое Фицджеральд в романе «По эту сторону рая».

Фицджеральду было присуще ощущение беспредельности, загадки жизни, которые ассоциируются у нас с религиозным складом ума. Он мог испытывать благоговение. Его сестра вспоминала, что он был набожным ребенком и утратил веру в Принстоне, где подпал под языческое влияние Уайльда, Суинберна, Уэллса и раннего Гюисманса.<sup>[58]</sup> Не меньшее влияние на него оказали Джон Пил Бишоп и Эдмунд Уилсон, особенно Уилсон, этот воинствующий скептик, который, казалось, вел непримиримую борьбу с протестантскими богословами, бывшими у него в роду.

Фицджеральд, поставивший целью достичь земной славы, постепенно отходил от церкви, хотя и не без внутренней борьбы. Иногда он начинал вдруг посещать мессы и даже соблюдал посты по пятницам, но затем вновь оказывался захлестнутым бренными страстями. Ниточкой, связавшей его с религией, оказался священник Фэй, он изредка встречался с ним в Принстоне, в школе Ньюмена, директором которой тот стал, и в Дил-Биче, где мать Фэя имела дом. Фэй питал симпатию к своему ученику и опекал его — тот чем-то напоминал ему собственную молодость. «Многое в нас с тобой скрыто очень глубоко, — пытался перебросить Фэй мостик между собой и Фицджеральдом, — и ты не хуже меня знаешь, что именно. У нас обоих есть глубокая вера и непомерная честность, которую не уничтожить никакой нашей софистике, и, главное, детская простота души, уберегающая нас от подлинного зла».

Фэй как-то поведал молодому ирландскому писателю Шейну Лесли,<sup>[59]</sup> который в то время совершал поездку по Америке, что отход от церкви, по мнению Фицджеральда, — свидетельство развитого ума и литературных наклонностей и что они должны сделать все для удержания его в лоне церкви. Лесли имел обширные связи и одно время учился в Кембридже вместе с Рупертом Бруком. В присутствии Фицджеральда Фэй и Лесли стали обсуждать величие католицизма, его святых, видных деятелей, выдающихся умов — его Августинов,<sup>[60]</sup> Ришелье и Ньюменов.

В тот момент Фэю предложили возглавить миссию Красного Креста в России. Теперь, когда революция лишила греческую православную церковь такой поддержки, как царский трон, он надеялся — в качестве доверенного

лица кардинала Гиббонса — содействовать восстановлению католического единения. Он хотел, чтобы Фицджеральд сопровождал его в качестве помощника. «С какой бы точки зрения ты ни посмотрел на это, духовной или земной, — убеждал его Фэй, — это великолепная возможность, которая поможет тебе в течение всей остальной жизни».

Фицджеральд дал согласие, главным образом из-за связанного с путешествиями риска и секретности, а не из каких-либо идейных соображений. В ожидании поездки он провел июль в гостях у Джона Пила Бишопа в Чарлстоне в Западной Виргинии, где написал «уйму стихов, в основном под влиянием Мейсфилда<sup>[61]</sup> и Брука» (одна из его поэм — «Ремесло поэта», приобретенная, но не опубликованная издательством, стала первым произведением, за которое он получил гонорар). Он ходил к исповеди и много говорил о намерении принять сан. Госпожа Бишоп опасалась, как бы он не приобщил к своей вере и ее сына, но Бишоп, смеясь, рассеял ее сомнения, заявив, что Фицджеральд с его слабым характером в свою веру никого и никогда не обратит.

В октябре затея с поездкой в Россию провалилась — победили большевики. И Фицджеральд вновь вернулся в Принстон на последний курс, хотя теперь ему не давала покоя другая идея — вступить в армию. Летом он экстерном сдал экзамен на получение звания лейтенанта пехоты, что открывало перед ним возможность более быстрой отправки на фронт, чем если бы он находился в резерве. Он написал письмо Эдмунду Уилсону, стремясь узнать, «какое воздействие оказывает на человека твоего темперамента пребывание рядом с фронтом». Уилсон ответил, что пока он приблизился к фронту не далее чем местечко под Детройтом, где обычно проводились ярмарки, и что он «осуществляет свою миссию милосердия (он служил в то время в санитарных войсках — Э.Т.) в жалкой компании недоумков, в свое время с трудом ставших сносными слесарями, и кретинов с еще меньшими достоинствами, когда-то получивших дипломы в Мичиганском университете».

В ожидании назначения Фицджеральд жил в университетском общежитии вместе с Джоном Биггсом, впоследствии известным судьей, который, будучи студентом, казалось, разделял точку зрения Скотта, что сотрудничество в «Треугольнике», «Тигре» и «Литературном журнале» важнее занятий. Когда «Тигр» почему-либо запаздывал, Фицджеральд вместе с Биггсом умудрялся за ночь отпечатать весь тираж. Скотта нельзя было назвать идеальным соседом по комнате. Если кровать Биггса оказывалась запроваженной, а простыни на ней выглядели чище, чем на его собственной, Фицджеральд заваливался спать на койку друга. Точно так же

он относился и к книгам и одежде своего соседа по комнате, хотя тот не мог бы утверждать, что Фицджеральд хоть когда-либо испытывал нужду в деньгах.

Решение о назначении пришло в октябре 1917-го, и в ноябре Скотт явился в форт Ливенворт в штате Канзас для прохождения трехмесячной военной подготовки. Он считал свою молодость, впрочем, как и молодость всего поколения, безвозвратно ушедшей. «Если мы когда-нибудь и вернемся, — пророчествовал Фицджеральд в письме к кузине Сесилии, — что меня не очень-то заботит, мы постареем в самом худшем смысле этого слова. В конце концов, в жизни мало что привлекательно, кроме молодости, а в старости, как я полагаю, — любви к молодости других».

В письме к матери он не стал разыгрывать уставшего от жизни человека, а написал ей прямо: «Что касается моего вступления в армию, то, пожалуйста, не будем делать из этого трагедию или произносить напыщенных речей о героизме — мне в одинаковой степени претит и то и другое. Я пошел на это совершенно сознательно. Меня не трогают призывы к самопожертвованию ради родины или ореол героя. Я вступил в армию только потому, что так поступили другие. Если ты хочешь помолиться, то молись за мою душу, а не за то, чтобы меня не убили; последнее, по-видимому, не столь уж важно. Первое важнее, если ты истинный католик.

Встреча с опасностью не вызывает упадка духа у того, кто смотрит на жизнь с глубоким пессимизмом. Я никогда не испытывал более приподнятого настроения, чем сейчас. Пожалуйста, будь добра, считайся с моими пожеланиями».

После Принстона жизнь в армейской части на равнинах Канзаса казалась отсидкой в тюрьме. Стояла небывало суровая зима. Будущие офицеры спали по пятнадцать человек в комнате, уложив свои пожитки в рундучки в ногах кровати. Командиром учебного взвода, в который попал Фицджеральд, оказался голубоглазый капитан — питомец Вест-Пойнта. Звали его Аик Эйзенхауэр.<sup>[62]</sup>

В воображении Фицджеральд уже видел себя героем боя, но не мог скрыть скуки от первых шагов на пути к мечте. Он писал что-то свое или дремал на лекциях о ведении боя в траншеях, об искусстве снайпера или пулемете Льюиса. А во время маршей клал в вещевой мешок кусок трубы от печки, чтобы облегчить его и придать ему вид наполненного предписанным по уставу весом. Конечно, Фицджеральда уличали в обмане и наказывали, но он был неисправим. Он продолжал исподволь тонко высмеивать те методы, какими велась подготовка офицерских кадров. И хотя он нашел несколько родственных себе душ среди выпускников

восточных колледжей, большинство курсантов относилось к нему свысока, как к безвольному, испорченному и незрелому человеку.

По правде говоря, армия его раздражала, потому что она отнимала у него время именно тогда, когда он вознамерился посвятить себя подлинному призванию — литературе. По воскресным дням в свободные часы все отправлялись на танцы в Канзас-Сити. Фицджеральд пристраивался в уголке офицерского клуба форта Ливенорт, где среди табачного дыма, под галдеж и шелест газет писал свой роман. В октябре он показал рукопись преподобному Фэю, который отозвался о ней как о «первоклассной вещи». Он отдал ее также на суд Гаусу в надежде, что тот рекомендует какому-нибудь издателю. Но Гаус счел, что роман недостаточно хорош даже после того, как Фицджеральд внес исправления буквально в каждый абзац. В Ливенорте он перекраивал рукопись, подгоняемый убежденностью, что скоро отправится на фронт и там будет убит. В выходные дни на протяжении трех месяцев он написал около двухсот страниц, посылая главу за главой по мере их готовности машинистке в Принстон. Скотт жил, поглощенный «исписанными карандашом страницами. Военная подготовка, марши и штудирование задач пехоты казались мне неясными сновидениями. Вся моя душа была отдана книге».

Он вел переписку с Джоном Пилом Бишопом, служившим в то время пехотным офицером и тоже задыхавшимся от рутины лагерной жизни. «О Скотт, — изливал ему душу Бишоп. — Я жажду, жажду — красоты, поэзии, разговоров, доброго веселья, тонкого остроумия, покоя в тишины, ночных бдений, ранних пробуждений и твидовых бриджей — словом, всего, чего я лишен; мне недостает тебя, Т. М., Алекса и «Кролика», любовницы, любви, религии, омлета со сливками и сухарями, моего томика Руперта Брука — всех этих вещей в отдельности и вместе, которые военная служба так грубо выхватила из жизни». Незадолго до этого Бишоп опубликовал книгу стихов. Фицджеральд частями посылал ему свой роман. По мнению Бишоп, роману не хватало завершенности. «Стивен ведет себя, как любой другой мальчишка, — отмечал он. — Что ж, в этом нет ничего плохого. Я полагаю, ты хочешь, чтобы каждый увидел в нем себя. Однако путь к этому лежит через индивидуальный показ повседневных поступков». Бишоп упрекал также Фицджеральда за недостаточно глубокий анализ внутренней жизни героя. «Именно в этом — огромное превосходство «Встречи молодых» (Комптона Маккензи. — Э.Т.).<sup>[63]</sup> Ты показываешь поступки юноши, Маккензи же — мысли и состояние души через поступки». При последующей работе над рукописью Фицджеральд учтет эту критику.

В марте он послал законченного «Романтического эгоиста» Шейну Лесли, который, отредактировав, отдал его в «Скрибнерс»<sup>[64]</sup> и попросил издателей оставить рукопись у себя независимо от их мнения о ней. Он хотел, чтобы, отбывая на фронт, Фицджеральд думал о себе, как, по крайней мере, о потенциальном Руперте Бруке. «Ты можешь отправляться с миром, — успокаивал его Лесли. — Не исключено, что к осени ты обнаружишь, что «Христианская ассоциация женской молодежи» включила твою книгу в число тех, которые не рекомендуется читать в поисках».

Но Фицджеральд не попал на фронт. Пятнадцатого марта он прибыл в 45-й пехотный полк, располагавшийся в лагере Тэйлор неподалеку от Луисвилла в штате Кентукки, и был назначен командиром роты. Однажды полк в бурю совершал марш из города. С ротой, во главе которой шел Фицджеральд, поравнялся генерал верхом на лошади. Он дотронулся до плеча Фицджеральда и спросил его имя. Скотт, закрывавший рукой лицо от снега, не опуская руки, представился. Не сознавая, какое высокопоставленное лицо находится перед ним, он даже не отдал генералу чести и не поставил роту по команде «смирно». Когда полк вернулся в лагерь, от генерала поступил приказ всему полку вновь выступить маршем в город.

В середине апреля 45-й полк перебазировался в лагерь Гордон в штате Джорджия, а два месяца спустя — в лагерь Шеридан в Алабаму, где Фицджеральд был переведен в 67-й полк, формировавшийся в то время на базе отдельных подразделений 45-го полка. Оба полка свели в бригаду и включили в состав вновь сформированной 9-й дивизии. Укомплектованные по штатному расписанию полки ожидали отправки на Европейский континент. Фицджеральд, получивший к тому времени звание старшего лейтенанта, был приписан к штабной роте, что давало ему право носить сапоги со шпорами. Он шиковал в светло-желтых сапогах — единственных в дивизии, — несмотря на постоянные подшучивания сослуживцев.

Лагерь Шеридан располагался неподалеку от Монтгомери, где состоялась церемония вступления в должность президента Южных штатов Джефферсона Дэвиса,<sup>[65]</sup> и где над куполом Капитолия был поднят первый флаг Конфедерации. В городе с населением около сорока тысяч управляли потомки конфедератов, гордившиеся тем, что им удалось сохранить тут сельский быт в первозданном виде. Каждое утро негры-гуртовщики гнали стадо по главной улице города, а в сентябре, когда хлопок был убран и упакован в тюки, процессия подвод, запряженных мулами, тянулась через город к складам. Негритянки в ситцевых платьях и пестрых платочках

восседали с детьми на тюках, наигрывая на банджо и весело смеясь, в то время как мужчины в соломенных шляпах и рабочих комбинезонах подгоняли покрытых толстым слоем пыли животных щелканьем кнута и громкими криками «Гей! Гей!».

Горожане испытывали неприязнь к заполнившим город янки, хотя на танцах в местном клубе, куда офицеры лагеря Шеридан имели постоянное приглашение, между южанами и северянами наступало полное согласие. Фицджеральда в ладно сидевшей на нем форме от «Братьев Брукс» с плотно прилегающим высоким воротничком можно видеть здесь каждую субботу. Поджарый, словно борзая, элегантный, он был весь — порыв. Его бледность лишь подчеркивала скульптурную отточенность его профиля, а несколько широковатое лицо с мечтательными глазами и длинными ресницами подкупало своей хрупкой выразительной красотой. Чувствовалось, что он высокого о себе мнения. В то же время какая-то внутренняя скромность побуждала его видеть достоинства других, которыми он искренне восхищался. За всем этим скрывался пытливый ум, превращавший окружающую жизнь в причудливые миры. Если бы такой-то человек вдруг оказался в исключительной обстановке, как бы он поступил? Фицджеральд мог отвести вас в сторону и рассказать всю его дальнейшую судьбу до мельчайших подробностей.

Сейчас, когда он закончил роман, его охватило смутное беспокойство, которое в какой-то степени объяснялось, по-видимому, предстоящим замужеством Джиневры Кинг. Он исповедуется своей кузине: «Ты знаешь, Салли, у меня впервые тоскливо на душе. Я тоскую не по семье, не по друзьям и не по кому-либо конкретно, а по атмосфере прошлых дней — пирушкам в Принстоне, когда мы просиживали до трех ночи, возбужденно обсуждая прагматизм или бессмертие души, по блеску Нью-Йорка с танцуйками и чаепитиями в «Плаза» или обедам в «Шеррис», — я тоскую даже по благопристойной скуке Сент-Пола».

Преподобный Фэй, ставший к тому времени монсеньором, уловил настроение Фицджеральда и стремился подбодрить его. «Страх перед богом, — пытался внушить он Скотту, — твоя самая надежная защита, впрочем, как и моя, и ты не можешь избавиться от него, как бы ты ни пытался». Фицджеральд допускает большую ошибку, утверждал Фэй, думая, что можно быть романтиком, не веря в бога. «Секрет наших успехов — в нашей загадочности. Что-то вселившееся в нас обогащает наши души. Стоит лишь этому покинуть нас, и мы как личности теряем многое. Два твоих последних письма показались мне несколько суховатыми».

Фэй надеялся, что в конечном итоге вера Фицджеральда



выкристаллизуется, но Скотт не был уверен в этом. В тот период он чувствовал себя язычником.

Танцевальный класс Монтгомери устраивал карнавал в театре «Гранд». Три маленькие девочки в костюмах Пьеро, белоснежных балахонах и высоких колпачках выбежали из-за кулис со скакалками в руках. Одна из них пропорхала по сцене без единой faux pas. Другая задела скакалкой колпачок, сдвинула его на глаза и, вся в слезах, бросилась в объятия сидевшей неподалеку матери. Третья девочка, которую звали Зельда Сэйр, сбила скакалкой колпачок на пол, споткнулась о веревочку, упала и, стремясь освободиться от опоясавшей ее бечевки, еще больше запуталась. Но ей это, по-видимому, доставляло удовольствие. Она делала вид, будто вся эта возня на полу отрепетирована. Зал оглушительно хохотал.

Зельда, названная так по имени цыганской королевы, о которой мать когда-то что-то прочла в какой-то книге, имела довольно известных предков и по отцовской, и по материнской линиям. Дядя отца, Джон Тайлер Морган, воевал генералом в Гражданской войне, позднее стал известным сенатором в Алабаме, а ее отец, Антони Дикинсон Сэйр, был членом Верховного суда этого же штата. Демократ в традициях Джефферсона и идеалист, католик строгих нравов, человек, делавший честь своей профессии, он женился на дочери сенатора из Кентукки Минни Мэчен. В Монтгомери Сэйры слыли уважаемыми горожанами, которые не прилагали особых усилий, чтобы занять более высокое положение в обществе. Госпожа Сэйр была музыкальна, в молодости даже мечтала стать оперной певицей, но теперь все свое время отдавала семье и саду, иногда писала стихи для местной газеты. Ее супруг с головой ушел в судебные дела, а в часы досуга читал книги по истории.

Зельда была одним из пяти детей в семье. Как и родители Фицджеральда, Сэйры выглядели довольно пожилыми и вполне могли сойти за бабушку с дедушкой. От отца Зельда унаследовала блестящий ум, а от матери щедрость души, во всем же остальном она абсолютно не походила на своих степенных, консервативных родителей, которые не знали, к чему пристроить свое милое чадо. Дитя природы, она приняла близко к сердцу почерпнутую из древнегреческих поэм идею о полубогах или сверхчеловеках, свободных от сковывающих их пут окружающей жизни. Любимица матери, она с ранних лет была строптива с отцом. На его приказание могла и огрызнуться: «Послушай, старина (так звала его мать. — Э.Т.), я не стану делать этого». И этот тон сходил ей с рук. В девяносто лет, когда ее одолевала скука, она вдруг устраивала переполох,



позвонив в пожарную команду и сообщив, что ребенок Сэйров залез на крышу и не может оттуда слезть. Затем она и вправду забиралась на крышу и отталкивала ногой лестницу, чтобы не разочаровать примчавшихся пожарных.

Хотя окружающие иногда осуждающе отзывались о ней, они испытывали умиление при виде ее, и все соглашались на том, что она «живая и смышленная егоза». Как-то выпускной класс школы Ланиер давал представление в клубе предпринимателей Монтгомери. Дети изображали в живых картинах союзные державы, Зельда была Англией. По отведенной ей роли она должна была произнести слова: «Вот уже в течение трех лет я отвлечена от благородных начинаний участием в кровавой войне». После слова «отвлечена» память отказала ей. Она повторила его несколько раз, а затем, с чарующей улыбкой изрекла: «Господа, меня постоянно отвлекали», — и удалилась со сцены под оглушительные аплодисменты присутствующих. Зельда не уступала в отчаянности никому из мальчишек. Во время игры в салочки она, подстать самым ловким из них, лихо перемахивала через заборы. На заполненном водой песчаном карьере Зельда ныряла со стоявшего там крана, на который не все даже отваживались взбираться. При этом она так ловко карабкалась на него, что никто из ныряльчиков, несмотря на все старания, не мог ее столкнуть. Во время поездок на пикники, вместо того чтобы присоединиться к остальным девочкам, она уговаривала кого-нибудь из ребят взять ее с собой на мотоцикле. Сидя на подушке (задних сидений тогда еще не делали), она подзадоривала водителя гнать изо всех сил. И если, налетев на кочку, они оказывались распластанными на земле, это не охлаждало ее пыла. Ее поклонники вечно подвергались какому-нибудь испытанию. «Единственное назначение женщины, — любила говорить она, — это вносить сумятицу в жизнь мужчин».

Первое, что бросалось в глаза во внешности этой девушки, — редкостное сочетание цветов. Ее лицо с бледно-розовой безукоризненной кожей обрамляли пышные золотистые волосы.

Ее острый нос был чуточку великоват, но чувственный, красиво очерченный рот казался соблазнительным. Ее темно-голубые насмешливые глаза смотрели с вызовом. Форма, подбородок и бровей придавала лицу одновременно хрупкость и силу.

Одежда не имела для Зельды никакого значения. Гибкая и по-мальчишески стройная, она лучше всего выглядела с распущенными волосами, в мокром купальном костюме. Не менее привлекательно она смотрелась и в помятой матроске, в которой ходила в школу. Что уж и

говорить о вечерних туалетах, которые шила для нее мать! В свободном платье из муслина и в широкополой шляпе с длинными лентами Зельда была само воплощение южной красоты. Ходила она, слегка сутулясь, и иногда из-под юбки у нее торчал краешек комбинации или расстегнувшаяся резинка. Но эти незначительные изъяны ее туалета не умаляли излучаемой ею мягкости, задорной грациозности. В ней было столько женственности, доброты, нежности, хотя глубоко в душе ее затаился бесовский нрав.

К недостаткам Зельды можно было бы отнести отсутствие самодисциплины. Она хотела резвиться и в своем порыве почувствовать всю полноту жизни, была подобна выпущенному на волю жеребенку. Зельда задыхалась в сонной провинциальной атмосфере Монтгомери и, ложась спать в комнате с белыми занавесками, казавшейся ей больничной палатой, на устланную белоснежными простынями кровать, мечтала о том, как станет важной, заметной персоной. Хотя, какие именно из множества ее талантов заставят обратить на нее взор, она еще не могла решить.

На последнем году школы она стала ходить на свидания с солдатами из лагеря Шеридан, пристрастилась к курению (в то время для женщин это считалось еще зазорным) и даже не отказывалась от глотка крепкого напитка, когда солдаты пускали бутылку по кругу. Она была не против невинных поцелуев, но сидеть в обнимку с воздыхателем в машине отнюдь не было в ее представлении лучшей формой проведения вечера, и поклонникам, с которыми ей становилось скучно, не составляло большого труда понять это. Хотя родители позволяли Зельде делать многое, как ей заблагорассудится, иногда отец-судья все же высказывал недовольство. Встретив однажды дочь на крыльцо поздно вечером, он напустился на нее: «Как ты смеешь возвращаться домой в такой поздний час? Отвечай, гуляка!» — «На то и существуют гулянки», — отрезала Зельда. Он запретил ей идти на следующую вечеринку, но удержать ее было невозможно.

Зельда и Фицджеральд встретились на танцах в клубе в июле 1918 года, за несколько недель до ее восемнадцатилетия. Он подошел и представился ей в ту же минуту, как его взгляд остановился на ней. Встреча этих двух людей, глубокое родство которых только начиналось с излучаемой ими чистой, нетронутой красоты, была актом волшебства, если не роком. Современники находили, что внешне они похожи как брат и сестра. Но как много внутреннего сходства было в них! Фицджеральд впервые узнал девушку, чья неукротимая жажда жизни оказалась под стать его собственной, и чье безрассудство, оригинальность, остроумие никогда не переставали волновать его. Если его увлеченность Джиневрой частично

объяснялась тягой к обществу, в котором она вращалась, то в Зельде он нашел существо, которое помимо его воли всецело завладело его помыслами. К ней влекла не только ее внешность, он безотчетно полюбил глубины ее души.

Все свое свободное время Фицджеральд проводил теперь в домике Сэйров, который они снимали отнюдь не в самом роскошном районе города: оклад судьи составлял всего лишь шесть тысяч долларов в год, и к тому же, он постоянно помогал многочисленным родственникам. Поначалу на Сэйров произвел самое приятное впечатление этот привлекательный молодой офицер, который монополизировал место рядом с Зельдой на подвешенных на террасе качелях и прогуливался с ней по усыпанным песком и поскрипывающим под ногами дорожкам сада, среди цветущей жимолости. Он часто читал ей отрывки из своих произведений, то, над чем работал, и прислушивался к ее советам. При этом он постоянно повторял, что когда-нибудь станет знаменитым. Вспоминая то время, Зельда писала: «Казалось, какая-то неземная сила, какой-то вдохновенный восторг влекли его ввысь. Он словно обладал тайной способностью парить в воздухе, но, уступая условностям, соглашался ходить по земле».

Между тем, его успехи на военном поприще оказались не столь блистательными, как на любовном. Штабная рота, которой он командовал, была сформирована из разношерстных, трудно поддающихся дисциплине ньюйоркцев, которых приходилось держать в узде. Фицджеральд, любивший покрасоваться не только ставшей притчей во языцех важной походкой, но и своим голосом, выкрикивал команды маршировавшим солдатам с таким упоением, что это вызывало улыбку у одних и раздражение у других.

Однажды, когда солдаты его роты пожаловались на плохое питание, он приказал оседлать ему коня и заставил их совершить марш по изнуряющей жаре, вдвое превышавший по расстоянию то, которое разрешалось уставом. Это неслыханное по суровости наказание чуть было не привело к бунту. Фицджеральда отстранили от командования штабной ротой и поставили во главе минометного взвода. Во время маневров его взвод обстрелял, по счастью болванками, группу на противоположном склоне. Правда, одновременно он отличился, когда давшая течь баржа затонула на реке Таллапусе, и ему пришлось спасать не умеющих плавать подчиненных. В целом он был добросовестным офицером, по-своему заботившимся о здоровье и благе вверенных ему людей, но лучшие его намерения чаще всего выходили им боком. Так, подписка солдат на военный заем не должна была превышать пяти долларов в месяц. Фицджеральд же так увлекся

кампанией, что убедил некоторых из них подписаться на сумму месячного оклада. Начальству пришлось потратить несколько дней, чтобы расхлебать заваренную им кашу. «Общее отношение к Фицджеральду сводилось к тому, — вспоминал впоследствии один из служивших с ним офицеров, — что, если перед вами, скажем, ставилась важная задача, и Фицджеральду поручалось помочь вам, мы все предпочитали выполнять ее без его помощи. Это совсем не означало, что мы относились к нему неприязненно, отнюдь нет, большинству он нравился».

В августе издательство «Скрибнерс» возвратило ему рукопись романа, высоко отозвавшись о его оригинальности и сделав конкретные предложения по его улучшению. Фицджеральд тут же засел за работу, и к середине октября «Романтический эгоист» в исправленном виде снова вернулся в «Скрибнерс». На этот раз рукопись была решительно отклонена, несмотря на восторженный отзыв о ней редактора по имени Максвелл Перкинс.<sup>[66]</sup> Какое-то время Фицджеральду пришлось искать утешения в любви, а не в славе.

Ухаживание за Зельдой не могло не принести ему несомненной известности. В любой компании Зельда становилась центром внимания. Если танец казался ей вялым, она могла опрокинуть столик на колесиках со стоявшими на нем сладостями и напитками или попросить оркестр сыграть затейливый шотландский танец и сольно исполнить его. Во время посещения Оберна она попросила у сопровождающего ее кавалера теннисные кеды, потому что натерла ноги, и, когда ее избрали королевой бала, вышла вальсировать в свете падающих на нее прожекторов в этих огромных спортивных кедах, которые хлопали на ее ногах. Стремление выставить себя напоказ удивительно сочеталось в ней с желанием оставаться незаметной. Ее безудержные вспышки веселья были отдушинами неумного темперамента, исключительно актом самовыражения. Тем более занятными, что они предназначались, по-видимому, для аудитории, состоявшей из нее одной.

Война в Европе подходила к концу, и Фицджеральд отчаянно стремился успеть попасть на нее. Джон Пил Бишоп, только что вернувшийся с фронта, прислал ему письмо, где рассказывал, как их дозору «удалось захватить трех «языков» после изрядной потасовки». В октябре дивизия, в которой служил Фицджеральд, получила приказ отправиться на Европейский континент. 26 октября Фицджеральд отбыл на север как интендант авангарда, но по пути остановился в Принстоне. Поскольку он не присутствовал во время прибытия подразделений в Хобокен, при разгрузке затерялось оборудование на несколько тысяч долларов.

Разразившаяся эпидемия гриппа задержала отправку дивизии. Однако, в конце концов, Фицджеральд с пристегнутым к поясу стальным шлемом ступил на палубу судна. Но тут пришел новый приказ, и он опять сошел на берег и должен был вернуться в лагерь Милз на Лонг-Айленде, где теперь располагалась дивизия. Вскоре было подписано перемирие, и войне пришел конец. К неопишуемому сожалению Фицджеральда, ему так и не удалось принять в ней участие.

Джон Пил Бишоп, побывав в траншеях, смотрел на все это иначе. «Мы живы, — ликовал он. — Мы будем жить, и, может быть, будем бедны, но, боже, мы свободны. Скажи честно, ты поселился бы со мной в мансарде (может, это будет подвал, по мансарда звучит не так прозаично) где-нибудь неподалеку от Вашингтон-сквер? Удастся ли нам снова побродить благоуханными майскими ночами по Принстону?.. Мы заберемся по лестнице на Уидерспун и заорем во всю глотку, так, чтобы стало слышно внизу, на Нассау. Мы будем декламировать Китса, прогуливаясь в сумерках вдоль усыпанной листьями Будино-стрит, а потом вернемся в свою мансарду, чтобы, как прежде, проговорить до утра».

В лагере Милз Фицджеральд вел себя так странно, что командир роты приказал ему не покидать казарму. Когда настало время возвращаться в лагерь Шеридан, Фицджеральда нигде не могли найти. Прошел слух, что за день до этого он уехал в Принстон. Каково же было удивление всех сослуживцев, когда рано утром, подъезжая на поезде к вашингтонскому вокзалу, они увидели на соседнем полотне Фицджеральда с двумя девицами и с бутылкой в руке. После этого он рассказывал всем, что угнал паровоз в Вашингтон под предлогом того, что ему требовалось доставить секретные документы президенту Нильсону. Это была одна из его многочисленных побасенок, которая стала легендой.

Несмотря на это нарушение дисциплины, он стал адъютантом командира 17-й пехотной бригады генерала Дж. А. Райана. Свое назначение на эту «приятную, состоящую главным образом в болтовне синекуру», вспоминал он позже, он получил благодаря своей привлекательной внешности и диплому Принстона. Фактически он был секретарем генерала. Однажды во время парада лошадь сбросила его, и генерал распорядился дать ему сержанта — инструктора верховой езды. В остальном же, должность оказалась тепленьким местечком.

В январе 1918 года неожиданно от воспаления легких скончался монсеньор Фэй. В письме к Шейну Лесли Фицджеральд горевал: «...со смертью этого человека весь мой маленький уютный мирок разлетелся на куски». Как ему будет недоставать успокаивающего присутствия Фэя, его

теплоты, глубокого понимания и живительного общения, которое скрашивало всю его юность! «Мне кажется, — сокрушался он в том же письме, — будто его мантия каким-то образом опустилась на меня. Может быть, это желание или жажда сохранить в памяти атмосферу, которую он навевал».

Когда вскоре началась демобилизация офицеров полка, где служил Фицджеральд, первым уволили лейтенанта, растратившего небольшую сумму казенных денег. За ним последовал Фицджеральд. Он не совершил ничего предосудительного, просто без него можно было легко обойтись. «Потеря Фицджеральда как офицера, — подытоживал один из его сослуживцев, — была удивительно легко восполнима».

Он был уволен в феврале 1919 года и сразу же направился в НьюЙорк в поисках счастья. Еще до этого Скотт сделал предложение Зельде, но она медлила, дожидаясь, когда он встанет на ноги. Между тем, она не предпринимала усилий, чтобы охладить пыл других поклонников. Зельда продолжала оставаться королевой балов, и самая опасная конкуренция для Фицджеральда исходила от летчиков лагеря Тэйлор, которые ради нее исполняли фигуры высшего пилотажа над ее домом.

После приезда в НьюЙорк он послал ей телеграмму: «МОЕ СОКРОВИЩЕ, МЕЧТА, ВДОХНОВЕНИЕ И ВЕРА. ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА. ЭТОТ МИР — ИГРА, И, ПОКА Я УВЕРЕН В ТВОЕЙ ЛЮБВИ, В НЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНО. Я В СТРАНЕ ГРЕЗ И СВЕРШЕНИЙ И ЛИШЬ НАДЕЮСЬ И ВЕРЮ, ЧТО МОЕ СОКРОВИЩЕ СКОРО БУДЕТ РЯДОМ СО МНОЙ».

## ГЛАВА VII

Последовавшие за увольнением из армии четыре месяца Фицджеральд называл самыми памятливыми. «НьюЙорк блистал всеми красками жизни, словно в первый день творенья. Возвращавшиеся из Европы солдаты маршировали по Пятой авеню, и сюда, на Север и Восток, со всех концов страны устремлялись навстречу им девушки; американцы были величайшей нацией в мире, в воздухе пахло праздником».

Засунув под мышку написанные им для «Треугольника» стихи, он обегал в поисках работы все газеты города, но безрезультатно. Случайно повстречавшийся ему рекламный агент направил его в агентство «Бэррон Коллиер» — там требовался литературный сотрудник, который мог бы писать рекламные стихи. За девяносто долларов в месяц Фицджеральд придумывал надписи для рекламных вывесок в трамваях. Позднее он с улыбкой вспоминал фурор, который произвел стишком, сочиненным им для фабрики-прачечной в Маскатине в штате Айова: «В Маскатине, как нигде, мы вас держим в чистоте». «За это я получил надбавку к жалованью», — смеялся он. «Слегка закручено, — похвалил босс, — но на этом поприще вас, безусловно, ожидает большое будущее. Скоро стены этого учреждения станут для вас тесны».

Фицджеральд жил в доме 200 по Клермонт-авеню — «одна комнатуха в высоком убогом многоквартирном доме в центре неизвестно чего», между тем, как в своем воображении он уже занимал с Зельдой номер-люкс для новобрачных. Она придет к нему, как только наступит подходящее время, — под этим она подразумевала его возможность обеспечить ей безбедный уют. «Я просто не могу себе представить жалкого, бесцветного существования, — оправдывалась она, — потому что тогда ты скоро охладеешь ко мне». Фицджеральд сообщил ее родителям о своих намерениях, а Зельда, в свою очередь, написала письмо его матери и получила тотчас ответ — «непередаваемо теплую записку, где она называла меня просто Зельдой». В марте Фицджеральд послал невесте обручальное кольцо.

Недели разлуки перерастали в месяцы, и жизнь начинала казаться ему невыносимой. Работа в агентстве нагоняла тоску, а он все не мог найти издателя для пьес, рассказов, стихов, скетчей, песен, шуток, которым посвятил все свое свободное время. Каждый вечер, торопясь домой, он вынимал из почтового ящика отвергнутую рукопись и тут же отсылал в

другой журнал. Затем он создавал какое-нибудь новое произведение и тоже отправлял его. Свой день он обычно заканчивал тем, что бывал слегка под хмельком.

Как-то встретившись с Полем Дики, который писал музыку для его песен в «Треугольнике», Фицджеральд предложил ему вместе попытаться счастья в театре «Тин пан элли», но Дики к тому времени уже решил войти в дело отца.

Фицджеральд часто обедал в Йельском клубе, который временно объединился с Принстонским. Однажды за рюмкой коктейля в зале наверху он объявил, что выбросится в окно. Никто не стал отговаривать его. Наоборот, ему подсказали, что в зале французские окна, и они идеально подходят для такой цели. Кажется, это охладило его пыл. После еще одного коктейля противоречия его жизни стали выплескиваться наружу. Двадцати с небольшим долларов, зарабатываемых им в неделю, едва хватает на дамское белье, которое он покупает Зельде в подарок. Кто-то заметил, что, может быть, он не стоит и этих денег, а если белье кажется ему таким дорогим, то его попросту не следует покупать. Но Фицджеральд считал, что он жертва несправедливости, и в течение всего обеда потчевал собеседников рассказами о глупости и никчемности рекламного дела.

Одним из любимых его времяпровождений стал поиск квартиры. Когда неряшливо одетая хозяйка дома в Гринвич-вилледже сказала ему, что он сможет приводить к себе девушек, это разрешение повергло его в смятение. Зачем ему приводить к себе девушек? У него уже есть девушка. Впрочем, есть ли? После писем Зельды в его душу закрадывались сомнения. Она часто упоминала других поклонников и рассказывала о вечеринках, от которых, по-видимому, получала удовольствие. «Меня всегда интересовало, почему они заточали принцесс в башнях», — писал ей Фицджеральд. В апреле Зельда ответила: «Скотт, очень мило, о чем ты мне рассказываешь, но я чертовски устала от того, что тебе интересно, «почему они заточали принцесс и башнях». Эту фразу ты дословно повторяешь в последних шести письмах! Должно быть, ужасно трудно так много писать. Почти все твои послания просто вымучены. Я знаю, ты меня любишь, дорогой, и я люблю тебя больше всего на свете, но если так будет продолжаться и дальше, мы не сможем выдержать этот безумный темп».

На следующий день Фицджеральд отправился в Монтгомери, однако поездка оказалась безрезультатной: Зельда любила его, но не хотела выходить за него замуж. Он вернулся в «Бэррон Коллиер» в состоянии нервного истощения и привез с собой револьвер, который кто-то из сотрудников агентства у него незаметно похитил.



Ответ Зельды, с благодарностью за его визит, внушил ему новые надежды. «Сегодня я весь день провела на кладбище, — сообщала она, — пытаюсь отомкнуть ржавую дверь склепа, встроенного в склон холма... Склеп весь просырал и порос водянистыми голубыми цветами, может быть, выросшими из мертвых глаз, — липкими на ощупь и источающими запах гнили... Я хотела почувствовать себя Уильямом Рифордом, скончавшимся в 1864 году. Почему могилы наводят людей на мысль о тщете жизни? Хотя я столько слышала об этом, и Грей<sup>[67]</sup> пишет о том же так убедительно, я все же как-то не могу представить себе безнадежности прожитого. Все эти поверженные колонны, сцепленные руки, голубки и ангелы дышат романтикой. И через сто лет, я думаю, мне будет приятно, если кто-то молодой станет гадать, какие у меня были глаза, карие или голубые, хотя они ни те, ни другие... Странно, из длинного ряда надгробий солдатам Гражданской войны лишь два или три наводят на мысль о погибших влюбленных и об их оборвавшейся любви, хотя все они точь-в-точь такие же, как и остальные, вплоть до облепившего их желтоватого мха. Смерть в старости так прекрасна, так упоительно приятна. Мы умрем вместе, я знаю, любимый мой».

Когда Фицджеральд писал, что век джаза начался с майских бунтов 1918 года, он, по-видимому, меньше думал об антисоциалистических демонстрациях, а больше о ночных кутежах, возвестивших о десятилетии, которое он запечатлел на страницах своих произведений. После танцев в «Дельмонико», устроенных йельцами, Фицджеральд вместе с младшекурсником из Принстона, Портером Гиллеспи, направляется в ресторан «Чайлдс», что на пересечении Бродвея и Пятьдесят девятой стрит, где танцующая публика приходит в чувство после изрядных возлияний. Сначала Фицджеральд сидит одиноко, перемешивая мелко нарезанные кусочки мяса, вареные яйца и кетчуп в шляпе Гиллеспи. Затем, устав от этого занятия, подходит к йельцу и, беседуя с ним, с серьезным видом уплетает его яичницу или кашу, а вслед за тем, пожав руку, удаляется. Вскоре по ресторану начинают летать куски еды, и Фицджеральда выпроваживают из заведения.

На улице уже брезжит рассвет, когда Фицджеральд и Гиллеспи возвращаются в «Дельмонико», снимают в гардеробе таблички с надписями «вход» и «выход», вешают их себе на шею и представляют друг друга как «мистер Вход» и «мистер Выход». Разбудив друзей в отеле «Балтимор» по внутреннему телефону, они трогаются в направлении к отелю «Манхэттен» и заказывают на завтрак шампанское. «За шампанское платишь ты, — изрекает Фицджеральд, — твой отец может себе это позволить» (это один из

способов Скотта установить, действительно ли отец Гиллеспы богат). Когда им отказывают в шампанском, Фицджеральд подсаживается к священнику за соседним столом и вопрошает: «Святой отец, можно ли себе представить что-либо более оскорбительное, чем отказ подать шампанское утром в воскресенье?». Наконец им удается заполучить шампанское в ресторане отеля «Коммодор», и они завершают свое утро, катая пустые бутылки между ногами прихожан, спешащих в церковь по Пятой авеню.

Позднее, эти проделки с «мистером Вход» и «мистером Выход», он включил в рассказ «Первое мая», где поведал о том отчаянии, которое испытывал в ту пору. Не в состоянии устроиться нигде иллюстратором, Гордон Стеррет живет на подачки своих друзей (низость, до которой Фицджеральд никогда не опускался). Стеррет для Скотта — воплощение его ужаса перед нищетой, ужаса художника, вызывающего в памяти замечание Эдгара По, что он никогда не поместил бы героя «Ворона» в бедное окружение, потому что «бедность банальна и противоречит идее Красоты». Рассказ «Первое мая» — блестяще выписанная социальная миниатюра, отобразившая самые разнообразные стороны лихорадочной жизни города. Здесь и студенты, и впервые вывезенные в свет дебютантки — среда, которую Фицджеральд так хорошо знал, — и одновременно клерки, официанты, продавщицы, полицейские и вернувшиеся с фронта солдаты. Налет разъяренной толпы на редакцию социалистической газеты был подсказан действительным погромом, учиненным в газете «НьюЙорк колл», а самоубийство Стеррета в конце рассказа напоминает смерть молодого принстонца, покончившего с собой при аналогичных обстоятельствах.

Фицджеральд метался между двумя мирами. «Когда я в субботу к вечеру как призрак появлялся в красном зале отеля «Плаза», — вспоминал он, — или на изысканных приемах в баре «Вилтмор» с товарищами по Принстону, моя другая жизнь неотступно следовала за мной по пятам — моя жалкая комнатка в Бронксе,<sup>[68]</sup> клочок пространства в вагоне подземки, вечное ожидание письма из Алабамы — придет ли оно и что в нем будет? — и мои потрепанные костюмы, моя бедность и моя любовь».

Фицджеральд поехал второй раз в Монтгомери в мае и третий — в июне, но Зельда не была склонна столь скоропалительно отступить. Он умолял ее и даже снизошел до слезливых призывов проявить к нему жалость. В конце концов, Зельда решила порвать с ним. Безумная поспешность Скотта и то обстоятельство, что его нынешняя работа претит ему, пугали ее. Кроме того, перспектива жизни в двухкомнатной квартире и покупок в дешевых магазинах не прельщала ее. Она любила Скотта, и ей

стоило немалых трудов ответить ему отказом. Но, после их разрыва, она, как ни в чем не бывало, снова окунулась в круговерть балов и эскапад, не проявляя ни малейших признаков грусти или подавленности.

Фицджеральд писал другу, что отказ Зельды большая для него трагедия и что, если Зельда не изменит решения, он никогда не женится. По возвращении в НьюЙорк Скотт оставил работу и пил несколько недель подряд — позже этот эпизод его жизни лег в основу одной из самых ярких сцен в романе «По эту сторону рая».

1 июля был принят сухой закон. Фицджеральд пришел в себя и стал раздумывать, что ему делать дальше. Лишь одно событие как-то смягчало горечь предыдущего месяца. После ста двадцати двух отказов от издателей, которые он веером прикалывал к стенам, ему удалось продать один рассказ за тридцать долларов в журнал «Смарт сет».<sup>[69]</sup> Но рассказ был написан еще для «Литературного журнала Нассау» два года назад, все же его последующие произведения отвергнуты, и невольно напрашивался вывод, что в свои двадцать два года он уже переживал упадок.

Он все еще возлагал надежды на свой роман. Судьба, казалось, ставила перед ним условие: или он завершит роман, или потеряет девушку. Теперь, когда он все равно потерял ее, он решил пожить некоторое время у родителей и сосредоточить все свои помыслы на романе.

В конце концов, его бедность была относительной. Хотя мать надеялась, что ему удастся сделать карьеру в армии, а отец хотел видеть его коммерсантом, они оба поддерживали Скотта в его сомнительном начинании. Правда, при этом они не слишком-то раскошеливались из опасения, что он выкинет какой-нибудь фортель. Его стремление избавиться от этой унижительной зависимости служило ему дополнительным стимулом.

Он не тратил времени понапрасну и работал методично, приколов к занавеске в комнате на верхнем этаже график окончания глав. Для такого молодого и непоседливого человека, каким был Фицджеральд, он проявлял удивительную организованность и профессионализм. Он перекроил старый материал, вплета в него новый из написанных весной и отвергнутых рассказов. Под углами лежавшего в его комнате ковра скопилось огромное количество окурков, которые он засовывал туда, придавливая каблуком. Когда у него кончались сигареты, он извлекал из-под ковра сплюсненные «бычки». Неведомо откуда появившееся вдохновение всецело овладевало им, его голова рождала калейдоскоп образов самых причудливых очертаний и оттенков. Когда однажды кто-то из друзей, читая его рукопись, поинтересовался, что означает какое-то слово, Фицджеральд ответил: «А

черт его знает! Но разве оно не прекрасно вписывается в этом месте?» Он работал круглые сутки, забывая иногда пообедать, и тогда сэндвичи и молоко ему приносили прямо в комнату. Родители не мешали ему, и он был им благодарен. Мать отвечала на все телефонные звонки и не позволяла друзьям отрывать его от дела.

В конце июля он закончил новый черновик. «Если «Романтический эгоист», — писал он в «Скрибнерс», — скучная бессвязная мешанина, то это произведение, безусловно, выльется в крупный роман. Я глубоко верю, что оно мне удалось... Если я вышлю вам роман к 20 августа, и вы рискнете его опубликовать (в чем я ни на минуту не сомневаюсь), не могли бы вы издать его, скажем, в октябре, и что вообще может повлиять на сроки издания?».

В то лето он довольно часто встречался с преподобным Джо Бэрроном, самым молодым из всех, кто когда-либо посвящался в духовный сан в епархии Сент-Пола. Двадцати четырех лет Бэррон стал деканом семинарии. И теперь, в свои тридцать один, это был сбитый краснолицый здоровяк с голубыми глазами и рыжими вьющимися волосами. Зимой Фицджеральд много раз заходил в семинарию посоветоваться со священником о некоторых деталях своего романа. Утонув в глубоком кожаном кресле и завернув сутаной ноги, чтобы они не мерзли, Бэррон пускался в рассуждения о самых разных вопросах духовных и мирских. Фицджеральду импонировал его едкий, журналистского склада ум. Бэррон был остроумен и общителен, хотя и негибок в вопросах религии. Ему казалось, что Скотт, этот блестящий, но еще не определившийся юноша, накликает на себя беду, отходя от церкви.

Религией Фицджеральда в тот период был его роман. Эдмунду Уилсону он признавался: «Мой католицизм, не более чем воспоминания. Дело не в том, что он не соответствует истине. Все гораздо глубже. Во всяком случае, я не хожу в церковь...»

Уилсон собирался издать сборник рассказов о войне, написанных разными авторами, под разными углами зрения. Он предложил Фицджеральду принять в нем участие. «Ради бога, Кролик, — советовал ему, в свою очередь, Скотт, — примись за роман и не растрачивай попусту время на редактирование сборников. Это станет привычкой. Может быть, мои слова звучат неприятно и грубо, но ты знаешь, что я имею в виду». Эта неприятная грубость пришла не по вкусу бывшему ментору Фицджеральда по «Литературному журналу». «За меня не беспокойся, — парировал Уилсон. — Я не пишу романов, но пишу почти все остальное и кое-что даже печатаю. Полагаю, что твое письмо — неуместный образчик

твоих нынешних литературных упражнений...Все твои названия я считаю неудачными» (Фицджеральд спрашивал Уилсона, какому из трех названий романа отдать предпочтение — «Воспитание личности», «Романтический эгоист» или «По эту сторону рая»).

Радость переполнила Фицджеральда, когда 3 сентября он отправил роман в «Скрибнерс». «На сей раз, — уверял он издательство, — это глубоко продуманное, законченное целое. В нем больше жизни (в самом лучшем смысле этого слова), чем в любом другом романе, опубликованном в Америке в течение последних лет». Ожидая решения «Скрибнерс», он устроился в депо железной дороги «Нозерн Пасифик». Следуя совету явиться на работу в старой одежде, он прибыл в тенниске и грязных белых фланелевых брюках, и выглядел довольно экзотически среди остальных рабочих, одетых, как и подобает, в рабочие комбинезоны. Ему поручили стелить крышу на товарных вагонах. Когда он вместо того, чтобы встать на колени, сел и начать забивать гвозди, бригадир отчитал его за бездельничанье.

Его мучительному ожиданию скоро пришел конец. 16 сентября он получил заказное письмо из «Скрибнерс», в котором издательство сообщало о принятии к печати «По эту сторону рая». «Книга так разительно отличается от всех остальных, — писал Максвелл Перкинс, — что трудно даже предсказать, как публика примет ее. Но все мы за то, чтобы пойти на риск, и всячески поддерживаем ее». В тот день Фицджеральд был пьян, но не от вина. Его переполняло пьянящее чувство брызжущей молодости. Он тут же оставил работу в «Нозерн Пасифик», выбежал на улицу и, останавливая автомобили, рассказывал всем, кто хотел его слушать, о выпавшем ему счастье. Несколько дней спустя он одним духом написал письмо Алиде Биглоу, своей знакомой из колледжа Смита.

«...Скрибнерс приняло мою книгу. Ну разве я не молодец! *But hic iudicatio erat totam spoiled for meum par llsant une livre, une novellum (nouum), nomine «Salt» par Herr C.G. Norris.*<sup>[70]</sup> Это потрясающее реалистическое произведение.<sup>[71]</sup> В сравнении с жизнью, описанной в нем, наша сила духа не более чем отжившая свой век выброшенная мебель. Его можно поставить в один ряд с «Повестью о старых женщинах».<sup>[72]</sup>

Конечно, я считаю Уолпола<sup>[73]</sup> слабым писателем во многих отношениях. Прочти «Соль», дорогая, и ты узнаешь, какой может быть жизнь. Вот уже почти две недели, как я пребываю в состоянии полной отрешенности. Я бреду, не замечая ничего вокруг, полностью опустошенный, часто пьяный, и нисколько не раскаиваясь за свои грехи...

Я страшно несчастлив, выгляжу как дьявол, буду знаменит через 1,5 месяца и, надеюсь, умру через 2...»

Каждое утро теперь он просыпался с ощущением «неописуемой радости и ожидания». Он умолял «Скрибнерс» опубликовать книгу сразу же или, по крайней мере, не позднее Рождества, «потому что я в таком состоянии, когда каждый месяц безумно важен и является оружием в борьбе со временем за счастье». Одновременно он пишет один рассказ за другим и продает их в «Смарт сет» и «Скрибнерс мэгэзин». Надеясь пробиться в «Сатердей ивнинг пост», где платят высокие гонорары, он направил ряд вещей нью-йоркскому литературному агенту Полю Уиверу Рейнольдсу.

Однажды, находясь в состоянии лихорадочного возбуждения, Фицджеральд написал Зельде письмо с просьбой приехать к нему. Зельда ответила дружески, но сдержанно. Сообщала, что еще не совсем оправилась от «невинного романа с шикарным нападающим из Оберна». Что здоровье ее прекрасно, вот только душевно он найдет ее несколько изменившейся. Ей тоже очень хотелось бы повидаться с ним. При этом она просила его не позабыть прихватить с собой, если он приедет, бутылочку джина, поскольку она не брала в рот спиртного все лето. После его последнего визита горничная извлекла из каждого угла ее комнаты не одну бутылку, так что его репутация уже подорвана.

В ноябре Фицджеральд отправился в Монтгомери, и Зельда согласилась стать его женой. Однажды они случайно забрели на кладбище и пережили минуты необычайного подъема. Когда они ступали среди надгробий солдат-южан, погибших в Гражданской войне, Зельда сказала, что Фицджеральд никогда не поймет чувств, которые вызывают у нее эти могилы. Скотт ответил, что он не только всей душой понимает ее, но и напишет об этом. Он и осуществил это в рассказе «Ледяной дворец». После его отъезда Зельда в письме делилась с ним: «Мне стыдно в этом признаться, но поначалу я не очень-то верила в тебя... Как приятно сознавать, что ты действительно способен на многое, на все, и мне радостно от того, что, быть может, я чем-нибудь смогу помочь тебе».

Одержанная победа была сладостной, хотя и не доставляла той радости, какую принесла бы шесть месяцев назад, когда Зельда отвергла его. Фицджеральд уже не в силах был возродить в душе трепета первой любви. Он стал профессиональным писателем, и все то, что прежде так очаровывало его — ее чувства, слова, — теперь подвергалось им анализу как материал, который он использует в своих будущих произведениях. Но, когда он в письме Зельде уподоблял ее и себя двум пожилым людям,

растратившим самое дорогое, чем они обладали, она попыталась убедить его, что они его еще не обрели. «Наша страсть, нежность и душевный пыл — все, что способно расти, растет. И поскольку одновременно мы становимся старше и мудрее и строим наш замок любви на твердом основании, нами ничто не утрачено. Первый порыв не может продолжаться всю жизнь, но породившие его чувства еще так живы. Они подобны мыльным пузырям: они лопаются, но можно надуть еще и еще множество таких же прекрасных пузырей, которые тоже лопнут. И так будет продолжаться до тех пор, пока не иссякнут мыло и вода. То же самое, я думаю, произойдет и с нами».

Из Монтгомери Фицджеральд вернулся в НьюЙорк, где снял шикарный номер в отеле «Никербокер». К этому времени он уже опубликовал один рассказ в «Сатердей ивнинг пост». Как-то три принстонца, которых он знал еще по Сент-Полу, заглянули к нему и застали его в легком подпитии. Несколько мальчишек-посыльных сновали вокруг, помогая ему одеться. Повсюду были разбросаны двадцати-и пятидесятидолларовые бумажки. Перед тем как спуститься вниз, Фицджеральд засунул в каждый карман пиджака и жилета по банкноте так, чтобы они были видны. Прежде чем покинуть отель, друзья незаметно извлекли деньги из его карманов и оставили их у кассира отеля. Фицджеральд порывался свезти их к «своему бутлеггеру» (в то время они еще были редкостью) и достать каждому по бутылочке виски. Когда он вернулся в отель, администратор обрушился на него с руганью: уходя, Скотт забыл перекрыть кран и затопил номер.

Люди и компании неудержимо манили к себе Фицджеральда. Однако он осознавал значение самодисциплины для писателя. Как-то в Сент-Поле на Рождество он не пошел на маскарад и остался дома, чтобы поработать. Друзья названивали ему весь вечер, уверяя, что он многое теряет. Некий известный всему городу человек, сообщили они, нарядился в костюм верблюда и вместе с таксистом, который был второй половиной животного, угодил по ошибке к кому-то на званый ужин. Весь следующий день Фицджеральд потратил на сбор деталей об этом происшествии и позднее в течение двадцати одного часа сочинил рассказ на 20 тысяч слов. Он начал писать его в восемь утра, закончил первый вариант к семи вечера, переписал его между семью и половиной пятого ночи и в пять отправил в издательство. «Пост» приобрел «Спину верблюда» за 500 долларов. Выпадали и такие легкие удачи.

К этому времени Эдмунд Уилсон и Джон Пил Бишоп познакомились с рукописью «По эту сторону рая». «Самое поэтическое в романе, —



восхищался Бишоп, — это его название. Лучше не придумаешь!» В целом он охарактеризовал произведение как «чертовски милое, а местами просто чудесное; единственный его недостаток — это избыток чувств и отсутствие динамизма в развитии фабулы». Уилсон проявил большую сдержанность в оценке романа. «Как интеллигент, твой герой, — упрекал он Скотта, — фальшь чистейшей воды. Меня ничто так не позабавило, как его взгляды на искусство, политику, религию и общество... Было бы неплохо, если бы ты умерил свой художественный пыл и больше внимания обратил на форму... Я считаю себя вправе давать советы, потому что ты можешь, как мне представляется, очень легко превратиться в популярного автора романов-поделок... Выработай в себе скептицизм и почитай что-нибудь еще, помимо современных английских романистов. Все эти истории молодого человека уже порядком поднадоели; кроме того, они всегда казались мне дешевым приемом... Но книга мне все равно понравилась. Я читал ее с большим удовлетворением и не удивлюсь, если она доставит приятные минуты и многим другим любителям литературы».

Фицджеральд и в самом деле стоял перед дилеммой, о которой говорил когда-то Альфреду Нойзу. К стремлению стать серьезным писателем примешивалось желание много зарабатывать. Но глубокие, окрашенные пессимизмом творения, органично выходявшие из-под его пера, не отвечали духу сентиментального оптимизма, присущему высокогонорарным популярным журналам. Он спрашивал своего литературного агента, есть ли «хоть какая-нибудь возможность напечатать трезвое или пессимистическое произведение где-нибудь, кроме как в «Смарт сет», или реализм ставит преграду на пути в любой сносно платящий журнал независимо от мастерства автора?». В связи с задуманным новым романом он задал агенту аналогичный вопрос: «Имеют ли, по Вашему мнению, такие повести, как «Соль» Чарлза Норриса, «Юрген» Кейбелла<sup>[74]</sup> или «Дженни Герхардт» Драйзера, хоть один шанс из миллиона быть изданы массовым тиражом? Я спрашиваю Ваше мнение заранее потому, что Ваш ответ повлияет на мои планы».

В январе он уезжает в Новый Орлеан, чтобы, уединившись в пансионе, начать писать, но после взлета, последовавшего за успехом романа, вдохновение покидает его. Он дважды посещает Монтгомери, чтобы повидать Зельду. После того как его первый рассказ был принят для постановки в кино, он купил ей в подарок платиновые часы с бриллиантами и огненного цвета веер из страусовых перьев. Такие вееры считались верхом шика, и Фицджеральд с тоской взирал на них в витринах богатых магазинов в ту безденежную весну в Нью-Йорке.



Было решено, что Зельда и Скотт поженятся сразу же после выхода книги в свет. Госпожа Сэйр примирилась с этой неизбежностью, хотя их молодость и несерьезность и вызывали у нее опасения. «Как вы знаете, у Зельды было несколько поклонников, но Вы, по-видимому, единственный, к кому она проявляет более-менее постоянное внимание, — сообщала она Скотту, явно греша против истины. — У меня нет возражений против Вашей веры (Сэйры принадлежали к англиканской церкви. — Э.Т.). Порядочный католик ничем не хуже любого другого человека. Но чтобы наставить Зельду на путь истинный, Вам придется взывать за помощью к самому Господу Богу... Ее не назовешь уступчивой, и порой она склонна проявлять свой нрав. Поэтому, когда она куксится, улыбнитесь ей своей мягкой улыбкой и спокойно продолжайте заниматься делом. Через какое-то время Вы услышите, как она уже мурлыкает не имеющую мелодии песенку «Пара-па-пам-пара-па-па», и все станет на свои места».

В середине февраля Фицджеральд перебрался в Принстон и, поселившись в «Коттедж клуб», стал ожидать приезда Зельды. «По эту сторону рая» был опубликован 26 марта. Жившему в то время в Принстоне писателю Стратерсу Берту навсегда запомнился тот прохладный солнечный день, когда «незадолго до полудня раздался звонок в парадную дверь и в комнату вошел молодой человек, как две капли воды походивший на архангела. От всего его вида исходила отрешенность и таинственность, ассоциирующаяся обычно с божественными созданиями. Он был прекрасен и немного загадочен». Фицджеральд, которому нравились короткие рассказы Берта, объявил, что он пришел подарить ему первый экземпляр «По эту сторону рая». Если верить Скотту, это была первая из его многочисленных книг с дарственными надписями, которые он делал со свойственным ему одному росчерком. Никакое другое занятие не доставляло ему большего удовольствия.

В одном из писем Скотту Зельда писала: «Наша сказка подходит к концу. Скоро мы поженимся и в счастье и согласии проживем всю нашу остальную жизнь точно так же, как та принцесса, заточенная в башне, которая не давала покоя тебе и так злила меня своим постоянным присутствием». Сразу же после приезда Зельды в НьюЙорк Фицджеральд отправил ее по магазинам с девушкой, вкусу которой доверял, поскольку понятия Зельды о стиле с сотней оборок и прочих ненужностей не соответствовали представлениям нового окружения, в котором она очутилась. Они обвенчались 3 апреля в соборе святого Патрика. Шафером был товарищ Скотта по Принстону Людлоу Фаулер, а подружками Зельды — ее сестры Марджери и Клотильда. Ни родители Скотта, ни старшие

Сэйры на церемонии не присутствовали.

Когда Фицджеральд ступил на улицу из собора, открывавшиеся перед ним перспективы казались беспредельными: он завоевал сердце девушки, о которой мечтал, и уже готовилось второе издание «По эту сторону рая». Но дело было не только в том. В воздухе пахло бумом, Америка стояла на пороге «величайшего безудержного карнавала в своей истории», о котором Фицджеральду предстояло поведать миру.

## ГЛАВА VIII

Знавшие Фицджеральда по Принстону, и в последний период по Нью-Йорку, относились к нему скептически. «В то время мы были слишком влюблены в себя, — вспоминал один из них, — все погружены в свои мелкие заботы. Само предположение, что однокурсник, кропавший стишки для «Треугольника», станет автором книги, которая сделает его знаменитым, казалось невероятным!»

Однако высокая оценка романа критиками заставила многих пересмотреть свою точку зрения. Фицджеральд, утверждали рецензенты, по-видимому, писатель необыкновенного таланта, с большим будущим, даже его недостатки — дерзость, незрелость, высокомерие — продолжение его достоинств. Какое значение имеет проскальзывающая в романе небрежность или несовершенство формы? Разве избыток чувств не стоит поставить выше мастерства в произведении молодого автора? «Семнадцатилетний» Таркингтона<sup>[75]</sup> и «Стоувер в Йеле» Джонсона, которыми Фицджеральд так восхищался и над которыми просиживал ночи напролет, были признаны поверхностными набросками по сравнению с его романом. Иногда имя Скотта упоминалось даже в одном ряду с Байроном, Киплингом и ранним Драйзером, а с уст отдельных критиков в его адрес порой слетали такие эпитеты, как «настоящий художник» и даже «гений».

У Фицджеральда голова шла кругом. Все его помыслы были обращены к одному — как принимают его книгу. Он знал, в каком уголке страны роман расходится лучше всего, и в любой момент мог назвать примерный доход от его продажи. Он подолгу задерживался в книжных магазинах в надежде услышать похвалы в адрес романа и, когда встречался с кем-нибудь, кто не знал о нем, впадал в полное отчаяние. Его забавляла реакция пуритан, шокированных описанием пирушек и невинных поцелуев. Критические отзывы католической печати вызвали у него смешанное чувство удовлетворения и досады, он считал образ священника Дарси самым привлекательным в романе.

Совсем нелегко было отмахнуться от критики маститого рецензента «НьюЙорк трибюн» Хейвуда Брауна.<sup>[76]</sup> «Мне кажется, — подпуская Браун шпильку в адрес Фицджеральда, — что слишком многие из не вступивших еще в жизнь молодых людей, не поцеловав ни разу, все же берутся во всеуслышание рассказать об этом «грехе». После появления подобных колкостей и в последующих статьях Фицджеральд пригласил этого

огромного, несколько потрепанного критика, работавшего раньше спортивным репортером, на обед и стал укорять его, что тот прожил жизнь, так ничего и не свершив. (В то время Брауну только что исполнилось тридцать лет.)

Небезынтересно взглянуть на Фицджеральда в зените его первой славы — счастливее он уже никогда не будет, хотя последовавшие за этим шесть-восемь лет и оказались сравнительно безоблачными. Фавн с вьющимися светлыми волосами, расчесанными на пробор посередине, и полусерьезным-полушутливым выражением лица, он излучал понимание и некое откровение, которые заставляли вас трепетать в его присутствии. Он воплощал в себе американскую мечту — молодость, красоту, обеспеченность, ранний успех — и верил в эти атрибуты счастья так страстно, что наделял их определенным величием. Скотт и Зельда представляли идеальную пару — пастух и пастушка с мейсеновского фарфора. Одного нельзя было вообразить без другого: вам хотелось уберечь их, сохранить такими, какими они были, надеяться, что идиллия продлится вечно.

Но такое желание возникало лишь, когда они вели себя сносно. Бывали же моменты, когда вам хотелось, чтобы они или образумились, или побыстрее исчезли с глаз. В апреле они отправились в Принстон, чтобы «потолкаться» на вечеринках. «Мы поехали на машине Харвея Файерстоуна — Зельда и нас пятеро ребят — и пробыли там три дня, — делился своими воспоминаниями об этой поездке Фицджеральд с одним из друзей. — Все это время мы ни минуты не были трезвыми... Пребывание в университете превратилось в самую непотребную вакханалию, какая когда-либо устраивалась в Принстоне, и все в университете согласятся с этим». Зельда, которую Фицджеральд представлял всем как любовницу, опрокидывала тележки торговцев на Проспект-стрит, а однажды утром явилась на завтрак в «Коттедж клуб» с огромной оплетенной бутылкой бренди и стала поливать им омлет, чтобы сделать из него omelettes flambees.<sup>[77]</sup> Фицджеральд несколько раз затевал драку, и окружающие стали поговаривать о нем как о пьянице и бузотере.

Через неделю в воскресенье Фицджеральд, Джон Пил Бишоп, Эдмунд Уилсон и Стенли Делл совершили поездку на «бьюике» Делла в Принстон, чтобы присутствовать на банкете в честь бывших редакторов «Литературного журнала «Нассау». Уложив в машину стойки, которые они позаимствовали в одном из театров Гринвич-вилледжа,<sup>[78]</sup> они с шиком прокатились по Пятой авеню, очищенной от машин по случаю проведения

парада. Сидевшие на заднем сиденье Фицджеральд с Бишопом писали плакаты и выставляли их из окон машины. Особое негодование у полицейского, бросившегося за ними вдогонку, вызвал плакат с надписью: «Мы красные с Парнаса». В Принстоне сначала они заглянули к Кристиану Гаусу и, когда профессор вышел их встретить, увенчали его лавровым венком. Фицджеральд произнес торжественно-шутливую речь, закончив ее словами: «Мы дадим литературе толчок, какого она еще не видывала». — «Кто знает, — улыбнулся на это Гаус, — может быть, вы столкнете ее в могилу». Затем Фицджеральд, пристроив над головой нимб, а за спиной крылышки, с лирой в руках пошел в «Коттедж», откуда был символически выдворен через окно. Так он впервые узнал о выводе его из состава клуба. Очевидно, дебоши его и Зельды, во время их предыдущего посещения университета, приобрели скандальную огласку, и кое-кто из соучастников кутежей теперь проголосовал за его исключение.

Несколько недель спустя он удостоился чести получить письмо от ректора Хиббена с поздравлением по поводу опубликования его «Четырех кулаков», назидательного рассказа, которого Фицджеральд стыдился, но который, по мнению Хиббена, показывал «человеческую натуру в ее лучшем свете». Хиббен был огорчен некоторыми главами «По эту сторону рая». Ему казалось, что в романе Принстон выставлен провинциальным клубом, где процветают снобизм и расчет. В «Четырех кулаках» утверждалось инстинктивное благородство в человеке, и Хиббен надеялся, что Фицджеральд в своих будущих произведениях станет развивать эту идею. Скотт ответил вежливым, но бескомпромиссным письмом. Выразив признательность Хиббену за интерес к его творчеству, Фицджеральд сообщил, что писал «Четыре кулака» в период безденежья, чтобы потрафить вкусам издателей журналов, и очень удивлен высокой оценкой, которую получил этот рассказ.

НьюЙорк 1920 года. «Появились первые потайные кабачки; плавная походка вышла из моды; потанцевать лучше всего было ехать в «Монмартр», где еще издали бросалась в глаза светлая копна волос Лилиан Тэшмен, порхающей по залу среди подвыпивших студентов». НьюЙорк превратился в подмостки молодого поколения, уставшего от великих начинаний, не поладившего со старшими, полного энергии, накопившейся за время войны, и неиссякаемой жажды предаваться удовольствиям. Фицджеральд, в котором слились беззаботность и очарование, как нельзя лучше уловил настроение момента и стал, по словам современника, «нашим баловнем, нашим гением, нашим шутом». Ему не принадлежали лавры первого глашатая бунтующего поколения — эту честь следует отдать

Рэндолфу Борну или, может быть, Эдне Миллей,<sup>[79]</sup> — но с его способностями актера, столь естественно сочетавшимися с талантом писателя, он разыгрывал роль, которая стала его второй натурой. Он давно уяснил, что его отец и мать — люди несведущие и бесталанные, и этот свой взгляд на них перенес на всех родителей вообще. И в этом оказался солидарен со всем молодым поколением.

Слава, как это ни странно, почти совсем не изменила его. Он относился к ней с легкой иронией, посмеиваясь над ней, что, впрочем, не могло скрыть испытываемого им удовольствия от известности. «Вы не имеете права так обращаться со мной, — бывало, со смешинкой в глазах изрекал он, — я важная персона». Или предлагал кому-нибудь из друзей: «Пойдем пообедаем в «Плаза», там упадут в обморок, увидев меня». Он мог с наивным восторгом сообщить, сколько получил за короткий рассказ или право на постановку по нему фильма. После лекций, на которых он зачаровывал публику страстным изложением своей оригинальной точки зрения на современную женщину, он с обескураживающей готовностью окунался в толпу любителей автографов.

В Нью-Йорке он слыл за неисправимого молодого человека. Скотт и Зельда отдавались порывам, которые и в голову бы не пришли более прозаическим натурам. Выйдя после концерта из «Карнеги-холл», они, взявшись за руки, как два голубка, стремглав бросались вдоль Пятдесят седьмой стрит, петляя между сновавшими по ней автомобилями. Вступив в вестибюль отеля «Балтмор», Фицджеральд мог сделать стойку на руках только потому, что в ту неделю он ни разу не попал в газетную хронику, а самое худшее после пересудов о тебе, как говорил Оскар Уайльд, это забвение. В театре Скотт и Зельда могли сидеть с отрешенным видом, будто аршин проглотили, когда все кругом покатывались со смеху, и вдруг начать безудержно хохотать в притихшем зале. Во время представления в театре «Скэндлс» Фицджеральд, находившийся в шестом ряду, неожиданно приступал к уморительному разоблачению: сперва он снимал с себя пиджак, затем жилетку, а потом и рубашку. В этот момент появлялись билетеры, которые под руки выпроваживали его из зала. Отправляясь на вечеринку на такси, Скотт мог взгромоздиться на крышу, а Зельда примоститься на капоте.

Им все сходило с рук из-за их утонченной воспитанности и внешней изысканности. Они казались такими рафинированными, что было трудно поверить доходившим до вас невероятным слухам, пока нечто подобное не совершалось у вас на глазах. Но в своих проделках они не переступали границ приличия: не будучи ханжами, оба испытывали презрение к

вульгарности и непристойности любого рода.

После нескольких недель медового месяца в «Балтмор» администрация попросила их съехать из отеля, поскольку нескончаемая круговерть, вызванная их присутствием, нарушала добрый порядок и ночной покой других постояльцев. Они перебрались в «Коммодор», но затем решили провести лето за городом, где Зельда могла бы купаться, а он, не отвлекаясь, работать. В своем стареньком «мармоне» они пустились в путь по направлению к озеру Чемплейн, но в первый же день кто-то встретившийся им в дороге сказал, что вода в озере холодная. Поэтому они повернули на восток и вскоре добрались до Вестпорта в штате Коннектикут, где сняли обшитый серенькой дранкой домик, из окна которого открывался вид на залив Лонг-Айленд Саунд. Это был один из первых домишек, сооруженных здесь еще в эпоху Войны за независимость. Неподалеку возвышался памятник минитмену,<sup>[80]</sup> каменным взором устремленному в безмятежные поля.

Фицджеральды присоединились к толпе, проводившей все дни на пляже. Но безмятежность отдыха вскоре стала тяготить их, и они иногда совершали вылазки в НьюЙорк в поисках развлечений. На квартирах многочисленных приятелей-холостяков они пропускали не по одной рюмке и вслед за этим устремлялись по заведенному маршруту — после обеда в театр, оттуда в кафе «Миднайт фролик» или, по настоянию Зельды, в подвальчики Гринвич-вилледжа. По воскресеньям они устраивали шумные пирушки в Вестпорте, где друзья Скотта по Принстону окунались в новое для них окружение — богему художников, писателей, актеров и режиссеров.

К этому времени Фицджеральд понял то, о чем раньше, должно быть, лишь догадывался: Зельда просто не умела вести хозяйство. Безалаберная в вопросах питания, она к тому же абсолютно забывала о стирке, к большой досаде Фицджеральда, любившего менять рубашки по несколько раз в день. За ее транжирство частично нес вину он: получив гонорар от литературного агента, он обычно давал ей крупные суммы на самые пустячные расходы. Но все эти ее недостатки окупались сторицей: Зельда вносила в жизнь непередаваемую радость. Всегда изящно и привлекательно одетая в модные легкие платья, она походила, по словам Фицджеральда, «на распускающийся цветок, который не трогает смена времен года». Более земная из них двоих, она возвращала его к реальной жизни, когда воображение увлекало его от нее слишком далеко. Он гордился тем, что она нравилась мужчинам, которые вечно толпились вокруг нее, стремясь погреться в лучах исходящей от нее

жизнерадостности. Не люби они друг друга так сильно, у них было бы много оснований для ревности.

Но, как писал Фицджеральд в «Прекрасных, но обреченных», «из всего, что объединяло их, самым сильным была их почти неестественная тяга друг к другу». Этот ранний период обожания нашел отражение в некоторых местах романа. Покидая отель, в котором они счастливо прожили вместе, муж замечает у жены на глазах слезы, и, когда он пытается успокоить жену, она говорит: «Всякий раз, когда мы переезжаем, мы что-то утрачиваем, что-то оставляем позади. Ничто не повторяется дважды. Мы стали здесь так близки...» «Он в порыве прижал ее, понимая не только испытываемое ею чувство, но и глубокий смысл переживаемого мгновения...»

«Позднее, к вечеру, когда он вернулся с билетами с вокзала, он увидел, что она спала на своей постели, прижав к себе какой-то черный предмет, который он сперва не разглядел. Подойдя ближе, он обнаружил, что это его ботинок, не совсем новый, не совсем чистый, к которому она прижималась щекой со следами еще не высохших слез. И он понял смысл этого старого, освященного веками жеста. Волна чувств захлестнула его, когда он разбудил ее и увидел ее улыбку, застенчивую, но выдающую понимание ею утонченности ее выдумки».

Или возьмите письмо из «Прекрасных, но обреченных», которое почти дословно воспроизводит написанное ему Зельдой после одной из размолвок:

«Я бросила взор на железнодорожное полотно и увидела тебя, торопливо шагающего вдоль путей. Ты спешил мне навстречу, в таких милых моему сердцу помятых брюках. Не будь тебя, милый, я бы не смогла ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, ни думать, ни жить. Я люблю тебя и больше никогда до конца нашей жизни не расстанусь с тобой ни на минуту. Когда тебя нет рядом, кажется, что рушится небосвод, исчезает красота и уходит молодость... Глупый, если бы ты мог почувствовать, как я люблю тебя, как не мил мне белый свет, когда ты далеко... Вернись, скорей вернись ко мне. Я бы никогда не смогла жить без тебя, даже если бы ты презрел меня, если бы ты был покрыт язвами, как прокаженный, если бы ты оставил меня ради другой женщины, морил меня голодом или измывался надо мной. Я бы все равно любила тебя. *Я это знаю*».

Если вначале Скотт был больше влюблен в Зельду, чем она в него, то после свадьбы она отдалась своему чувству к нему без оглядки. Поэтому любые сравнения, кто из них любил больше, не имеют смысла. И все же нависшее над их отношениями облачко было видно с самого начала, о чем



свидетельствуют выдержки из дневника Александра Маккейга, рекламного агента, который учился с Фицджеральдом на одном курсе в Принстоне и был его близким другом.

*«12 апреля (1920 год).* Заглянул к Скотту Фицу и его молодой жене. Последняя — темпераментная красавица из провинциального южного городишка. Постоянно жует жвачку и выставляет напоказ голые колени. Не думаю, что брак будет удачным. Оба пьют чрезмерно. Полагаю, разведутся года через три. Скотт пишет что-то крупное. После этого умрет в подворотне в 32 года.

*15 сентября.* Вечером заявила Зельда, совсем пьяная. Решила уйти от Фицджеральда. Отправилась на станцию пешком по железнодорожному полотну и чуть не попала под поезд. Некоторое время спустя, примчался Фицджеральд. Он приехал на том же поезде... Беда в том, что Фиц растворился в Зельде и перенял все ее черты. Из них двоих у нее характер сильнее. Она послужила прототипом всех его женских образов. Фиц о чем-то спорил. Ум абсолютно не организован, но нащупывает суть верно, интуиция поразительная... Так уверенно и быстро схватывает точное настроение и движение мысли. Никто из нас не может сравниться с ним в этом.

*27 сентября.* Джон (Пил Бишоп. — Э.Т.) провел конец недели у Фица. Новый роман ужасен, нет серьезности в подходе. Зельда постоянно отрывает его от работы, отвлекая и развлекая. Рассуждал о своем отношении к славе, стремлении художника к похвалам и влиянию. Выходец из обедневшей семьи, Фицджеральд сетует, что никогда не сможет заработать ста тысяч в год. Чтобы добиться этого, ему пришлось бы стать Таркингтоном.

*12 октября.* Был в гостях у Фицджеральдов. (К этому времени они вернулись в НьюЙорк. — Э.Т.) У них одна и та же проблема: чем заняться Зельде? Я думаю, для начала ей следовало бы прибраться — квартира похожа на свинарник. Если она дома, Фиц не может работать — она отвлекает его; если ее нет, он тоже не может работать — беспокоится, как бы она чего не натворила... Я посоветовал ей решить наконец, станет ли она киноактрисой или домохозяйкой. И то и другое требует некоторых усилий. Зельда никогда не окажется способной на это. Кроме того, Фицу и Зельде нравится вращаться среди аристократов, которым безразлично, чем живет художник, или среди умных представителей богемы, которым плевать на то, что думает мир... Фицджеральд очень тонок в оценке самого себя. Утверждает, что не видит больше того, что видят многие, но может передать больше того, что видит.

*13 октября.* Фиц сделал еще одно точное замечание о самом себе. Говорит, что может блестяще выписать Нэтэна,<sup>[81]</sup> сидящего в кресле, но не может показать, как он думает; вообще не может передать чьи-либо мысли, кроме своих и Зельды. Приступив к описанию какого-либо образа, через некоторое время обнаруживает, что вновь описывает самого себя.

*21 октября.* Вечером посетил Фицджеральдов. Они как раз приходили в себя после ужасной попойки. Все время только и говорят о ребенке. Придумали хорошего и плохого ребенка. Хороший ребенок тот, у которого глаза и ноги Скотта, а нос и рот Зельды. У плохого — ноги Зельды, волосы Скотта, и далее в этом же духе. Скотт нуждается в деньгах, хотя в последний год заработал 20 тысяч.

*27 ноября.* По мнению Скотта, писателю помогает вынести ужасные муки словотворчества вера, что его произведения будут всегда охотно читаться.

*11 декабря.* Провел вечер у Фица. Вместе спорил с Зельдой о дурной славе, которую они приобрели, появляясь в пьяном виде в обществе. Зельда хочет прочудачествовать всю жизнь. Ей абсолютно нет дела до будущего и все равно, что о ней думают. Убеждал их, что они кончат плохо, если будут продолжать в том же духе.

*18 декабря.* Вместе с Джоном (Пилом Бишопом. — Э.Т.) обсуждали прелесть стиля Фица. Я указал также, что единственная цель их разгульной жизни — это оставить о себе память. Его утверждение, что он праправнук Фрэнсиса Скотта Ки, объясняется этим стремлением. До этого он никогда так настойчиво не говорил о своей родословной. Теперь же ею специально занимается его литературный агент. Думаю, что он действительно праправнук.

*17 апреля (1921 год).* Сегодня вечером, за обедом, Фиц признал, что идеи Зельды легли в основу рассказов «Джелли Бин» и «Ледяной дворец». Ей же принадлежат и мысли в его новом романе. Вел с ней долгую беседу о том, почему иногда глупые женщины имеют больший успех у мужчин, чем умные. Она, несомненно, одна из самых умных и красивых женщин, которых я знал.

*5 мая.* Фицджеральды с шиком отправились в Европу на «Аквитании». Скучаю по ним ужасно. Последнее время виделся с ними почти каждый день».

Еще до поездки в Европу Фицджеральды после проведения лета в Вестпорте сняли квартиру недалеко от «Плаза», где, пользуясь услугами отеля, могли в то же время избежать его строгих правил. Однажды Лоутон Кэмпбелл, друг Скотта по совместной работе в «Треугольнике», получил от

него приглашение вместе пообедать. Придя ровно в назначенный час, Кэмпбелл застал квартиру Фицджеральдов в полном беспорядке: заваленные окурками пепельницы и недопитые стаканы после вчерашней пирушки, разбросанные повсюду книги и бумаги. Скотт одевался, а Зельда нежилась в ванне, оставив дверь приоткрытой, «Скотт, — раздавался вдруг ее голос из ванной, — расскажи Лоутону о... Скажи Лоутону, что я когда... А что я сделала, когда...» Прежде чем Скотт заканчивал рассказ, она перебивала его и излагала свою версию того, что произошло. Фицджеральд подсказывал ей детали, и смешные истории сыпались, как горошины из лукошка, пока она не появилась в дверях ванной, застегивая платье. Тут Кэмпбелл взглянул на часы и увидел, что ему пора возвращаться в контору.

Таковыми остались Фицджеральды в памяти. Именно этот период вспоминал Скотт, описывая одну «поездку на такси на закате дня, когда небо над высоченными зданиями переливалось розовыми и лиловыми тонами. Я ехал и распевал во все горло, потому что у меня было все, что я хотел, и я знал: таким счастливым я уже больше не буду никогда». Гораздо позднее они поймут, как одиноки они были на грандиозном карнавале, каким являлся в то время НьюЙорк; они «чувствовали себя словно дети, попавшие в огромный, ярко освещенный, еще не обследованный сарай». Но они совсем не были тем, чем казались. Среди гомона ночного клуба Скотт, вдруг, начинал говорить о литературе, и тогда сразу же становилось ясно, что за его внешностью студента скрывается более утонченный ум, что талант не оставляет его в покое ни на минуту. Чувствительный, как молодой листок, он трепетно реагировал на самое слабое дуновение. Он отмечал каждое движение эмоций, малейшие нюансы поведения и вкладывал их в свои произведения, которые писал почти как журнальные статьи, но облакал их в художественную форму. Так он запечатлел век, формированию которого способствовал, и его творчество и бравада нераздельно переплетались друг с другом.

На этом тернистом пути Зельда являлась источником и вдохновения, и мучений. Ее проделки предоставляли ему массу материала для его произведений, и все же иногда ему приходилось просить ее оставить его на время в покое, чтобы он мог выплеснуть на страницы своих книг накопленное, прежде чем она опять вовлечет его в новую круговерть. Ее богатое воображение, тонкая эксцентричность добавляли глубину его поразительной наблюдательности, его способности улавливать малейшие проявления человеческих чувств и придавать им жизненную правдивость. В то же время установленные им для себя нормы не были понятны ей. Фицджеральда, который в душе был художником, раздражала

необходимость писать иногда для «Сатердей ивнинг пост» заведомо трафаретные рассказы с неизбежной, как он говорил, «джазовой концовкой». Много лет спустя Зельда признавалась: «Я всегда считала, что любой публикуемый в «Пост» рассказ первоклассен, что это цель, к которой стоит стремиться. Публикация в нем действительно несла на себе печать признания, поскольку «Пост» всегда принимал произведения лишь подлинных мастеров. Но Скотту почему-то претило писать для него». Фицджеральд, по его собственным словам, испытывал «раздвоенность». Зельда хотела, чтобы он творил главным образом ради нее, а не ради своей мечты.

Летом он приступил к роману, над которым с перерывами продолжал трудиться всю осень, с восторгом отмечая ход работы. 10 ноября: «Роман продвигается хорошо. За последние три дня написал 15 тысяч слов — довольно много даже для меня, хоть и пишу я очень быстро». В «Прекрасных, но обреченных», первоначально названных «Полет ракеты», он описывает, как две жизни — молодого человека с задатками и слабостями художника, но без подлинного творческого горения и его прекрасной жены — рушатся из-за попусту растраченных ими обоими сил. «Может быть, это звучит претенциозно, — признавался он своему редактору, — но это действительно превосходное произведение. Надеюсь, оно не разочарует рецензентов, которым понравился мой первый роман».

В августе «Скрибнерс» опубликовало сборник его рассказов «Соблазнительницы и философы». Над ними еще сияло солнце его ранних успехов — «щедрое, ласкающее солнце», «превращавшее море в маленькие качающиеся золотые чашечки» или «обливавшее дом золотую охрой, словно декоративную вазу». Но тут же был и леденящий ужас замуровывающего «Ледяного дворца» и гипнотизирующий рок «Граненой чаши». По мнению большинства критиков, сборник не оправдал надежд, возлагавшихся на автора «По эту сторону рая». Они отмечали его поверхностность, продиктованную стремлением потрафить вкусу читающей публики, его рекламный блеск. Даже ошибки Фицджеральда в грамматике и синтаксисе казались им порождением его дерзкого стиля. Однако все в один голос утверждали, что рассказам его присущи очарование, лирический трепет, порыв и музыкальность. Фицджеральд был прирожденным мечтателем и выдумщиком, и его неиссякаемо остроумные и неотразимо привлекательные молодые люди существовали лишь на страницах его произведений, хотя позднее они, по-видимому, оказались воплощением его века.

Начало 20-х годов — захватывающий период в американской

литературе. Ее возрождение, которое открылось произведениями Драйзера, Андерсона<sup>[82]</sup> и других, получило еще больший толчок во время войны. По мере того как Америка, становясь самой мощной державой, освобождалась от раболепства перед европейской культурой, повсюду заявляли о себе новые голоса. Писатели послевоенного поколения были едины в своем неприятии викторианских идеалов, и в то же время они ожесточенно соперничали между собой. В этих условиях чуть ли не самой привлекательной чертой Фицджеральда оказалась его профессиональная щедрость. Он всячески содействовал изданию работ своих коллег и гордился их успехами. Зельда позднее вспоминала, как он ночами просиживал над рукописями друзей, хотя его собственные дожидались завершения. «Никто не знает, как много Фицджеральд сделал для других, — признавал редактор «Скрибнерс» Максвелл Перкинс. — Он был необыкновенно добр, и, с его способностью разглядеть новых писателей, мог бы стать хорошим издателем, не будь он художником».

Издание произведений Фицджеральда явилось нарушением (если не ломкой) традиций «Скрибнерс», которое до того публиковало лишь таких маститых авторов, как Эдит Уортон и Генри Джеймс.<sup>[83]</sup> Тяготая к английским писателям — Мередиту, Стивенсону, Голсуорси и Барри,<sup>[84]</sup> — «Скрибнерс» избегало реалистических произведений «американского ренессанса». Правда, реализм Фицджеральда был подслащен фантазией, но все же Чарлз Скрибнер-старший не сразу решился отдать в печать «По эту сторону рая», шокированный фривольностью романа. Когда после уговоров Максвелла Перкинса, его самого пронизательного редактора, он все же дал свое согласие, это вызвало революцию в клане Скрибнеров.

Внешне Перкинс производил обманчивое впечатление. На первый взгляд он казался типичным «сухарем», как нельзя лучше вписывавшимся в царившую в «Скрибнерс» атмосферу консервативности. Его родители были родом из Бостона и Вермонта. Питомец школы святого Павла и Гарварда, он пришел в издательство через журналистику, подавив в себе желание стать писателем. Человек тридцати лет с небольшим, вежливый, углубленный, как казалось, в себя и в то же время всегда готовый внимательно выслушать собеседника, он был склонен к многозначительному молчанию, во время которого он, слегка покачиваясь, держался за лацканы своего пиджака или рисовал профили Наполеона и Шелли, своей античной красотой каким-то странным образом походившие на его собственный. Некоторые утверждали, что Перкинс застенчив, другие же не соглашались, заявляя, что застенчивый человек не станет сидеть в

вашем присутствии, словно набрав в рот воды. Правда, иногда он мог промямлить несколько фраз, чтобы хоть как-то разрядить неловкое молчание. В Перкинсе редкостно сочетались пуританин и художник, человек непоколебимой твердости и теплоты, пронизательности и воображения.

Он любил говорить, что лучшее в человеке — это оставшийся в нем ребенок. И Томас Вулф<sup>[85]</sup> вспоминал, что в глубине его голубых глаз, «полных какого-то странного рассеянного света», где, казалось, «колыхалась отдаленная дымка моря», скрывался вечный мальчишка, романтический искатель приключений. Один из его коллег отмечал в нем главное качество редактора: «Он всей душой стремился отыскать подлинно уникальное творение, всплеск глубокого поэтического дара, способного оживить образ или обстановку, и обнаружить неподдельный талант». Тяготевший в своих литературных вкусах к современности и эксперименту, он был, все же, достаточно старомоден, чтобы продолжать считать честь, преданность и силу духа важными понятиями, а осознание человеком этого с первых дней жизни — ступенью на пути к становлению большого писателя, если под этим не подразумевать только технику писательского мастерства. Если же одним из свойств таланта является инстинкт или способность находить нужного помощника в нужное время, то встреча Фицджеральда с Перкинсом, безусловно, была именно тем случаем.

Присутствие Фицджеральда в издательстве «Скрибнерс», жизнь в котором своей размеренностью напоминала атмосферу прошлого века, — явление столь же экзотическое, как и издание им здесь своих произведений. Когда Фицджеральд с кругами под глазами от бессонной ночи, проведенной за письменным столом или в шумной компании, вваливался в рабочие помещения «Скрибнерс», жизнь здесь заметно оживлялась. Внимательный и приветливый ко всем, он для каждого припасал улыбку или шутку. На стол склонившегося над рукописью редактора могла вдруг плюхнуться шляпа: это проходивший по коридору Фицджеральд перебросил ее через перегородку. Таков был один из его способов приветствовать знакомых.

Иногда он заглядывал в журнал «Ярмарка тщеславия», где всюю хозяйничали молодые редакторы Эдмунд Уилсон и Джон Пил Бишоп. Джон, учтивый и важный, говорил немного, словно ему мешала находящаяся во рту горячая картофелина. Эдмунд, рассеянный и отрешенный, мог выразить удивление при упоминании о происшествии, известном всем и каждому. В минуты отдыха они говорили между собой по-латыни или затевали игру под названием «похищение сабинянок»,

которая состояла в том, что они подхватывали секретаршу и сажали ее на высокий ящик с каталогами. Уилсон и Бишоп служили связующим звеном между Фицджеральдом и его духовным прошлым, Принстоном, который он вспоминал с нежностью. Они взирали на его успехи со смешанным чувством удивления, восхищения и неверия, и даже — Уилсон, который был более честолюбив, чем Бишоп, — с примесью зависти.

Столь стремительный взлет Фицджеральда к славе для Уилсона и Бишопа явился полной неожиданностью. В Принстоне они воспринимали друг друга всерьез, но Фицджеральду отводили место на периферии того, что считали для себя смыслом жизни. Даже теперь они полагали — и это их мнение разделяли многие, — что его успех в «Сатердей ивнинг пост» хоть и закономерен, но отдает дешевкой, да и не продлится долго. Подтрунивая над Фицджеральдом, они составили перечень его личных вещей, которые «Скрибнерс» в целях рекламы могло бы выставить у себя в витринах:

— Сборник стихов Руперта Брука (позаимствованный у Джона Пила Бишопа), из которого взято название романа («По эту сторону рая»).

— Заграничная шляпа, которую нигде за границей не носят.

— Копия «Зловещей улицы» (позаимствованная у Эдмунда Уилсона), послужившая источником вдохновения для романа «По эту сторону рая».

— Полный комплект библиотеки Фицджеральда, состоящей из семи книг, из которых одна — его записная книжка и две другие — вырезки из газет.

— Фотография команды регбистов школы Ньюмена, на которой Фицджеральд изображен нападающим (с подписью директора, удостоверяющей ее подлинность).

— Первый костюм от «Братьев Брукс», который носил Фицджеральд.

— Зеркало.

Хотя Фицджеральд никогда не был так близок с Уилсоном, как с Бишопом, Эдмунд, впоследствии крупный критик, окажет на него заметное влияние. Уже в то время Уилсон обладал твердыми эстетическими взглядами, а его эссе и критические обзоры свидетельствовали о зрелом таланте и мастерстве. Многие прочили ему блестящую карьеру в каком-нибудь престижном университете, однако он, следуя здравому инстинкту, поборол присущую ему замкнутость и встал на более трудный для него путь журналистики.

В глубине души, Фицджеральд и Уилсон остались противоположными сторонами одной и той же медали, но каждый из них что-то почерпнул для себя из этой противоположности. Хотя Уилсон и отдавал должное

романтизму (его первый сборник критических статей «Замок Аксея» будет посвящен символистам, которых он рассматривал как более изоциренных романтиков), сам он со свойственным ему непоколебимым рационализмом, неумной любознательностью и трезвым равновесием ума и стилия пребывал в XVIII веке. В нем чувствовалось что-то от неукротимой энергии французских энциклопедистов, свойственной им готовности вступить в борьбу за дело или идею, да и его многословная и нравоучительная манера письма принадлежала веку прозы. «Твоя проза мне больше по душе, чем стихи, — подмечал в нем эту особенность Фицджеральд, — порой кажется, что вся твоя поэзия берет начало за пределами романтического периода или предшествует ему, даже когда ты стремишься перебить в ней самое глубокое лирическое настроение». В отличие от Уилсона Фицджеральд, напротив, принадлежал к романтикам — Байрону, Китсу и Шелли, и черты каждого из них, в какой-то степени, были ему присущи (порыв Байрона, мягкость Шелли, стремление к художественному совершенству Китса). Уилсону нравилось иногда обезоруживать Фицджеральда, разбивая в пух и прах его мечты и иллюзии с позиций здравого смысла. И все же Уилсон, тоже горевший желанием писать беллетристику, мог бы многому поучиться у Фицджеральда, если этому вообще можно научиться. Беда Уилсона состояла в том, что он не умел окунуться в гущу жизни и впитать ее в себя. Он понимал книги лучше, чем людей, которые не очень-то интересовали его, если только они не были художниками или эрудитами. Даже будучи журналистом, он оставался, в сущности, ученым, блестящим, но сторонним наблюдателем, усиленно старавшимся понять тот или иной предмет, который в силу его темперамента, казалось, был для него недоступен. На вечеринках Фицджеральд находил о чем поговорить с каждым и, как правило, дурачился. Уилсон же, примостившись в уголке, всегда заводил серьезный разговор с кем-нибудь одним. Он все еще оставался таким же стеснительным и, говоря с вами, не решался даже взглянуть на вас, но стоило вам отвернуться, и вы тут же ощущали на себе пристальный взгляд его цепких и пронзительных карих глаз.

Впрочем, одновременно Уилсон мог проявить смелость. Он уверовал в свои достоинства, знал себе цену. В его ранних критических отзывах о Фицджеральде проскальзывали покровительственные нотки, он говорил как учитель, который недоволен способным, но отбившимся от рук учеником, не оправдавшим возлагавшихся на него надежд. Хотя Фицджеральд — «свежий талант», его роман «По эту сторону рая» — «незрелое», грешащее многими недостатками и почти лишенное



интеллектуального содержания произведение. Оно не только в высшей степени подражательно, но в лице Комптона Маккензи, которому он подражает, Фицджеральд выбрал себе худший образец. Роман полон огрехов и изъянов, которые простительны, кроме самого главного — роману недостает жизненной правды. Похвалы Уилсона, если они вообще раздавались, скупы. Он имел склонность выявлять недочеты более, нежели достоинства. И хотя он не в полной мере воздал должное свежести и обаянию романа и не оценил значение его эмоционального настроения для того времени, он тонко подметил его слабости, и Фицджеральд был благодарен ему за это. «Статья Уилсона обо мне в мартовском номере «Букмен» превосходна, — отзывался о ней Фицджеральд в письме к Перкинсу. — В ней отнюдь не дешевые дифирамбы в мой адрес. Это первый серьезный разбор моих произведений умным и тонким человеком, и я признателен ему за это — за колкости и все остальное».

Уилсон, конечно, был еще только начинающим критиком. Среди более маститых ценителей литературы Фицджеральд с почтением взирал на Генри Луиса Менкена<sup>[86]</sup> и Джорджа Джина Нэтэна. Соредакторы «Смарт сет», первого журнала, который опубликовал его произведения, Менкен и Нэтэн слыли низвергателями пуританства и «благородных традиций» в американской литературе. Нэтэн, циник и денди с темными глазами и чувственным ртом, создал себе имя театральными обзорами. Иногда он брал Фицджеральда с собой на премьеры, всегда собиравшие скопище звезд. Летом он навещал Фицджеральдов в Вестпорте и, забавы ради, изображал страсть к Зельде, изливая ее в пламенных посланиях.

В Вестпорте у Фицджеральдов был маленького роста слуга-японец по имени Тана. Нэтэн шутливо утверждал, что тот немецкий шпион. Он посылал Тане открытки на имя «лейтенанта Эмиля Танненбаума», в которых поручал ему обследовать подвал дома Фицджеральдов и сообщить шифром 24-B, достаточно ли прочен пол, чтобы выдержать в случае войны пушку весом в две тонны. Последующие послания были написаны иероглифами. Фицджеральд всегда с серьезным видом передавал их слуге. Спустя несколько часов он заставал его на кухне, ломающим голову над их разгадкой. Тана утверждал, что это не японские иероглифы и что вообще в них нет ничего японского. Менкен тоже вносил в эту переписку свою лепту. «Я послал Танненбауму пять копий «Берлинер тагеблат», прилепив к каждому номеру по немецкой марке, — информировал он Нэтэна. — Дай мне знать, убит ли Фицджеральд после налета на его дом членов Американского легиона Вестпорта».

Фицджеральд приходил в восторг от Менкена, этого тевтонского

голубоглазого bon vivant,<sup>[87]</sup> с быстрым взглядом из-под сардонически изогнутых бровей, любителя пива, морских яств, сигар «Дядюшка Вилли» и скабрзных разговоров. Упоение, с которым Менкен взирал на многовековую человеческую глупость, было поистине заразительным. Он поносил государственные порядки и верхушки, будь то «святое духовенство», ученые, демократия или сухой закон, и это находило отклик в душе Фицджеральда.

В апреле 1921 года, когда роман был уже закончен, а Зельда ждала ребенка, Фицджеральды решили уехать за границу. Они устали от нью-йоркской квартиры с застоявшимися запахами винных паров, табачного дыма, открытых чемоданов, от многочисленных гостей и вечных мешков белья для стирки. Тем более что имелись все основания полагать, что и НьюЙорк начал уставать от них.

В Европу плыли на «Аквитании». На пароходе Фицджеральд просмотрел список пассажиров, ища в нем знакомых. Дойдя до фамилии «Г-н и г-жа Фрэнсис С. Фицджеральд», он рядом сделал пометку: «Ш-ш-ш! Едут инкогнито». Зельда написала Максу Перкинсу, что главной причиной поездки, по-видимому, является стремление «украдкой и затаив дыхание взглянуть на Вестминстерское аббатство и односложно отвечать на вопросы невыносимых соседей за столом. Некоторым людям, наверное, доставляет удовольствие думать, что в каждом из нас что-то есть, стоит лишь это что-то извлечь».

Первую остановку они сделали в Лондоне. Роман «По эту сторону рая», одиннадцатое издание которого только что вышло в Америке, готовился к печати и в Англии. Фицджеральд, желавший произвести приятное впечатление на английскую публику, учел предупреждение Шейна Лесли о том, что английские интеллигенты не увлекаются спиртным. Когда Голсуорси пригласил Фицджеральдов вместе с Сент-Джоном Эрвином<sup>[88]</sup> на обед, Скотт, обращаясь к хозяину, назвал Голсуорси одним из трех живущих писателей, которые восхищают его более всех (двумя другими были Конрад<sup>[89]</sup> и Анатолий Франс). В последствии, отвечая на вопрос, как реагировал на этот комплимент Голсуорси, Скотт сказал: «Не думаю, чтобы это ему очень понравилось. Он знал, что не дорос до них».

Оксфорд показался Фицджеральду таким же привлекательным, каким он представлял его себе по «Зловещей улице» Комптона Маккензи. Зельда привела в восторг Шейна рассказом о «ратуше с разгуливающими вокруг нее краснокожими» — имелся в виду Букингемский дворец и караул в мундирах алого цвета. Зельда осталась в памяти Лесли как «игрушка,

маленькая гейша, милое создание». Он совершил с ними прогулку по расположенным вдоль Темзы трущобам Лаймхаус и Уоппинг и показал им место, где Джек Потрошитель расправлялся со своими жертвами. Прогулка произвела на них необычайное впечатление. В целом же, осмотр достопримечательностей не был их самым любимым времяпровождением. Их влекли к себе люди. Поэтому пребывание во Франции оказалось мучительным — они совсем не знали языка. В Париже они целый час просидели у дома Анатоля Франса в надежде хоть глазком взглянуть на литературного метра, но он так и не появился. Вскоре им предложили покинуть отель, потому что Зельда имела обыкновение попридерживать лифт на их этаже, чтобы он был к ее услугам, когда она, закончив туалет, отправлялась к кому-нибудь на обед. После стремительного турне по Италии, которая им, с их американским вкусом, показалась еще менее привлекательной, чем Франция, они в конце июня вернулись в Лондон. Скотт уже было вознамерился осесть в Англии, но быстро передумал: причиной тому, по-видимому, были не совсем лестные отзывы об опубликованном к этому времени романе.

После возвращения в Америку Фицджеральды направились в Монтгомери, планируя приобрести домишко и осесть там, но в последнюю минуту решили, что будет лучше, если ребенок родится в Сент-Поле.

## ГЛАВА IX

Фицджеральд вернулся в Сент-Пол с триумфом. Над его головой сиял ореол славы, и безудержное ликование переполняло его. Подойдя как-то на танцах к пожилому писателю Чарлзу Фландрау, Фицджеральд не мог удержать выплескивавшихся наружу чувств: «Чарли, если бы ты только знал, как прекрасно быть молодым, красивым и знаменитым». Во время интервью для «Сент-Пол дейли ньюс» у озера Уайт-Бэр, где Фицджеральды сняли домик, он говорил с журналистами, сидя в пижаме. Его «голубые глаза взирали свысока», а «греческий нос придавал ему привлекательное самодовольство», с которым он и изрекал свои взгляды на американскую литературу. Менкен — единственный авторитет, к которому он питает глубокое уважение; «Несмышлениш» Флойда Делла — банальность дальше некуда; Карл Сэндберг,<sup>[90]</sup> как поэт, хуже, чем Чарли Чаплин. Скотт не преминул тут же поведать журналистам, что задумал три романа. Всем своим видом он внушал заразительное жизнелюбие, хотя в тот момент уже находился на грани отчаяния.

Пять месяцев праздности подействовали на него угнетающе. Обратной стороной его творческого таланта являлся губительный рок, который терзал его и других. «Мне хотелось бы разделить компанию с приятными собеседниками, — изливал он душу Перкинсу, — и забыться за бутылкой вина, но я в одинаковой степени устал от вина, литературы и жизни. Если бы не Зельда, я бы исчез куда-нибудь годика на три: устроился бы моряком на судно или придумал бы что-нибудь еще, чтобы обрести твердость духа. Мне ужасно надоела эта дряблая полуинтеллигентская мягкотелость, которая разъедает меня, как и большинство людей моего поколения».

С приближением осени они переехали в Сент-Пол, где сняли домик на Гудрич-авеню. После рождения ребенка 26 октября Фицджеральд послал родителям Зельды телеграмму: «ЛИЛИАН ГИШ В ТРАУРЕ. КОНСТАНЦИИ ТЭЛМЕДЖ ПОРА УХОДИТЬ СО СЦЕНЫ. ПОЯВИЛАСЬ ВТОРАЯ МЭРИ ПИКФОРД».<sup>[91]</sup> Скотт оказался в числе самых заботливых отцов, хотя он нигде не запечатлел произнесенных Зельдой слов после того, как она пришла в себя от наркоза: «О боже, милый, я же совсем пьяна. Ну что, Марк Твен, разве она не прелесть! Ой, она икает. Надеюсь, она станет хорошенькой и дурой, маленькой хорошенькой дурочкой» (правда, последнюю мысль Скотт вложит в уста любимой Гэтсби девушки).

В Сент-Поле Фицджеральд впервые после женитьбы встретился с родителями, и его критическое отношение к ним приняло еще более острые формы. Мать, в его представлении, осталась такой же гротескной, как и раньше, а отец — с бородкой клинышком и в своих, как всегда, безукоризненных костюмах и жилетке, отделанной белым кантом, — таким же скучным и пустым. Родители являли собой полную друг другу противоположность и в этой своей противоположности были достойным предметом для исследования.

Изображая позже отца привлекательным джентльменом, так ничего и не добившись в жизни, Фицджеральд стремился создать у окружающих впечатление о матери, как об энергичной женщине, якобы содержавшей постояльцев и мывшей посуду. Ему нравилось драматизировать черты своего прошлого, которые, правда, в значительной степени были плодом его вымысла.

После только что пережитых бурных событий Сент-Пол показался скучнейшим провинциальным городишком. Викторианское великолепие Саммит-авеню уже не производило впечатления чего-то величественного, а выглядело просто тяжеловесным. Он с тоской вспоминал о жизни в Нью-Йорке, где линия юбок уже подбиралась к коленям, и «Мейсиз» предлагал сигаретницы, которые на самом деле оказывались винными фляжками. Желание поразить и позабавить, выбить жизнь из привычной колеи и расцветить ее красками неестественного никогда не покидало Фицджеральда. Он использовал для этого любой материал, находящийся у него под рукой. Встретившись как-то со старой знакомой Маргарет Армстронг и вспомнив с ней былые годы — Фицджеральд испытывал сильную ностальгию в отношении детских связей, — он направился побриться в парикмахерскую, расположенную в соседнем квартале. Когда спустя некоторое время Маргарет проходила мимо окон парикмахерской, Фицджеральд, сидевший в кресле с повязанной вокруг шеи простыней и покрытым мыльной пеной лицом, вскочил и, как был, рванулся на улицу, чтобы выразить радость по поводу этой «неожиданной» встречи: «Маргарет, вот так сюрприз! Как и рад тебя видеть!» — словно он не виделся с ней целую вечность. Частично, такое поведение объяснялось желанием произвести впечатление на окружающих, но в какой-то степени оно было проявлением его творческой природы. «Описание из ряда вон выходящего, как если бы оно являлось обыденным, — заметил как-то он, — приоткроет вам дорогу к художественному мастерству».

Стремясь внести в свою жизнь элемент самодисциплины, Фицджеральд снял комнату в центре города, где писал жестко

установленное для себя количество страниц, после чего шел отдохнуть в книжный магазин «Кильмарнок» на пересечении улиц — Четвертой и Миннесоты. Через угловую дверь он входил в похожую на бильярдный зал комнату, темную и слегка грязноватую, по стенам которой до самого потолка тянулись полки с книгами. Новые поступления, главным образом беллетристика, раскладывались на двух стоящих в центре столах. Бросив на них мимолетный взгляд, Фицджеральд следовал в расположенную сзади комнатку с камином и удобными креслами. Здесь всегда велись разговоры на интеллектуальные темы. Один из владельцев книжного магазина только что вернулся из Англии, привезя с собой тайком несколько экземпляров романа Джеймса Джойса «Уллис», который в то время произвел сенсацию.

Его совладелец, Том Бойд, вел литературный раздел в «Сент-Пол дейли ньюс», которая поддерживала интерес местной читающей публики к Фицджеральду. Красивый, энергичный, легко возбудимый, Бойд был на два года моложе Скотта. Его интеллекту не доставало отточенности — он закончил лишь среднюю школу. В прошлом морской пехотинец, отличившийся в боях, он вскоре напишет неплохой роман о войне, который издаст «Скрибнерс» по рекомендации Фицджеральда.

Время от времени в книжный магазин заглядывали довольно известные личности. Однажды Фицджеральд повстречал в нем Джозефа Гергесхаймера,<sup>[92]</sup> приближавшегося в то время к зениту славы.

— Господин Гергесхаймер, — обратился к нему Фицджеральд, — жизнь писателя полна горечи, разочарований и отчаяния. Не думаете ли вы, что было бы лучше родиться с талантом, ну, скажем, плотника?

Глазки Гергесхаймера заблестели из-под очков с толстой оправой.

— Упаси боже! — воскликнул он. — Я много лет прожил в горах Виргинии, питаюсь мамалыгой и коровьим горохом и печатаю на поломанной машинке, прежде чем мне удалось продать хоть одну строчку. Так что не говорите мне об отчаянии!

Магазин постоянно посещал священник Джо Бэррон, который оставался близким другом Фицджеральда, несмотря на полный отход Скотта от церкви после женитьбы. Бэррон любил говорить, что церковь, слава богу, избавилась от Фицджеральда, втайне все же надеясь, что когда-нибудь интеллект приведет Скотта обратно в её лоно. Бэррон любил Зельду, хотя они и расходились во многом. Однажды вечером она стала утверждать, что большинство людей, особенно писатели, слишком серьезно относятся к деньгам. Бэррон попытался опровергнуть ее.

— Послушайте, Зельда. Положим, завтра произведения Скотта

перестали читать, а вы увидели платье, которое вам ужасно захотелось иметь, и, чтобы приобрести его, вы должны истратить последние сто долларов. Как бы вы поступили?

— Купила бы платье, — не задумываясь, выпалила Зельда.

В течение осени и зимы Фицджеральд подчищал гранки «Прекрасных, но обреченных», куда после критики Зельды внес некоторые изменения. Она утверждала, например, что его новая концовка — сплошное морализирование, и ее следует изъять. Фицджеральд, не решаясь пойти на это, обратился за советом к Перкинсу. Тот ответил, что с художественной точки зрения Зельда права. Поэтому концовка приняла ее нынешнюю форму.

Фицджеральд был недоволен и картинкой на суперобложке. «Я молил бога, чтобы Хилл нарисовал привлекательную девушку, — жаловался Фицджеральд Перкинсу. — И надеялся также, что если на обложке будет мужчина, то Холл изобразит его без галстука». Когда же Скотт увидел рисунок, его худшие опасения оправдались. Крайне чувствительный ко всему, Фицджеральд болезненно относился к мнению о нем публики. «Девушка, конечно, очаровательна, — сообщал он далее Перкинсу, — она чем-то похожа на Зельду, но юноша, как мне кажется, — никудашная копия меня самого... Мне трудно понять, как мог Хилл с его талантом и вниманием к деталям изобразить героя, внешний вид которого полностью расходится с образом, так тщательно выписанным в романе... Энтони почти шести футов ростом. На иллюстрации же он, с его уродливыми короткими ножками, выглядит одинакового роста с Глорией. У Энтони темные волосы, а этот бармен на обложке светловолос. Он походит на низкорослого бандита, впервые надевшего фрак. Все, с кем бы я ни разговаривал, согласны со мной, и я немного расстроен».

«Прекрасные, но обреченные», опубликованные в марте 1922 года, принесли Фицджеральду похвалы тех, чьим мнением он дорожил. Менкен хвалил его за поиски нового вместо переписывания старого. Нэтэн охарактеризовал роман как «весьма солидное, первоклассное произведение». Эдмунд Уилсон, читавший роман в рукописи и убедивший Фицджеральда сгладить излишне резкие места, рассматривал его как значительный прогресс по сравнению с «По эту сторону рая». Фицджеральд метил высоко — стать лучшим романистом своего поколения. «Ты не можешь уколоть меня этим романом, — отвечал он на критику Бишопа, — хотя я и в обиде на тебя за статью в «Балтимор», где ты поместил меня в мои 25 лет между Комптоном Маккензи, написавшим за всю свою жизнь два с половиной добротных, но не прекрасных романа, и

Таркингтоном, который, хотя и не лишен таланта, обладает умом ребенка. Я хочу этим сказать, что в моем возрасте они не создали ничего стоящего».

Менкен оказался прав. Фицджеральд, обладавший инстинктом, который отличает художника от литературного поденщика, действительно попытался создать нечто новое. «Прекрасные, но обреченные» — это осуждение взглядов молодого поколения, тех взглядов, что принесли славу ему самому. Глория и Энтони Пэч, молодая, блистательная, эмансипированная пара, живут в свое удовольствие, подобно представителям бунтующей молодежи, а кончают жизнь безрассудно и печально. Мрачный тон повествования оттолкнул многих читателей и навеял грустные мысли о личной жизни самого автора. Однако Глория и Энтони не были литературными двойниками Скотта и Зельды. «Глория гораздо обыденнее и грубее, чем твоя мать, — признавался Скотт дочери много лет спустя. — Я могу утверждать, что между ними очень мало сходства, если не считать внешней красоты и отдельных выражений, которые Зельда употребляла. Конечно, я использовал много мелких деталей, позаимствованных из раннего периода нашей супружеской жизни. Однако в романе акценты полностью смещены. Наша жизнь была гораздо содержательнее, чем жизнь Глории и Энтони».

Но схожесть, так или иначе, все же остается. «Прекрасные, но обреченные» — отражение того, что Фицджеральд уже шел к мысли о напрасно растрчиваемых жизнях. Читая книгу сегодня, мы ощущаем, как его удивительное предвидение вносит элемент горечи в яркое повествование. Броский эпиграф к роману — «Место победителя среди трофеев» — мог бы послужить эпиграфом ко всей жизни Фицджеральда. Строки в конце романа об утраченной красоте Глории и превращении Энтони в алкоголика звучат пророчески. После ссоры, когда Энтони подчиняет любимую своей воле, он размышляет над тем, «была ли бы Глория без ее заносчивости, свободолюбия, чистой веры и бесстрашия девушкой его мечты — лучезарной женщиной, очарование и прелесть которой вытекали из ее невыразимо обезоруживающей способности оставаться самой собой». Глория оправляется от пережитого, но что, если ее сломленный дух и есть причина психического заболевания? Как много из того, что Скотту нравилось в Зельде, опиралось на трепетное восприятие ею жизни!

Хотя «Прекрасные, но обреченные» — творение более зрелое, чем «По эту сторону рая», все же в некоторые отношения оно уступало его первому роману. «По эту сторону рая» явилось знаменем времени и, как картина студенческой жизни в Америке, оказалось непревзойденным.



Скотт однажды признался Шейну Лесли, что он писал «По эту сторону рая», как Стивенсон свой «Остров сокровищ», — чтобы воплотить в жизнь мечту о создании романа определенной формы. В «Прекрасных, но обреченных» местами ощущались изящество, порыв, глубина лиризма души Фицджеральда. И все же в сравнении с предыдущим детищем это при всей его иронии и даже сарказме казалось несколько вымученным.

В марте Фицджеральды отправились в НьюЙорк, чтобы отпраздновать там выход в свет романа. По возвращении в Сент-Пол Скотт извинялся перед Уилсоном: «Мне очень жаль, что наши встречи в Нью-Йорке были столь мимолетны. Вначале я намеревался обстоятельно поговорить с тобой, но тут начались нескончаемые пирушки, и я, кажется, не смог протрезветь настолько, чтобы вынести состояние трезвости. Поездка в целом оказалась неудачной».

Работая над сборником коротких рассказом («Скрибнерс» всегда сопровождало издание романа выпуском сборника рассказов его автора), Фицджеральд находил время писать для молодежной лиги в «Сент-Пол шоу», причем делал это с таким изяществом и такой легкостью, каких было трудно ожидать от столь известного писателя. Всей семьей они провели лето в яхт-клубе «Уайт-Бор», где Фицджеральд обдумывал новый роман, действие которого должно было происходить в 1885 году на Среднем Западе и в Нью-Йорке. Но прежде чем приступить к роману, он хотел располагать достаточными средствами, чтобы не отвлекаться от задуманной работы. Гонорар за четыре рассказа, написанные им после возвращения в Сент-Пол, не покрывал всех расходов, и «Скрибнерс» пришлось выдать ему аванс в размере 5643 долларов в счет «Прекрасных, но обреченных». Но роман не оправдал возложенных на него надежд: распродали всего 43 тысячи экземпляров вместо 60 тысяч, как ожидал Фицджеральд. За аналогичный период разошлось 44 тысячи экземпляров «По эту сторону рая» — солидный, хотя и не столь уж внушительный спрос, если учесть возникший вокруг книги ажиотаж.

В июле Фицджеральду предложили создать сценарий по роману «По эту сторону рая» и вместе с Зельдой сняться в главных ролях. После некоторого раздумья и к великому облегчению Перкинса это предложение он отклонил, Фицджеральд сильно рассчитывал на написанную им пьесу, которую называл «верной золотой жилой» и предполагал поставить до переезда осенью в НьюЙорк. К этому времени Сент-Пол им обоим ужасно надоел.

Между тем у них рос прелестный ребенок, ставший объектом их обожания. «Мы постоянно тешим ее очаровательные глазки золотыми

безделушками в надежде, что она выйдет замуж за миллионера», — умилялся Фицджеральд.

В середине сентября Фицджеральды перебрались в НьюЙорк и поселились в отеле «Плаза». В свободное от поисков дома в пригородах время Скотт писал рассказ «Зимние мечты», который он позднее охарактеризовал как «своего рода первый набросок идеи «Гэтсби», или занимался делами, связанными с постановкой пьесы. Скотт и Зельда вели себя как неискоренимые трезвенники, избегая соблазнов ни на минуту не затихавшей вакханалии Нью-Йорка.

В начале октября они сняли дом 6 по Гейтуэй-драйв в местечке Грейт-Нек Эстейтс на Лонг-Айленде. Поскольку Грейт-Нек находился от Бродвея в полчаса езды на поезде, в последнее время здесь стали селиться актеры, сценаристы, режиссеры, среди которых были и знаменитости — Лилиан Рассел, Джордж Коэн и даже Зигфельд.<sup>[93]</sup> Их присутствие сулило веселую компанию. Фицджеральды, наняв двух слуг для ухода за домом, окунулись в бурный круговорот застолий.

Об их жизни можно судить по отрывкам из писем Зельды супругам Кальманам — Сандре и Колли, — которых они знали еще по Сент-Полу.

*«13 октября 1922 года.* Вы действительно приезжаете в НьюЙорк, чтобы посмотреть финальные игры в регби? Если это так, вы обязательно должны заглянуть к нам в Грейт-Нек — уютное гнездышко, в каких ныне обитают Бэббиты.<sup>[94]</sup> Кажется, нам удалось, наконец, более-менее привести его в порядок. И сейчас, когда мы закупили уйму замысловатых ситечек и сбивателей для коктейлей, мы, кажется, вправе рассчитывать на ваше посещение...

*Начало ноября.* Теперь о погоде. Она просто чудо. Так что вы с Колли обязательно должны приехать и посмотреть финальные игры. Нет, вы только представьте себе: вы возвращаетесь через голубоватые пыльные сумерки обратно в НьюЙорк, а в воздухе стоит запах хризантем, какой-то гари и чего-то хмельного. После этого вообразите — Монмартр, театры...

*Конец ноября.* Какое-то время я ужасно злилась на вас за то, что вы не приехали, но, посмотрев игру, поняла разумность вашего решения. Игры были шикарны, но ужасно неинтересны. После игр мы облазили все клубы. Я почувствовала себя ужасной старухой в окружении сосунков. Мы пообедали в «Балтимор ланч», рестораничке, похожем на «Чайлдс», правда, не таком шикарном. Затем мы повезли наших подвыпивших и очень шумных друзей к добропорядочному пресвитерианцу по имени Агар. У него в доме в это время оказалась тьма деканов, проректоров,

профессорских дочек, и наши друзья, к неопишуемому ужасу и смятению присутствующих, пели и плясали для них.

5 января 1923 года. Надеюсь, вы славно отметили новогодние праздники. Мы проводили старый и встретили Новый год за тостами в одной скучнейшей компании, которую мне удалось растормошить тем, что я побросала шляпы всех присутствующих в похожий на чашу торшер... Жаль, что тебя не было рядом, чтобы помочь мне.

Июль. Скотт принялся за новый роман и живет как затворник, давший обет безбрачия. Он ужасно увлечен им и мысленно уже создал прекрасную легенду своей жизни, которая в какой-то степени напоминает старую басню о муравье и стрекозе. Я, конечно, выставлена в ней стрекозой».

Фицджеральды переехали в Грейт-Нек в надежде осесть там и зажить нормальной жизнью. Однако, хоть в доме и была прислуга, хозяйство велось из рук вон плохо. Как-то в интервью с журналистами Зельда призналась, что их завтраки и обеды представляют собой «безнадежно перемешавшиеся пиршества». Приглашенным на обед могли подать совсем не обеденные блюда или одних блюд оказывалось в избытке, а других не хватало на всех. Чувствовалось отсутствие здесь единого голоса: Скотт и Зельда давали противоречивые указания, и в результате ни одно из них не выполнялось.

Незабываемым оказался обед в честь Ребекки Уэст,<sup>[95]</sup> на который она так и не смогла попасть. Фицджеральд достал подушку, нарисовал на ней лицо, украсил ее огромной с перьями шляпой и положил на стул для почетной гостьи. В течение всего обеда он оскорблял чучело и насмехался над книгами не пришедшей писательницы.

Когда мальчик-посыльный позвонил, Фицджеральд подошел к двери и, не открывая ее, громко прокричал: «Мисс Уэст! В этом доме опоздавших не пускают! Мы не можем принять вас сейчас!» Ребекка Уэст, совершавшая лекционное турне по стране, получила приглашение на обед через третье лицо, но в последнюю минуту обнаружила, что не знает ни адреса Фицджеральда, ни даже названия города, где он живет. Когда они встретились позднее, они очаровали друг друга. Ребекка навсегда сохранила в памяти доброту и отзывчивость Скотта.

Любопытны вечеринки, проходившие в Грейт-Неке, которые, по-видимому, также легли в основу описаний пиршеств у Гэтсби. Их часто устраивал у себя известный спортсмен-журналист Герберт Бейард Своуп. На его крокетной площадке, освещаемой зажженными фарами, ставки иногда доходили до двух тысяч долларов. Радушием отличался и Джин Бак, правая рука Зигфельда. Интерьер его дома оформлял художник из театра

«Фоллиз», и потому гостиная в нем, по словам Ринга Ларднера,<sup>[96]</sup> напоминала «иллюминированную лампами чашу размером с йельский стадион». Фицджеральды тоже любили пустить пыль в глаза. Их обеды выглядели всегда помпезно, и во всем чувствовалось стремление чем-то поразить гостей. Они любили приглашать как можно больше людей, и поименитей. Они знали всех и каждого, иными словами, всех тех, кого известный карикатурист Ральф Бартон изобразил бы сидящими на премьере в партере. После одной из потасовок в их доме они развесили в рамках по всем комнатам правила, которые можно было назвать шутливыми лишь отчасти: «Просьба к гостям не ломать дверей в поисках спиртного, даже с разрешения хозяев» или «Гости, приехавшие в субботу, с почтением уведомляются, что приглашение остаться до понедельника, сделанное хозяевами дома рано утром в воскресенье, не следует принимать всерьез».

Фицджеральду нравилось щеголять излюбленными словечками. В Принстоне все вызывающее у него восторг было «сногшибательным». Теперь же ходовым словечком стало «цыпочки». Всех, кто ему импонировал, он называла «милыми» или «потрясающими цыпочками», а кого не жаловал, «ужасными» или «невыносимыми цыпками». На одну из вечеринок, устроенных Фицджеральдами, заглянула актриса Лоретта Тэйлор.<sup>[97]</sup> Стоило ей появиться на пороге, как Скотт поспешил навстречу, бросился на колени и произнес: «Боже, какая вы прелестная цыпочка!» Он проводил ее к дивану и, опустившись у ее ног, продолжал свои заклинания: «Моя милая, очаровательная цыпочка...»

Вернувшись домой, Лоретта Тэйлор вся в слезах кинулась к мужу, драматургу Хартли Мэннерсу:<sup>[98]</sup> «Если бы ты знал, Хартли, я только что была свидетелем рокового конца, гибели самой юности!»

Несмотря на свое гостеприимство, Фицджеральды не сошлись тесно почти ни с кем в Грейт-Неке. Их единственными друзьями стала чета Ларднеров. В течение года, когда Фицджеральд обдумывал «Гэтсби», и первых шести месяцев работы над романом самое большое влияние на него оказал Ринг Ларднер — воплощение вежливости и предупредительности. Правда, подобно Фицджеральду, он тоже любил разыгрывать людей, хотя и не всегда безобидно. Так, однажды они отобедали с карикатуристом Руби Гольдбергом, и сидели, разговаривая, за рюмкой вина, когда Руби стал порываться уйти, утверждая, что ему необходимо постричься. Тогда они втроем направились к знакомому парикмахеру, работавшему неподалеку. Тот уже собирался уходить и оставил им ключ, сказав, что они, если хотят,

могут постричь своего друга сами. Скотт с Ларднером уговорили Гольдберга сесть в кресло, в котором он сразу же заснул. Проснувшись, Гольдберг увидел, что его друзей и след простыл, а когда посмотрел в зеркало, то обнаружил, что его волосы выстрижены клочьями. Ему, конечно, было не до смеха. Тем более, что в тот вечер предстояло идти в гости. В другой раз Ларднер и Фицджеральд, притворившись пьяными, принялись плясать на лужайке перед домом, принадлежавшим компании «Даблдей», — они стремились привлечь внимание находившегося там Джозефа Конрада. Единственным человеком, чье внимание они привлекли, оказался слуга, который выдворил их с принадлежавшей издательству территории.

Между невоздержанными к спиртному людьми существует определенное родство душ. Это помогает объяснить дружбу таких на первый взгляд разных людей, какими были Ларднер и Фицджеральд: маленького, со светлыми волосами, открытого и общительного Фицджеральда и высокого, темного, замкнутого и мрачного Ларднера. Фицджеральд сравнивал лицо Ларднера с собором. Широкие скулы и матовый оттенок кожи делали его похожим на индейца, а тяжелые брови выглядели бы свирепыми, если бы не затаенная грусть в его больших темных гипнотических глазах. Нельзя было не гордиться дружбой с Ларднером, пользовавшимся такой широкой известностью и авторитетом. Не одну ночь Фицджеральд и Ларднер провели в разговорах, опустошая бутылку за бутылкой канадского пива или чего-нибудь покрепче, пока на рассвете Ринг, зевая и жмурясь от восходящего солнца, не произносил: «Дети, надо полагать, уже в школе, можно и домой податься».

Склонный подсмеиваться над собой, Ларднер считал себя репортером, а не литератором и с подозрением относился к критикам, которые на все лады расхваливали его. Его коньком были репортажи о спорте и искусстве. Он пробудил в Фицджеральде нечто неосязаемое, но бесценное — фейерверк остроумия, склонность к парадоксальности и ощущение безраздельной принадлежности к миру в целом. Со своей стороны, Фицджеральд помог Ларднеру собрать первую книгу его коротких рассказов, которую издал «Скрибнерс».

Но уже в то время Ларднером овладело чувство безысходности, не покидавшее его вплоть до смерти в 1933 году. Свою любовь к этому гордому, застенчивому, загадочному человеку Фицджеральд выразил в некрологе, который закончил словами: «Не надо погребальным пышнословием превращать его в того, кем он не был; лучше подойдем поближе и взглянемся в этот тонкий лик, изборожденный следами такой

тоски, которую, быть может, мы еще не готовы понять. Ринг не нашёл себе врагов, потому что он был добрым и подарил миллионам минуты облегчения и радости».

В Нью-Йорке Фицджеральд все еще считался молодым гением, так что одно упоминание его имени пробуждало интерес у публики. Когда он ударил одетого в штатское полицейского, который оскорбил Зельду в танцевальном зале «Вебстер», на следующий день в газете появился аншлаг «Фицджеральд сбил с ног полицейского по эту сторону рая». Но шумная слава и успех уже не удовлетворяли его. Сейчас, когда он имел и то и другое, он иногда задавал себе вопрос: «И это все?». Писательский труд, которым он должен был заниматься, чтобы содержать себя и семью, становился все более мучительным. Он чувствовал, что повторяет мотивы своих ранних вещей. Его терзало сознание того, что такой поверхностный рассказ, как «Славная девчонка», сработанный наспех в течение недели после рождения дочери и опубликованный в «Пост», принес 1500 долларов, в то время как «Алмазную гору», поистине художественное творение, которому он посвятил три недели вдохновенного труда, «Смарт сет» приобрел у него за 300 долларов.

Стремясь стряхнуть с себя путы «Пост» и следуя влечению к драматургии, он пишет пьесу «Недотепа, или Из президента в почтальоны» — едкую сатиру на окружающее общество. Клерка железнодорожной компании Джерри Фроста уговаривают выдвинуть свою кандидатуру и президенты. Второй акт, в котором Фрост воображает себя президентом, позволил Фицджеральду высмеять правительство Гардинга.<sup>[99]</sup> Третий акт завершается счастливой концовкой: Фрост становится тем, кем он мечтал стать всю жизнь, — почтальоном. Фицджеральд считал пьесу очень смешной. Он почему-то уверовал, что она сделает его богатым. Тем не менее, три режиссера отклонили пьесу, прежде чем Сэм Харрис согласился ее поставить. Премьера состоялась в Атлантик-Сити 20 ноября 1923 года. Фицджеральды отправились на первое представление вместе с Ларднерами и кинорежиссером Алленом Двоном. Среди разодетой в вечерние туалеты публики находился мэр Нью-Йорка Хилан. Первый акт прошел сносно. Второй сбил публику с толку, она начала зевать и большими группами покидать зрительный зал. «Это был, — вспоминал Фицджеральд, — колоссальный провал... Мне хотелось остановить представление, сказать, что произошла ошибка, но актеры стойко продолжали играть». Во время второго антракта Фицджеральд и Ларднер спросили Эрнеста Труэ, исполнявшего главную роль: «Ты собираешься остаться на третий акт?». Тот ответил утвердительно. «Не будь дураком, — рассмеялись они, — мы

тут в ресторанчике неподалеку встретили знакомого бармена», — и больше Труэ уже не видел их в зале.

После безуспешных попыток в течение недели подправить пьесу ее пришлось снять.

Продажа прав на постановку фильма «По эту сторону рая» за 10 тысяч долларов создала у Фицджеральда ложное чувство обеспеченности. В тот момент ему предстояло, уплатить неотложные долги на сумму 5 тысяч долларов. Фицджеральд вечно находился в стесненном финансовом положении, даже в первый год его успеха, когда доход удваивался с каждым месяцем, и он снисходительно поглядывал на миллионеров, проплывавших в своих роскошных лимузинах по Парк-авеню. В 1919 году его книги принесли ему 879 долларов, в 1920-м — 18850, в 1921-м — 19065, в 1922-м — 25 135 и в 1923-м — 28760 долларов. Из этих денег не был сэкономлен ни один цент, о капиталовложениях не могло идти и речи. Он оставался вечно должен своему агенту, потому что, вручая ему один рассказ, он привык брать аванс в счет другого, еще не написанного. «Скрибнерс» также баловало его крупными авансами. Письма к Перкинсу он подписывал «Вечный проситель» и предлагал вернуть деньги с процентами. Он никогда не мог жить по средствам, и куда уходили деньги, никому не было ведомо. Во время своего посещения Фицджеральдов подруга Зельды Элеонора Броудер заметила, что внутренние карманы дверей их двухместного «роллс-ройса» топорщились от набитых в них ассигнаций.

После провала пьесы у Скотта оставался лишь один выход. Он уединился в расположенную над гаражом большую пустую комнату с керосиновой печкой и появился на следующий день с рассказом на 7 тысяч слов. Ему потребовалось пять недель работы по двенадцать часов в сутки, чтобы «вновь подняться из ужасной нищеты до среднего класса», и еще несколько месяцев меньших усилий, чтобы получить возможность возобновить работу над «Великим Гэтсби». Между тем это физическое напряжение проявлялось в кашле, болях в желудке, раздражении кожи и бессоннице. «Я действительно трудился в ту зиму как проклятый, — вспоминал он много лет спустя, — но все впустую. Работа чуть не надорвала мое сердце и не разрушила мое железное тело».

Фицджеральд не оправдывал свою расточительность. Сурово осуждая себя, он сожалел об этом и компенсировал утраченное неистовым трудом. Никто не догадывался об усилиях, вложенных им даже в самые мелкие произведения. Некоторые утверждали, что его произведения отличаются простотой. Действительно, им свойственна эта черта. Но они кажутся

проще, чем на самом деле, благодаря колоссальному труду, вложенному в них, и времени, которое он потратил на то, чтобы написанное выглядело именно таким, каким он хотел его видеть.

Эксцентричные выходки Фицджеральдов в Грейт-Неке стали принимать болезненный характер. Если в первый год после свадьбы их похождения в Нью-Йорке рассматривались как веселые проделки, носившие отпечаток студенческих лет, то теперь их разгул вел к саморазрушению. Фицджеральд исчезал из города на двое-трое суток, а затем соседи находили его спящим на лужайке перед собственным домом. На званных обедах он мог залезть под стол, отрезать конец своего галстука ножом или есть суп вилкой. Однажды во время прогулки вместе с Перкинсом Фицджеральд нарочно загнал машину в пруд (ему показалось это забавным), и затем они с Зельдой, стоя по пояс в воде и смеясь, пытались вытолкнуть ее на берег.

Трудно сказать, кто из них был заводилой. Они дополняли один другого, словно джин и вермут в коктейле, подзадоривали друг друга, бросая вызов условностям и скуке. Перкинс сваливал всю вину за сумасбродства на Зельду, хотя, на самом деле, Скотт своей бесшабашностью превосходил ее. Гордыня Фицджеральда требовала, чтобы Зельда блистала во всем лучшем. Поэтому он неизменно покупал ей самые дорогие драгоценности, которые она в минуты гнева швыряла куда попало. Им обоим не хватало терпимости: всякий раз, когда им надо было остановиться, они начинали разжигать друг друга. Они относились к жизни не с презрением, а с какой-то шальной дерзостью, полные решимости творить, что им заблагорассудится, не задумываясь о последствиях. Им, безусловно, нужна была смена обстановки. Скотт жаловался, что нью-йоркские друзья превратили его дом в проходной двор, и что он устал от приписываемой ему роли певца эмансипированных девиц. Он унесет с собой атмосферу Лонг-Айленда — звездные ночи, роскошные особняки, открыточные пейзажи с видом на залив... Он отправится в Европу и останется там до тех пор, пока не создаст шедевр.

Для Зельды сняться с места не составляло большого труда. «Я ненавижу комнату без раскрытого чемодана, — любила повторять она, — иначе она начинает казаться мне затхлой».

В апреле Фицджеральды отплыли в Европу на пароходе «Миннуоска», планируя поселиться недалеко от Йера на Французской Ривьере.



## ГЛАВА X

Зельда писала Максу Перкинсу о необычайном путешествии через океан, во время которого их «неотступно преследовали изрядно приевшиеся мелодии, наигрываемые оркестром из чистокровных англичан». В Париже они обедали с Джоном Пилом Бишопом в дорогом ресторане, где оказалось не так-то легко заказать подходящее блюдо для Скотти. Поэтому Фицджеральд дал ей шнурок от своего ботинка и горсть монет, с которыми она и возилась под столом на полу, выложенном мелкими камешками. Наняв английскую няню, Фицджеральды направились в Йер, где, как продолжала Зельда в своем письме, «Скотт читает лишь жизнеописания Байрона и Шелли и проявляет самые романтические наклонности». Они жили в отеле, «окруженные инвалидами всех разновидностей, все же коренные жители страдают базедовой болезнью». Меню в ресторане отеля включало блюдо из козлятины — диковинки, которой они не переносили.

В начале июня Фицджеральды перебрались на Ривьеру, в Сан-Рафаэль, где сняли виллу «Мари» в роще из кипарисов и сосен. Скотт отрастил усы и взял в аренду крошечный «рено», в котором они исколесили все побережье. По утрам, после позднего возвращения из Сан-Рафаэля, детали которого они не всегда могли четко восстановить в памяти, они посылали маленькую Скотти в гараж посмотреть, в каком состоянии машина. Та возвращалась после своей вылазки и сообщала, что колеса наверху круглые, а внизу приплюснутые.

«Волны Средиземного моря подтачивают края нашей трясущейся в лихорадке цивилизации. На серых склонах холмов — средневековые башни, покрытые пылью зубчатые валы крепостей. Под сенью оливковых деревьев и кактусов древние стены замков спят, переплетенные бурно разросшейся жимолостью; маки на хрупких ножках залили кровавым цветом пешеходные дорожки. Виноградники подступили к самому подножью остроконечных скал, образовав подобие истершегося ковра. Баритон уставших средневековых колоколов равнодушно возвещает об отдохновении души. Над скалами безмолвно цветет лаванда. Яркое солнце слепит глаза».

Так Зельда вспоминала *mise en scene*<sup>[100]</sup> ее любовного увлечения.

Как и Скотт, она покинула Америку в поисках глубокого духовного перерождения, но, в отличие от него, ей не суждено было создать крупный

роман. В свои двадцать три, почти двадцать четыре года она, видимо, начала опасаться увядания своей красоты, а может быть, ей надоело быть всегда в тени славы мужа. Возможно, она хотела вызвать в нем ревность, или ей стало скучно, и соблазн минуты оказался слишком велик. Одной причиной нельзя объяснить ее увлечение французским морским летчиком Эдуардом Жосаном.

Фицджеральд привык к тому, что мужчины окружали Зельду вниманием. Весь погруженный в работу, он был рад, что она не отвлекала его, и сначала не подозревал о происходящем. В статье для какой-то газеты он в то время писал, как «через полчаса офицеры-летчики Рене и Бобби (Эдуард Жосан. — Э.Т.) придут на обед во всем белом... Затем с наступлением в саду мягких сумерек белый цвет их одежды станет едва различим, и, наконец, подобно розам и соловьям в сосновом бору, они растворятся и станут неотделимой частью красоты этой гордой и жизнерадостной земли». Зельда, описывая Жосана в своем романе «Сохрани для меня вальс», подчеркивала силу его гибкого с бронзовым отливом тела под белой парадной формой. Красивый, как и Фицджеральд, он в отличие от «холодного, как луна», Скотта «излучал тепло солнца». Жосан имел репутацию отчаянного пилота и, неоднократно подвергая себя опасности, совершал облет виллы «Мари» на низкой высоте.

Отношения Жосана и Зельды зашли далеко, прежде чем Фицджеральд узнал об этом. Он был потрясен. Он искренне верил в любовь, в ту симфонию чувств, какую могут ощущать два близких человека наперекор дешевому скептицизму мира. «Красноречие Фицджеральда по поводу супружеской верности, — вспоминал его друг, критик Эрнест Бойд, — тронуло меня до слез... Там, где большинство видело лишь половое влечение, он заглядывал в душу».

Фицджеральд настоял на разговоре начистоту и предъявил ультиматум, который вычеркнул из их жизни Жосана. Самые критические минуты Фицджеральды пережили 13 июля. В августе Скотт записал в своем дневнике: «Горечь постепенно проходит». Но этот эпизод образовал трещину в их отношениях, которая останется в его душе навсегда.

В письме Перкинсу он называл этот период «сносным летом». «Я изведал горькие минуты, но моя работа от этого не пострадала. Я, наконец, повзрослел». Возможно, что пережитое даже придало большую глубину его художественным образам. Разве в неугасающей любви Гэтсби к Дэйзи или в неистовой решимости Тома Бьюкенена вернуть жену не нашла отражение неумная ревность Фицджеральда? Как ни оценивать воздействие на него этого разлада, проза Фицджеральда заискрилась, как никогда раньше, а он

сам как художник заметно прибавил. В июле 1922 года еще до приезда в Грейт-Нек он говорил, что ему хотелось бы «создать что-нибудь новое, необычное, прекрасное, простое и в то же время композиционно ажурное». Из этого стремления к идеалу и родился «Великий Гэтсби».

«Лишь в последние четыре месяца, — признавался он Перкинсу перед самым отъездом из Америки, — я понял, как много — чуть ли не все — я растратил за три года после опубликования «Прекрасных, но обреченных». В эти последние четыре месяца я работал, не разгибая спины, но за два, более чем два года, я написал лишь одну пьесу, с полдюжины рассказов и три или четыре статьи — в среднем около ста слов в день. Проведи я это время за чтением, путешествием или каким-нибудь стоящим занятием, сохрани я хотя бы здоровье, все было бы иначе. Но я прожил их бесцельно, не в занятиях и не в размышлениях, а лишь в кутежах и скандалах...

Единственное, о чем я хотел бы просить тебя, — это проявить терпение сейчас, когда я работаю над романом, и поверить мне, что, наконец, или, по крайней мере, впервые за последние годы я делаю все, что в моих силах. Приобретя с десяток дурных привычек, я пытаюсь теперь избавиться от:

1. Лени.
2. Переваливания всех забот на Зельду (ужасная привычка; никакое дело не следует передавать никому до тех пор, пока оно не доведено до конца).
3. Реагировать на сплетни и сомнения в самом себе и т. д., и т. д., и т. д.

Сейчас я ощущаю в себе огромную силу, в некотором роде, гораздо большую, чем когда-либо ранее. Но она дает о себе знать лишь временами и нерешительно, потому что я слишком много говорил в прошлом и мало жил внутренней жизнью, которая позволила бы мне выработать в себе необходимую уверенность в собственных силах. Кроме того, я не знаю никого, кто бы в 27 лет растратил столько из своего личного опыта, как я. «Копперфильд» и «Пенденпис» были написаны писателями, которым перевалило за сорок, а ведь «По эту сторону рая» включает три книги и «Прекрасные, но обреченные» — две. Поэтому в моем новом романе я опираюсь не на дешевые фантазии, как во многих своих рассказах, а на воображение, порожденное простым и излучающим радость миром. Я продвигаюсь медленно и осторожно, испытывая порой большие мучения. Этот роман явится плодом сознательного художественного подхода и, в отличие от первых произведений, должен основываться на нем».

В 1934 году Фицджеральд признавался, что никогда в жизни он не стремился так поднять свой художественный критерий, как в те десять

месяцев работы над «Гэтсби». Прежде чем приступить к роману, он перечитал предисловие Конрада к его «Негру с «Нарцисса», а слова Конрада о том, что художественное произведение должно оправдывать себя в каждой строке, служили ему путеводной нитью.

В сентябре Ларднеры, совершавшие поездку по Европе, провели несколько дней с Фицджеральдами в Сан-Рафаэле. Но у Ринга открылся туберкулез, и почти все время, что они находились у Фицджеральдов, он пролежал на кушетке а ля Людовик XV в халате и подзадоривал Скотта своими неожиданными колкими замечаниями. Рукопись «Гэтсби» была направлена в «Скрибнерс» в конце октября. Перкинс ответил сразу же, высоко отозвавшись о романе — его жизненной правде, стиле, изяществе и оригинальности идеи. Позднее от него пришло письмо с подробным анализом недостатков. Так, Перкинс указывал на ослабление интереса к повествованию в шестой и седьмой главах и неоправданную расплывчатость происхождения Гэтсби (частично эта неясность была умышленной и объяснялась стремлением придать образу загадочность). В конце письма Перкинс отметил, что картина Долины Шлака и характеристика гостей Гэтсби достойны пера большого художника, а описание глаз доктора Т. Дж. Эклберга, зарисовки города, моря и неба несут на себе отпечаток вечности.

Радости Фицджеральда не было предела. Он вновь уверовал в себя, и впервые после провала «Недотепы», начинает думать о себе как о значительном писателе. Предсказывая распродажу 80 тысяч экземпляров, то есть вдвое больше, чем его предыдущие романы, он предупреждал Перкинса, что корректуры из-за сложных изменений, которые он намерен внести, будут самыми дорогостоящими со времени издания «Мадам Бовари». Одновременно он сообщал своему литературному агенту, что после трех-четырех коротких рассказов, которые он напишет, чтобы подправить свое финансовое положение, он приступит к новому роману. «Дни моего безделья ушли, в прошлое. Мне кажется, я растратил впустую 1922 и 1923 годы».

Зиму Фицджеральды решили провести в Риме. Особых на то причин не было, кроме разве что чтения Зельдой в то время Генри Джеймса. Как раз в тот момент в Риме «на аренах из папье-маше, которые были грандиознее и великолепнее настоящих», снимался фильм «Бен Гур» с Районом Наварро и Кармель Майерс в главных ролях. Скотт и Зельда шумно проводили время в компании актеров, пока однажды в потасовке с полицейским, вспыхнувшей из-за оплаты проезда в такси, Скотт не был избит, а затем брошен в тюрьму. Он как-то заметил, что ему, выходцу со

Среднего Запада Америки, совершенно чужды расовые предрассудки. Однако этот случай вызвал у него неприязнь к итальянцам, которая распространилась и на всю Италию. «Мертвая страна, — напал на нее, — где все, что можно было бы воплотить в словах и делах, уже давно воплощено. Поверить пустопорожней деятельности Муссолини — все равно, что уверовать в последнюю судорожную конвульсию трупа». В январе 1925 года они переезжают на Капри, но и здесь жизнь пришлось им не по душе. Они оба, особенно Зельда, в то время много болели. К тому же давала знать о себе горечь, оставшаяся от ее любовного увлечения. Тем не менее, Фицджеральд писал Бишопу, что они все еще глубоко любят друг друга и, по-видимому, единственная по-настоящему счастливая пара из всех, которые он знает.

В апреле они направились на север, планируя осесть в Париже. 10 апреля должен был выйти «Гэтсби», и по мере приближения этой даты Фицджеральда начинали охватывать сомнения. Что, если женщины не примут романа из-за отсутствия в нем сколько-нибудь крупного женского образа? Что, если он не понравится критикам потому, что в нем идет речь о богаче, а не о человеке низшего сословия, которые в то время вошли в моду? Он не был даже уверен в названии романа и 19 марта, посылает Перкинсу телеграмму: «ЧЕРТОВСКИ НРАВИТСЯ НАЗВАНИЕ ПОД СЕНЬЮ ТРЕХЦВЕТНОГО ФЛАГА. НАСКОЛЬКО ЗАДЕРЖИТСЯ ИЗДАНИЕ?» (Перкинс отговорил его от этой сумасбродной идеи). За день до издания Скотт запросил телеграммой последние новости о романе и тут же получил ответ: «ОТЗЫВЫ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ. НЕЯСНА КАРТИНА С ТИРАЖОМ».

Во всех отзывах — а они были великолепными, самыми лучшими, какие он когда-либо получал, — рецензенты сходились в одном: Фицджеральд из молодого талантливого писателя превратился в зрелого художника. Он получил письма от Уиллы Кэсер и Эдит Уортон, Гертруды Стейн,<sup>[101]</sup> которая писала, что Фицджеральд воссоздает современный ему мир подобно Теккерю, воплотившему окружающую его действительность в «Пендоннисе» и «Ярмарке тщеславия»; от Т.С. Элиота<sup>[102]</sup> (Фицджеральд считал его самым крупным из всех живших в то время поэтов), утверждавшего, что «Гэтсби» — первый шаг, который американская литература сделала после Генри Джеймса. Обедая со знакомым писателем, спустя несколько месяцев после получения письма от Элиота, Фицджеральд показал ему это письмо, заявив, что оно при нем совершенно случайно. Когда к ним подошел кто-то знакомый, Скотт, не смущаясь,

извлек его вторично.

«Великий Гэтсби» оказался действительно более глубоким произведением Фицджеральда, нежели два его первых романа. И герой его нес в себе меньше автобиографических черт, чем Эмори Блейн и Энтони Пэтч. Прообразом Гэтсби, как писал позднее Скотт, послужил знакомый фермер из Миннесоты, а точнее, — связанная с ним романтическая история, которая осталась у него в памяти. Задумав «Гэтсби», Фицджеральд тщательно изучает знакомых ему бутлеггеров. Финансовые сделки Гэтсби он, по-видимому, взял из дела Фуллера — Макги, им в 1922 году были заполнены буквально все газеты. Подлинным же Гэтсби, человеком с экзальтированным восприятием открывающихся в жизни перспектив, неиссякаемым оптимизмом и романтическим порывом, являлся, конечно же, сам Фицджеральд. В образе Гэтсби ему удалось облечь в конкретную поэтическую форму свое отношение к богатым, как к людям иной породы, занявшим лучшие места в партере жизни, представление о том, что их существование, так или иначе, но прекраснее и насыщеннее, чем обычных смертных. Отгороженные от остальных своим богатством, они казались ему существами почти королевских кровей. Снобизм Фицджеральда романтичен, слегка приукрашен и отчасти искупается творческим воображением, как это до известной степени присуще ирландцам. Эту же черту можно проследить у Китса и Оскара Уайльда.

Но Фицджеральд понимал также и моральную развращенность богатых и не доверял их могуществу. Этому меня научила вся моя жизнь, — подводил он итог на исходе дней, — бедный ребенок в городе богатых, пария в школе для детей избранных, бедный студент в клубе для состоятельных отпрысков в Принстоне... Я никогда не мог простить им того, что они богатые, и это наложило отпечаток на всю мою жизнь и мое творчество». Как-то он поведал другу, что «основная идея «Гэтсби» — развенчание несправедливости, при которой бедный молодой человек не может жениться на богатой девушке. Эта тема всплывает во мне снова и снова, потому что я пережил ее».

Любовь Гэтсби к Дэзи — не что иное, как окрашенная лиризмом Китса любовь Фицджеральда к Зельде, а до нее к Джиневре. За осязаемой и чувственной образностью романа стоит Китс, точно так же как за трагически нарастающей развязкой и озадаченным рассказчиком — Конрад. Удивительно, но «Гэтсби» написан под большим влиянием «Братьев Карамазовых», которые буквально ошеломили Скотта, прочитавшего роман в 1922 году. И все же то, что делало «Великого

«Гэтсби» столь проникновенным и незабываемым, не было им заимствовано ни у кого. «Гэтсби» свидетельствует о новых открывшихся в Фицджеральде глубинах — лиризма постижения мира. После «Прекрасных, но обреченных» его способность к восприятию претерпела таинственное изменение, что можно объяснить лишь его становлением как писателя. Он отказался от нарочитой изысканности, которую считал самым большим грехом своих ранних произведений. Теперь на смену ей пришел строгий реализм с налетом романтизма, тяготение к чуть теплящейся красоте, окрашенное в лирические тона сострадание. Фицджеральд обрел свой голос и, наконец, создал нечто подлинно уникальное.

В финансовом отношении роман не имел успеха. Продажа 22 тысяч экземпляров едва лишь покрыла аванс, предоставленный ему «Скрибнерс». Перкинс объяснял это тем, что владельцы книжных магазинов проявили к нему некоторое недоверие: «Гэтсби» казался им слишком коротким для романа; он выше понимания тех, на кого рассчитывал Фицджеральд, и описание многочисленных вечеринок и застольного веселья в какой-то мере создал о нем неправильное представление. В литературе утверждалось направление, жаловался Фицджеральд, изображать американского «человека с улицы», какого, как он считал, не существовало, кроме как в умах критиков и третьесортных романистов. «Когда-нибудь они будут кусать локти, помяни мои слова! — предсказывал он Перкинсу. — Этот роман, затраченные на него усилия, сам результат придали мне прочности. Сейчас я считаю себя выше любого молодого американского писателя без исключения».

Он предполагал написать несколько коротких рассказов, а затем приступить к новому роману, «действительно НОВОМУ по форме, идее, композиции — модели нашего века, поисками которой занимаются Джойс и Стейн, и которую не удалось найти Конраду». Если гонорары от этих рассказов помогут ему в будущем работать, не отвлекаясь на написание «мусора», он и дальше пойдет по стезе романиста. Если же ему не удастся осуществить свой замысел, он отправится в Голливуд и попытается найти применение своему таланту в киноделе. «Я не могу умерить наши запросы и не в силах выносить это безденежье. В конце концов, какой смысл пытаться стать художником, если ты не можешь создавать совершенного. В 1920 году у меня была возможность начать нормальную жизнь, но я упустил ее, и теперь мне приходится расплачиваться за это. Впрочем, может быть, в сорок я вновь смогу писать, не испытывая постоянной тревоги за будущее и не прерываясь».

В начале мая Фицджеральды прибыли в Париж и сняли квартиру на

пятом этаже старенького дома 14 на улице Тильзит, в одном квартале от площади Этуаль. Когда Фицджеральд доходил до угла улицы Ваграм, его взору представала Триумфальная арка.

За год до этого, осенью, Фицджеральд писал Перкинсу о молодом писателе по имени Эрнест Хемингуэй, рассказы которого, появлявшиеся в авангардистских журналах, вызывали сенсацию. «На твоём месте я бы немедля заглянул к нему, — советовал он Перкинсу. — Это настоящий художник». Вскоре после приезда в Париж Фицджеральд разыскал Хемингуэя в одном из часто посещаемых им кабачков на левом берегу Сены. Несмотря на различия буквально во всем, кроме их общих корней на Среднем Западе и страсти к писательскому ремеслу, они быстро стали друзьями. Университетом для Хемингуэя послужила его работа в газете Канзас-Сити. В восемнадцать лет он отправился в Италию на фронт водителем санитарного грузовика, где ему чуть не оторвало обе ноги австрийской миной, короткое время сражался в рядах итальянской армии. По возвращении в Америку он женился, но судьба снова занесла его в Европу, где он работал корреспондентом «Торонто стар», освещая, в частности, такие крупные события, как конференция в Лозанне<sup>[103]</sup> и греко-турецкая война. Прошедший школу войны и журналистики, он смотрел на мир по-иному, чем Фицджеральд, и вообще казался более зрелым, хотя был на три года моложе Скотта.

Хемингуэй был крупный, уверенно державшийся молодой человек с располагающими манерами, темной копной волос и короткими усами, детской улыбкой, обнажавшей крепкие зубы, и темными, по-охотничьи цепкими глазами. Он походил, порой, на дебошира, но в кафе на Монпарнасе, где был завсегдатаем, оттаивал и излучал приветливость.

Эрнест упивался жизнью: природа и мир спорта были его стихией, чем они никогда не являлись для воспитанного в тиши домашней обстановки Фицджеральда. Заядлый рыболов, Хемингуэй хорошо также ходил на лыжах и отменно боксировал. Неловко чувствующий себя на теннисном корте и бейсбольном поле, Эрнест исключительно легко передвигался на ринге, что не могло не вызывать удивления при взгляде на его крупную фигуру. Идя по улице в своем залатанном пальто и спортивных тапочках, он часто вел бой с воображаемым противником, уклоняясь и нанося ответные удары. Прохожие или не обращали на него внимания, или провожали его улыбкой. Он не позволял сопровождавшим его, в тот момент, подтрунивать над собой. Если же кто-то все-таки пытался делать это, он тут же предлагал спутнику повторить некоторые его движения.

В то лето в Париже проездом оказался декан Принстонского



университета Гаус, который несколько раз обедал в компании Фицджеральда и Хемингуэя. Эрнест показался Гаусу «серьезным, но наивным молодым человеком бальзаковского типа», без «претензий и без излишней застенчивости». Гаус выразил сожаление, что не успел полюбить написанное Хемингуэем. Фицджеральд расходился с Гаусом в оценке творчества его друга. Скотт восхищался оригинальностью изображения молодого поколения в рассказах и очерках Эрнеста и высоко отзывался о строгой, сдержанной манере его письма. Хемингуэй отказался от перспективной карьеры журналиста, чтобы посвятить себя малоодоходному писательскому ремеслу. Писал он медленно, по несколько раз переделывая один и тот же параграф, словно занимался сольфеджио. Жил в бедно обставленной квартирке, окна которой выходили на склад лесоматериалов. Хотя присущая ему уверенность в себе не требовала поддержки, он все же получал ее от таких маститых литературных фигур, как Эзра Паунд<sup>[104]</sup> и Гертруда Стейн.

Однажды Хемингуэй взял Фицджеральда с собой к мисс Стейн в ее студию на улице Феру. Скотт очаровал эту покровительницу художников и, в свою очередь, сам был очарован ее грудным смехом и тонким пониманием искусства. Он взирал на мисс Стейн с почтением, а она, со своей стороны, создала атмосферу, в которой он чувствовал себя как дома и не сидел, проглотив язык, как это было при встрече с Теодором Драйзером и будет во время последовавшего за тем визита к Эдит Уортон.

Госпожа Уортон прислала Фицджеральду письмо, где с похвалой отзывалась о «Гэтсби» и в заключение приглашала его к себе в гости на построенную еще в XVIII веке виллу, к северу от Парижа. И вот однажды, Фицджеральд вместе с Тедди Чанлером, мать которого оказалась близкой подругой известной писательницы, отправился к ней на автомобиле. Фицджеральд нервничал и несколько раз просил Чанлера остановить машину, чтобы пропустить для храбрости рюмку в придорожном ресторанчике.

По прибытии в Павийон Коломб Фицджеральда и Чанлера провели в салон, где госпожа Уортон, близко знавшая Генри Джеймса, восседала за чайным сервизом в своем смиренном величии. В комнате находился еще один гость, светило из Кембриджа, американец по имени Гейлард Лэпли. Госпожа Уортон, остроумная и очаровательная с теми, кого она хорошо знала, испытывала ужасную неловкость при первом знакомстве, и была склонна в этих случаях надевать маску высокомерия. Поскольку ни Чанлеру, ни Лэпли не удалось растопить холодок, Фицджеральду пришлось опуститься до таких банальных фраз, как «госпожа Уортон, если

бы вы только знали, что значит для меня получить ваше приглашение». В конце концов, в отчаянии он предложил рассказать «пару, э-э, не совсем приличных историй». Удостоившись на то разрешения королевским кивком и застывшей стандартной улыбкой госпожи Уортон, он начал рассказывать один, потом переключился на другой, случай об американской паре, прожившей три дня в парижском публичном доме, который они по ошибке приняли за отель. Когда он неуверенно подходил к концу повествования, госпожа Уортон позволила себе замечание: «Но, господин Фицджеральд, в вашем рассказе не хватает деталей». Фицджеральд попытался еще как-то спасти рассказ, но безуспешно.

После его ухода госпожа Уортон заметила Лэпли: «В этом молодом человеке, должно быть, есть что-то необычное». Лэпли объяснил, что в последнее время Фицджеральд слишком злоупотребляет спиртным. В своем дневнике против имени Скотта госпожа Уортон написала «Ужасен», и, конечно, он больше никогда уже не удостоился чести быть приглашенным в ее дом. Кто-то из гостей, госпожи Уортон, кому был оказан аналогичный прием в Павийон Коломбе, позднее заметил, что «госпожа Уортон обладала величественными манерами, позволявшими ей усугубить неловкость ситуации, тогда как другие могли бы её просто изящно обыграть».

Жизнь Фицджеральдов в Париже, по словам Скотта, взятым из его дневника, состояла из «безудержного разгула и безделья». В то время он шлифовал рассказ «Молодой богач», написанный сразу же вслед за «Гэтсби», но ему было трудно сосредоточиться теперь, когда перед ним открывался совершенно новый мир. В нем еще оставалось что-то от Эмори Блейна, который отвлекался на тысячи мелочей всякий раз, когда садился писать. «Боюсь, что я создаю жизнь, — признавался Фицджеральд, — вместо того, чтобы жить. Может быть, мое место сейчас где-нибудь в японских садах Рица, или в Атлантик-Сити, или в южных районах Ист-Сайда».

За год до этого, весной, когда Фицджеральды останавливались в Париже, они познакомились с Джеральдом и Сарой Мэрфи, с которыми у них теперь сложились самые тесные отношения. Довольно богатая чета Мэрфи перебралась за границу после войны и теперь проводила все время в кругу художников и писателей. После того как успех открыл Фицджеральду двери в дома состоятельных людей, он, к своему разочарованию, нашел эту касту невыносимо скучной. Но встреча с Джеральдом Мэрфи возродила в нем былые представления о сильных мира. Джеральд был elegant,<sup>[105]</sup> стройный, подобранный, всегда одетый по

последней моде. Он носил крупные бачки, щеголял тростью с позолоченным набалдашником, на голове — необычная шляпа с широкими опущенными книзу полями. Джеральд шутливо утверждал, что обычные выглядят глупо на его «ирландской физиономии».

Человек редкостного вкуса и утонченности, он обладал даром делать жизнь яркой и полной неожиданных открытий. Если вам случалось подниматься с ним на Эйфелеву башню, он мог указать на никому не ведомый объект и рассказать, в придачу, какой-нибудь забавный случай о нем. Он хорошо рисовал и даже писал декорации для Русского балета (а Сара однажды принимала у себя всю труппу Дягилева). Иногда они устраивали обеды в «Максиме», на которые приглашались человек до сорока. Сара держалась в тени мужа, хотя ее очарование и ум чувствовались во всем. В этой совершенной паре, как вспоминал один из друзей, Сара была ветром, а Джеральд — парусом.

Именно чета Мэрфи создала летнюю колонию на Антибе. По традиции людей их круга Мэрфи проводили зиму на Ривьере, а летние месяцы — в Довиле. Однако лотом 1922 года они сняли первый этаж отеля *Card d'Antibes* для себя и друзей. Владелец закрыл остальные этажи и укатил на север. Заколоченные виллы вдоль всего побережья мыса пустовали, и, на фоне ярко контрастных гор и моря, создавали ощущение заброшенности и даже дикости. Из-за сухости жара в Антибе переносилась легко. Обнаружив, что у моря нет ни кусочка чистого пляжа, Марфи принялись за дело. Джеральд расчистил граблями часть берега от плотно слежавшихся высохших водорослей, и спустя некоторое время около сотни ярдов прибрежной полосы засверкали чистым песком. Местные жители, с любопытством взиравшие на все это из-за кустов, считали американцев, заплонивших образовавшийся пляж и обильно смазывавшихся от загара банановым маслом, ненормальными: существовало поверье, что морские купания вредны для почек.

Супругам Мэрфи так понравился Антиб, что они решили там обосноваться. «Вилла Америка», их дом, раскинулась в саду из апельсиновых и лимонных деревьев, мимозы и ливанских кедров. С террасы открывался вид на залив Жуан, за которым поднимались холмы Эстереля. В их спальне, с выложенным черно-белой плиткой полом и мебелью из алюминиевых трубок, стоял рояль «Стейнвей», а на нем красовался шарикоподшипник, который Джеральд приглядел где-то и приобрел из-за понравившийся ему формы. На подставке для нот всегда покоилось последнее произведение Стравинского: никто, возможно, никогда не замечал его там, но оно, тем не менее, неизменно оказывалось

на своем месте. Когда вам случалось бывать у Мэрфи на обедах, их очаровательные дети появлялись за столом в голубых штанишках матадоров с красными стрелками у щиколоток. В этом доме всегда подавались изысканные блюда: целые персики, плавающие в бренди, замысловато украшенные гарниром фазаны и неизменно вызывавшее у французских гостей восторг типично американское угощение — горка вареной свежей кукурузы, увенчанная яйцами-пашот. Все было продумано почти с восточной щепетильностью, да и сами Мэрфи являли собой воплощение приветливости и обходительности. К ним не заглядывали на минутку, к ним прибывали по приглашению, и, уходя, гости чувствовали себя как после праздника.

Фицджеральды провели август на Ривьере под крылышком четы Мэрфи. Об их приезде много говорилось: то они приедут, то не приедут. И вот однажды утром они объявились на пляже, ужасно обгоревшие после игры в теннис за день до этого. Все умоляли их накрыть спины или намазаться оливковым маслом. Скотт, который не мог купаться из-за обожженной спины, болтал с репортером, прибывшим, чтобы запечатлеть их приезд. Репортеру, которому Фицджеральд жаловался, что стареет, Скотт показался крепким, мускулистым, с чистой кожей, широко расставленными живыми голубовато-зелеными глазами, без единого седого волоска, морщинки или дряблой кожи. Зельда тоже смотрелась моложе своих лет; ее можно было принять за девушку. Наверное, лишь Скотти выглядела на свои годы: ей ни за что нельзя было дать больше четырех.

Единственными людьми, обосновавшимися в то лето в Антибе, писал Фицджеральд Бишопу, были «я, Зельда, Мэрфи, супруги Валентине, Мистияге, Рекс Ингрэм, Дос Пассос, Эллен Алис Терри, Маклиши, Чарли Брэкет, Мод Кан, Эстер Мэрфи, Маргарет Намара, Эдвард Филлипс Оппенгейм, Флloyd Делл, Макс и Кристал Истман, экс-премьер Орландо, [\[106\]](#) Этьен де Бьюмон; словом, это местечко, какого больше нигде, не сыщешь, отдушина от треволнений мира». В первых главах романа «Ночь нежна» Фицджеральд обошелся вольно с географическими аспектами Антиба, но верно передал его атмосферу. Это был мир нянек, пляжных зонтов и *espadrilles*, [\[107\]](#) яростных порывов горячего ветра, проникавшего через зашторенные окна выцветших автомобилей, пекшихся на солнце на подъездных путях. Джеральд Мэрфи в жокейской шапочке, подобно Дику Дайверу, верховодил на пляже. Другие, настроив, «словно антенна, уши», внимали ему.

Когда Скотти объявила, что желает выйти замуж, Мэрфи тут же

предложил: «А почему бы не за меня?» Он обставил «свадьбу» очень пышно: привязал к своему «рено» атласные ленточки, украсил его цветами, приобрел для маленькой Скотти подвенечное платье и фату и даже достал для «невесты» венок на голову. Фицджеральд играл роль отца, «выдававшего дочь замуж». Правда, настоящей церемонии не устраивали: в основном все хлопотали вокруг «свадебного» торта. После этой суеты Мэрфи, как полагается, покатал Скотти на своей машине и даже преподнес ей кольцо, приобретенное в местном дешевом магазинчике, утверждая, что это бриллиант. Правда, Скотти тут же заявила, что он не настоящий.

Фицджеральд тоже легко находил общий язык с детьми. Однажды днем в саду их дома в Каннах он организовал игру в крестовый поход с деревянными солдатиками и фанерным замком, который смастерила Зельда. Залив низину морской водой, он на противоположном берегу этого водоема соорудил пещеру, в которой поселил огромного черного таракана, представлявшего дракона. Затем он рассказал детям историю, заканчивающуюся штурмом дворца добрыми героями. Дети, затаив дыхание, внимали его рассказу и повсюду следовали за этим ползавшим на четвереньках среди эвкалиптов взрослым человеком, который полностью окунулся в их мир.

Зельда была исключительно щепетильна в выборе друзей, но Мэрфи ей сразу же понравились. О Скотте и говорить не приходилось. Подперев рукой подбородок, в характерной для него мечтательной позе, он мог долго, не отрывая глаз, смотреть на Сару, а затем произнести: «Сара, взгляните на меня», и после того, как она поворачивала к нему свое лицо, он, словно замечтавшийся школьник, со вздохом ронял: «Благодарю вас». Сара, стройная и подвижная, отправлялась купаться с ниткой жемчуга, висевшей у нее на шее («с подвешенной к жемчужному колье спиной», писал Фицджеральд в «Ночь нежна»). Все, чем Скотт восхищался в Джеральде — утонченность, изысканность речи, дар принимать гостей, а больше всего его способность ценить качества других, умение вызывать собеседников на разговор и видеть в них лучшее, — он вложил в образ Дайвера. Мэрфи разделял эти качества с такими непохожими на него людьми, как священник Фэй, Макс Перкинс и декан Гаус. Скотт и сам в большой степени обладал ими.

В то лето Фицджеральды вели себя подобающе. И все же, Мэрфи пришлось как-то провести с ними ужасно неприятный вечер в Сент-Польде-Венсе, расположенном в горах неподалеку от Ниццы. Вчетвером они обедали на террасе таверны, построенной на выступе между двумя ущельями. Мэрфи рассказывал, что во время римских походов на этом

месте был разведен огромный костер, один из многих, с помощью которых в Рим передавалось сообщение о завоевании Галлии. За соседним столом в компании трех мужчин сидела, вся в алом, Айседора Дункан. Под влиянием минуты Фицджеральд подошел к столу, опустился у ее ног и стал рассказывать ей о римлянах, в то время как она гладила его волосы и называла его своим центурионом. Весь эпизод носил скорее поэтический, нежели любовный характер. Тем не менее, Зельда резко встала и стремительно бросилась вниз по лестнице ведущей, казалось, в бездонную темноту. Фицджеральд и Мэрфи устремились за ней и только тут обнаружили, что лестница кончалась запертой дверью. Некоторое время спустя Зельда поднялась по ступенькам вверх и направилась в дамскую комнату, чтобы обмыть ободранную коленку, а затем появилась на террасе, как ни в чем не бывало.

По пути домой Скотт и Зельда вместо того, чтобы следовать по дороге, выехали на узкоколейку, и, когда их машина, застряв посреди рельсов, заглохла, оба заснули. Они наверняка угодили бы под колеса идущей утром в Ниццу дрезины, если бы не крестьянин, который вытащил их из машины, а затем с помощью быков столкнул машину с железнодорожного полотна.

В сентябре загоревшие и отдохнувшие Фицджеральды вернулись в Париж. Скотт испытывал подъем по случаю начатого романа и в то же время был удручен тем, что после всех его рассуждений об искусстве ему приходилось писать откровенную халтуру для «Пост». За прошедшие шесть лет «Пост» увеличил его гонорар в шесть раз — теперь он получал за каждый рассказ 2500 долларов. Но чем больше ему платили за этот «хлам», жаловался он Перкинсу, тем меньше у него лежала к ним душа.

Недовольство собой лишь усилило его восхищенно неподкупным Хемингуэем. Однажды на пляже в Антибе Фицджеральд отвел Глэнви Уэскотта<sup>[108]</sup> в тень под скалой и долго убеждал его в талантливости Эрнеста, который, по словам Скотта, безусловно, является единственным подлинным гением 20-х годов. Он полагал, что Уэскотт согласится с тем, что и новый роман Глэнви, и «Гэтсби» несколько переоценены, в то время как Хемингуэя не понимают, третируют и платят ему явно заниженные гонорары. Фицджеральд, тряся Уэскотта за руку, хотел знать, не мог бы тот чем-нибудь помочь Эрнесту, ну хотя бы написать хвалебную статью. (Осенью Фицджеральд именно так и поступил). Уэскотта поразили наивность Фицджеральда и отсутствие в нем расчетливости. Скотту и в голову не пришло, что недоброжелательность и эгоизм Уэскотта мешали ему проявить дружественный жест по отношению к произведениям конкурента.

Хотя к осени 1925 года Хемингуэй не опубликовал еще ни одного романа, его литературные успехи внушали уважение. В двадцать шесть лет ему, как говорят французы, «удалось прорваться за оболочку языка»: старые, стершиеся слова под его пером засверкали новыми гранями. В его чеканном стиле ощущалась сила и новизна, по сравнению с которой манера письма Фицджеральда, сформировавшаяся под влиянием более традиционных течений, казалась цветистой и относящейся чуть ли не к поздневикторианскому периоду. Стремясь сделать Хемингуэя одним из авторов «Скрибнерс», Фицджеральд начал хлопотать, чтобы открыть ему двери в это издательство. В конце концов он помог переходу Эрнеста в «Скрибнерс» от его первого издателя «Бонн и Лайврайт».

Фицджеральда тянуло к Хемингуэю как к писателю-чародею слова, но в еще большей степени как к человеку, одновременно приветливому и язвительному, скромному и заносчивому. Хемингуэй был сложным человеком, носившем маску простака. Он мог до бесконечности рассуждать об искусстве, хотя в душе предпочитал более мужские разговоры о войне и спорте. Любое обсуждение чувств или эмоций он называл «дешевой женской болтовней» и, едва только беседа переходила в это русло, мог тут же встать и покинуть компанию. Как и любой другой человек, в котором постоянно происходит борьба чувств, он был подвержен быстрой смене настроений. За его *bonhomie*<sup>[109]</sup> скрывалась врожденная застенчивость и уязвимость. И, тем не менее, в глубине души в нем таилось что-то от *condotierre*,<sup>[110]</sup> авантюриста, привыкшего полагаться на свой ум и хитрость и испытывавшего солдатское презрение к слабости любого рода. Это был соперник, который вырвался бы вперед в любом состязании, в основе его характера и свойственной ему гордыни лежала достойная подражания смелость, подлинная смелость умного и необыкновенного человека, который испытывает страх, но силой воли преодолевает его.

Знакомство Фицджеральда с Хемингуэем с новой силой пробудило в нем сожаление, что ему не удалось побывать на фронте. Он целые дни проводил в подвалах «Брентано», разглядывая стереоскопические слайды застывших траншей и разорванных в клочья тел, а «Мемуары» Людендорфа<sup>[111]</sup> стали одной из самых его любимых книг. Ощущения от поездки в октябре в Верден<sup>[112]</sup> он передал в трогательном описании поросшего травой поля битвы в романе «Ночь нежна». Он внимал проповедям Хемингуэя о том, что война — самая важная тема, ибо «она позволяет поставить на свои места уйму материала, ускоряет развитие событий и вызывает в человеке самые различные свойства, проявления



которых в обычных условиях приходится ожидать, порой, чуть ли не всю жизнь». Но Фицджеральд и Хемингуэй были совершенно непохожими друг на друга людьми, и можно усомниться в том, что война стала бы такой же идеальной темой для Фицджеральда, как для Хемингуэя или для Стивена Крейна, который оказался настолько одержим ею, что создал свой шедевр, не приняв участия ни в одном сражении.<sup>[113]</sup> Страсти, волновавшие Фицджеральда, требовали скорее общечеловеческой, а не военной обстановки.

В ту осень Мэрфи жили в Сен-Клу в доме, ранее принадлежавшем композитору Гуно. Как-то Фицджеральд улегся у них под кустом на лужайке и проспал на траве всю ночь. В другой раз он позвонил Джеральду и Саре в три часа утра и сообщил им, что они с Зельдой отплывают в Америку на следующий день на «Беренгарии». Конечно, они никуда не уезжали, и выдумка с отъездом оказалась лишь уловкой, чтобы завлечь Мэрфи к себе на пирушку. В своих отношениях с Мэрфи Фицджеральд иногда терял чувство меры. Он хотел, чтобы каждый вечер был наполнен приключениями, весельем, таил в себе загадку, и, когда ничего из ряда вон выходящего не происходило, как это бывало часто, он или отправлялся спать, или устраивал дебош.

Однажды Фицджеральд угнал *tripporteur*,<sup>[114]</sup> трехколесную тележку зеленщика, и на сумасшедшей скорости гонял на ней по площади Конкорд под свистки полицейских и неистовое улюлюканье клаксонов водителей автомобилей. Если кто и мог удержать его от этих выходов, то только Джеральд, перед безупречной благопристойностью которого Скотт испытывал смирение. Однажды, когда они вместе покидали ночной клуб, Фицджеральд, поскользнувшись, упал и притворился, что потерял сознание. «Скотт, — строго произнес Мэрфи, — это не Принстон, и я не твой однокашник. А ну вставай живо!» — И Скотт подчинился приказу.

У Фицджеральдов не лежала душа к их квартире на улице Тильзит. Зельда говорила, что у них пахнет, как в архиве церковного причта. Квартира была обставлена мебелью в стиле Людовика XV, взятой напрокат в галерее «Лафайет». Луис Бромфилд,<sup>[115]</sup> как-то заглянувший к ним, утверждал, что они живут на разломе двух эпох.

В ноябре Фицджеральды совершили поездку в Лондон, где «посетили светские рауты и другие подобные сборища. Впечатляюще, — писал Фицджеральд Перкинсу, — но не очень, потому что забавлять всех пришлось мне одному». В декабре они вернулись в Париж. В письме своей знакомой Зельда писала, что они «сносно проводят зиму среди



плагиаторов, которые всегда очаровательны. Уйму времени убивает такси... Вот и сейчас узкая и прямая дорога петляет и качается из стороны в сторону. Скотт с головой ушел в работу». В январе 1926 года они отправились на курорт в Пиренеи, где Зельда, которой нездоровилось весь прошлый год, прошла курс лечения. В конце февраля они сняли виллу в Жуан-ле-Пине. Фицджеральд сообщил Перкинсу, что никогда так хорошо себя не чувствовал, как теперь, когда вернулся на любимую им Ривьеру и увлеченно работает над новым романом. Он испытывал прилив радости от высоких отзывов критиков на его третий сборник рассказов.<sup>[116]</sup> Финансовое положение Фицджеральда значительно улучшилось. На Бродвее с успехом шла поставленная по «Гэтсби» пьеса, и вскоре по ней должен был сниматься фильм. Этот счастливый поворот событий принес ему более 22 тысяч долларов. Такое удачное стечение обстоятельств освободило его от необходимости писать рассказы — в период между февралем 1926 и июнем 1927 года он написал всего лишь один рассказ — «Наши пути». Он считал его слишком слабым для опубликования в «Пост». «В него не вложено ни капли моей души, ничего, что оправдывало бы его опубликование, — признавался он своему литературному агенту. — ...Я лучше получил бы за него тысячу долларов от какого-нибудь неизвестного издателя вместо вдвое большей суммы и сознания того, что рассказ прочтут все. Я говорю это не кривя душой».

В июне Фицджеральды вернулись в Париж, где Зельде предстояло сделать легкую операцию. В течение двух недель, пока она находилась в американской больнице в Нейли, Фицджеральд жил в гостинице по соседству и каждый вечер отправлялся погулять по городу с Джеймсом Ренни, который играл главную роль в постановке «Гэтсби» на Бродвее. Однажды под вечер, возвращаясь из кафе на Монмартре, они увидели впереди себя маленького роста, в потрепанной одежде бродягу, тот пересекал улицу. Фицджеральд схватил Ренни за рукав. «Последим за ним, — заговорщически произнес Скотт, — он нацелился вон на тот мусорный ящик». И действительно, шедший впереди босяк подошел к помойке и стал рыться в одном из баков. «Давай присоединимся», — заторопил Джеймса Фицджеральд.

Он в один миг пробежал разделявший их с бродягой квартал и вместе с ним стал копать в отбросах. Вдвоем им становилось тесновато. В какой-то момент они перестали разгребать мусор и заспорили, а затем, достигнув, видимо, согласия, снова принялись перебирать содержимое помойки. Незаметно для оборванца Фицджеральд бросил монету на дно бака, и когда, казалось, они в один и тот же момент увидели ее, драка вспыхнула

по-настоящему. Фицджеральд нарочно проявил нерасторопность, чтобы уступить добычу «сопернику». Повторив проделку с монетой, он получил от бродяги новую взбучку. Вдруг откопав в мусоре засохший пучок аспарагуса, Фицджеральд застыл на месте. Монеты оказались забытыми, он превратился во владельца ни с чем не сравнимого сокровища. Нежно держа кустик в руках, Скотт произнес в честь него хвалебную речь на ломаном французском языке, а затем с изысканным поклоном преподнес ее французу. «Подойди вон к тому человеку, — указал он на Ренни и затем добавил по-английски: — Он коллекционер и хорошо заплатит тебе за этот экземпляр».

Ренни в соответствии с отведенной ему ролью дал бродяге пять франков, завернул аспарагус в носовой платок, и они с Фицджеральдом продолжили свой путь.

Куда бы Ренни ни направлялся с Фицджеральдом, тот всегда настаивал на оплате расходов. Джеймс постоянно поражался размерам чаевых, которые давал Скотт, порой они равнялись стоимости самих обедов. Поняв, что с Фицджеральдом бесполезно спорить по этому поводу, он разработал собственную тактику борьбы с этой привычкой. Заняв чем-нибудь на минуту Фицджеральда, он, пока Скотт стоял к нему спиной, совал себе в карман изъятую часть этих бешеных чаевых. В их последний вечер Ренни признался Фицджеральду в уловке и попытался отдать ему деньги. Сначала тот надулся, но потом, просияв, воскликнул: «Это же великолепно! Завтра ты уезжаешь, пошли скорей куда-нибудь и спустим их».

Вернувшись в середине июня на Ривьеру, Фицджеральды сняли виллу в Антибе рядом с казино: Жуан-ле-Нин, казалось, находился несколько в отдалении от публики, группировавшейся в разгар сезона вокруг Мэрфи. В то лето сколоченный четой Мэрфи круг знакомых состоял из Фицджеральдов, Маклишей, семьи Барри и нескольких пар, не связанных с литературой. Наездами бывали: семья Джона Пила Бишопы, Стюарты, Эрнест Хемингуэй и Александр Уолкотт.<sup>[117]</sup>

Надеясь вернуться в Америку осенью с завершенным романом, Фицджеральд почти все дни проводил за письменным столом и появлялся на пляже обычно неразговорчивый и глубоко погруженный в свои мысли. Бледность его кожи сразу же выделяла его из толпы других, хотя он все еще выглядел здоровым и полным сил. Начать с того, что он был великолепно сложен. Вспоминая его мускулистые ноги, тонкую талию, развитые плечи и красивые руки, один из его университетских друзей писал о «прекрасно вылепленной голове, посаженной на тело портового грузчика». Некоторая приземистость его фигуры сочеталась с присущим ему изяществом. Его

тонкие, почти женские черты лица излучали внушительную силу и твердую решимость человека, который знает, чего хочет. Во время бесед он обычно проявлял склонность к обобщениям. Он на все имел свою теорию, обо всем свое, порою интуитивное (его любимое словечко), представление. Часто он возражал просто для того, чтобы вызвать дискуссию, и, если с ним по временам бывало не совсем приятно спорить, он никогда не нагонял тоску, даже когда спор вдруг касался такого вопроса, как волосы, о которых в то лето он мог многое порассказать: он принялся штудировать Британскую энциклопедию от корки до корки и дошел как раз до буквы Н. <sup>[118]</sup>

Хотя Скотт и прожил два года за границей, он все еще походил на туриста. Памятники прошлого приводили его в восторг, как и все остальное, имевшее отношение к человеческим судьбам. Однако он не проявлял глубокого интереса к чужой культуре, которую остальные члены американской колонии в Антибе всеми силами стремились впитать. Маклиш, например, знакомился с итальянцами, чтобы, послушав их чтение Кавальканти, <sup>[119]</sup> ощутить ритм его стиха. Фицджеральд подходил к этому совершенно иначе. Он придерживался исконно американских вкусов. На предложение попробовать английские сигареты «Абдулла», которые курили многие из его друзей, он, извинившись, не без гордости отвечал, что он предпочитает «Честерфильд». Он абсолютно не прилагал усилий, чтобы улучшить свой далеко не безупречный французский язык, как он не занимался и французским искусством, архитектурой, театром, хотя однажды, правда, постановка «Федры» Расина заставила его воскликнуть: «Боже мой! Да ведь в ней вся современная психология! Автор знал все, что Фрейд открыл позднее, и выразил в более изысканной форме». Большинство европейцев считали Фицджеральда неуклюжим увальнем, не получившим хорошего воспитания и лишенным утонченности. Он приводил в ярость официантов в казино тем, что с похвалой отзывался о военной выучке немцев и осмеливался даже предупреждать: «Когда-нибудь немцы еще придут сюда и сотрут вас в порошок».

В отличие от прошлого лета Фицджеральд и Зельда вели себя хуже некуда. После очередного скандала в казино окружающие с раздражением перешептывались: «Опять эти Фицджеральды!» Если в ресторане за столом, где сидел Скотт, воцарялась скука, он мог взять пепельницу и словно кольцо бросить ее на соседний стол, не обращая внимания на то, есть ли в ней окурки. Иногда ему нравилось ради забавы сломать стул или швырнуть солонку в закрытое окно. Он, видимо, полагал, что небольшое разрушение — неотъемлемая часть вечерних увеселений. Однажды он

залез под толстый, сплетенный из кокосовых волокон мат перед главным входом в казино, образовав под матом горб, похожий на огромную черепаху, и начал издавать какие-то странные звуки.

Когда его представляли кому-нибудь, он с чарующей приветливостью истого принстонца произносил: «Очень приятно познакомиться с вами, сэр. Кстати, я алкоголик». Мысль о пристрастии к спиртному ни на минуту не покидала его. Одному из друзей он написал следующее посвящение на обложке своей книги: «Можно пить по несколько коктейлей все время, все коктейли какое-то время, но... (Задумайся над этим...)». [\[120\]](#)

Подзадориваемый Чарли Маккартуром, внешне походившим на шотландского эльфа и обладавшим задатками хулигана, Фицджеральд вытворял вещи, которые могли иметь серьезные последствия. Однажды поздно вечером, когда только они одни находились в баре, он заспорил с Маккартуром о том, можно ли распилить человека пилой. Фицджеральд утверждал, что этого сделать нельзя, Маккартур же уверял его в обратном. Наконец Маккартур заявил: «Есть только один способ проверить это». Они убедили бармена лечь на два приставленных друг к другу стула, к которым привязали его веревками. Когда Маккартур ушел за двойной пилой, бармен поднял такой вой, что прибыла полиция. Этот инцидент в несколько приглаженной форме описан в «Ночь нежна», где Эйб Норт собирается распилить официанта пополам, правда, музыкальной пилой, чтобы не вызвать у читателя неприятных ассоциаций.

Зельда тоже вела себя как-то странно. Ее сердитые, косые взгляды и колкие реплики придавали ей какой-то затаенно-враждебный вид. Во время беседы она напоминала коварного противника, выжидавшего своего момента, и награждала окружающих комплиментами, которые оборачивались разительно едкими замечаниями. «Вам когда-нибудь приходилось видеть женское лицо с таким огромным количеством прекрасных крупных зубов на нем?» — могла вдруг изречь она о какой-нибудь даме, к которой питала неприязнь, и тут же вновь уйти в себя, как улитка в ракушку. Но, несмотря на эти странности, Мэрфи обожали ее, и она отвечала им взаимностью.

«Ее красота была необычной, — писал о ней Джеральд. — Во всем ее облике чувствовалась какая-то сила. У нее были очень красивые, но не классические черты лица, пронзительный орлиный взгляд и пленительно изящная фигура. Она и двигалась изящно. Говорила мягким голосом, с легким южным акцентом, как некоторые — впрочем, я думаю, большинство, — южанок. Она ощущала малейшие нюансы своей внешности и потому носила элегантные платья широкого покроя.

Поразительное чувство цвета помогало ей выбирать платья, которые ей необычайно шли. (Мэрфи особенно запомнились серовато-розовые и красные тона. — Э.Т.) На ее голове возвышалась копна прелестных взъерошенных волос, не совсем светлых, но и не каштановых. Мне всегда казалось не случайным, что её любимым цветком был пион. Их как раз очень много росло в нашем саду, и всякий раз, когда она приходила к нам в гости, она уносила с собой охапку пионов. Она вечно что-нибудь придумывала с ними. Иногда она прикалывала их к платью на груди, и тогда они еще больше подчеркивали ее красоту».

Судя по оценке хорошо знавших ее Мэрфи, она, по-своему, была столь же редкостным человеком, как и Скотт. Она излучала неиссякаемую теплоту, которая вызывала любовь к ней, несмотря на ее сумасбродное и внушающее порой страх поведение. Ведя однажды вечером машину вдоль Гран Корниш, она вдруг сказала своему соседу: «Пожалуй, я сверну здесь» — и чуть было не рухнула со скалы, не удержи он руль. В другой раз она легла перед стоящей машиной и обратилась к мужу: «Скотт, переедь меня». Фицджеральд завел машину и уже на какое-то мгновение отпустил тормоз, как кто-то сидевший рядом с ним резко нажал на него снова.

«Почему вы так ведете себя? — обычно спрашивали их друзья на следующее утро на пляже. — Как вы можете выносить ужасные головные боли после всех этих попок? К тому же вы гораздо привлекательнее, когда трезвые».

Фицджеральды соглашались с упреками в свой адрес, но каждый вечер все повторялось сначала. В сентябре Мэрфи устроили обед, на котором Скотт зашел дальше, чем это могли ему позволить даже столь снисходительные хозяева. На десерт подали ягоды в ананасовом шербете. Фицджеральд выловил ягодку и бросил ее на оголенную спину какой-то французской графини. Та вся застыла от напряжения, пока ледяной комочек скатывался вниз по ее телу. При этом она не произнесла ни слова, безусловно, полагая, что оплошность произошла по вине нерасторопного официанта.

После обеда, когда все гости разбрелись по саду, Фицджеральд, словно лунатик, стал слоняться между столиками. Вдруг, не привлекая ничего внимания, он взял один из фужеров венецианского стекла, особенно любимых Мэрфи, и бросил его через высокую стену, которая окружала сад, прислушиваясь к звону стекла, разбившегося о булыжную мостовую. Он послал в темноту ночи еще два фужера, прежде чем Мэрфи остановили его и запретили ему бывать в их доме в течение трех недель. Скотт надулся, выслушав приговор, но появился у них ровно через три недели, ни словом

не обмолвившись однако, о причине столь продолжительного отсутствия.

Фицджеральды оставались в Антибе до конца осеннего сезона. «Все вносившие радость колоритные гости разъехались, — жаловалась Зельда Перкинсу в конце сентября, — увезя с собой атмосферу карнавала и надвигающейся катастрофы, которая ощущалась все лето. Скотт упорно работает и все еще бредит войной. Наездом побывал Эрнест Хемингуэй, чем-то напоминающий земного мистика... Здесь божественно, когда пахнет сожженными листьями, на дорогах поднимается пыль и доносится шум разбивающихся о камень струй водопада. Роман Скотта обещает быть прекрасным». Однако перед отплытием в Америку 10 декабря Фицджеральд признавался Перкинсу, что работе над романом «не видно конца».

На пароходе вместе с Фицджеральдами оказался Людлоу Фаулер, выполнявший роль шафера на их свадьбе. Обедали они все вместе за огромным столом, из-за которого вечно раздавался шумный смех. После трапезы Фицджеральд обычно затевал дискуссии в гостиной. «Держись от этих разговоров подальше, у тебя медовый месяц», — советовал он Людлоу. Затем, повернувшись к остальным, подбрасывал очередную тему для обсуждения: «Может ли кто-нибудь из присутствующих здесь мужчин, положив руку на сердце, утверждать, что он ни разу в порыве гнева не ударил жену?» В разворачивавшемся вслед за этим жарким споре о том, что считать «порывом гнева», Фицджеральд становился посредником. Он упивался ролью заводилы.

Зельда же, отведя Фаулера в сторону, предупредила его: «Людлоу, послушай меня, старую выпивоху. Если хочешь, чтобы твой брак оказался счастливым, не позволяй алкоголю довести себя до такого состояния, до какого он довел Скотта».

## ГЛАВА XI

Во время пребывания в Европе и общения с Мэрфи, Фицджеральд, как никогда, ощутил гармонию окружающего его мира. Вся его остальная жизнь после этого в известном смысле постепенная утрата приобретенного. Он начал 1927 год с поездки в Голливуд. Нужда в деньгах и стремление попробовать свои силы на поприще сценариста побудили его принять предложение «Юнайтед артисте» написать сценарий для Констанции Тэлмедж.

В течение двух месяцев, которые они провели в киностолице страны, Скотт и Зельда обитали в четырехквартирном бунгало, расположенном на территории ультрасовременного отеля «Амбассадор». Соседями были Джон Барримор и писатель Карл Ван Вехтен.<sup>[121]</sup> Журналистку, посетившую Фицджеральда, чтобы взять у него интервью, встретил у двери нервный молодой человек «с прической а ля принц Уэльсский» и «с чувственным, твердым, слегка презрительно изогнутым ртом». Ее интересовало, чем кокетки современного экрана отличаются от тех эмансипированных девиц, что некогда запечатлел Фицджеральд.

— Видите ли, — начал Скотт, закурив, а затем погасив сигарету, и пересев на другой стул, — я могу лишь говорить о сегодняшнем дне. Я ничего не знаю об их эволюции. Последние три года мы провели на Ривьере. За это время нам удалось посмотреть лишь несколько старых картин да вестерны, которые показывают в Европе. Я бы мог, — его лицо оживилось, — рассказать вам кое-что о коктейле «Том».

— Скотт, — укоризненно прервала его Зельда.

— Ах да, я, кажется, забываюсь.

Пересидев на всех стульях, он вернулся к тому, с которого начал, и учтиво охарактеризовал кинозвезд, игравших роль юных обольстительниц, — Клару Боу, Констанцию Тэлмедж, Колин Мур. Казалось, что они стереотипны, и образ, от которого он стремился убежать, направляясь в Европу, неотступно следовал за ним.

Фицджеральд описывал Голливуд как «трагический город, заполненный красивыми девушками, — красивыми уборщицами, красивыми продавщицами. Вам никогда уже не захочется увидеть большей красоты». Но одна из девушек показалась ему красивей, чем все остальные. Луиза Моран, свежая голубоглазая блондинка, которой только что исполнилось семнадцать, не испорченная успешной карьерой актриса.



Недавно вернувшись после четырех лет пребывания за границей, она говорила по-французски так же безупречно, как и по-английски, и еще продолжала вести дневник, куда записывала полюбившиеся ей стихи.

Свои чувства к ней Фицджеральд вложил в рассказ «Магнетизм», где Луиза выведена в образе Элен Авери, молодой киноактрисы, вносящей смятение в душу счастливо женатого Джорджа Ханнафорда. Подобно Ханнафорду, Фицджеральд считал, что «каждый из них знал половину секрета о людях и жизни и что, устремись они друг другу навстречу, это породило бы любовный союз небывалой силы». Их отношения были чисты и невинны и никогда не переходили грани легкого флирта. Луиза хотела, чтобы Фицджеральд сыграл вместе с ней главную роль в каком-нибудь фильме. В последующие годы образ очаровательной девушки, стоящей на пороге зрелости, станет часто появляться у Фицджеральда. Луизу же он навсегда запечатлел в Розмэри Хойт в романе «Ночь нежна».

Зельда между тем брала уроки танцев и ходила по гадалкам в Санта-Монике, чтобы узнать свою судьбу. Поначалу Голливуд ей понравился, но очень скоро новизна его стала стираться, появилось чувство, что все это декорация, ничуть не больше. Поскольку и киноколония оказалась не такой веселой, как она надеялась, Зельда вместе со Скоттом решила внести некоторое оживление. Они появлялись на вечеринках в ночных рубашках и пижамах, пародируя актеров, любивших повсюду щеголять в костюмах, которые они носили на съемочных площадках. На одном из обедов гости вдруг почувствовали неведомо откуда донесшийся странный запах. Хозяева направились и на кухню, где обнаружили Фицджеральда, размешивающего в кастрюле варево из дамских пудрениц и сумочек и томатном соусе.

Однако большую часть времени он был прикован к сценарию, порой даже обедая в рабочем кабинете. Однажды утром Карл Ван Вехтен увидел, как он прохаживался около своего бунгало, пристально глядя на простирающуюся вдали цепь гор.

Скотт, ты не мог бы зайти ко мне? — позвал его Ван Вехтен.

— Нет, не могу, — бросил через плечо Фицджеральд, — у меня скарлатина.

Раз вместе с Зельдой они отправились за город посмотреть съемки фильма в местечке, как две капли воды походившем на французскую деревню. На съемочной площадке толпились сотни статистов, одетых в крестьянские робы и солдатскую форму. По одному свистку все стремглав бросались на поле боя, по другому — возвращались на свои прежние места. Ему было странно слышать слова режиссера: «Поставьте двадцать крестьян вот сюда». Съемки дали ему представление о той, «более грубой



привлекательной силе» — кинематографе, — который он после относительной неудачи с «Ночь нежна» стал рассматривать как пагубного конкурента для романиста. В целом люди киноискусства ему не понравились. Претили их, как он называл, «почти истерическое себялюбие и нервическая возбужденность, скрытая прозрачной вуалью тщательно продуманного панибратства». Работа сценариста также разочаровала его. Позднее он признался, что отправился в Голливуд с чувством уверенности, граничившим с высокомерием. «В течение нескольких лет я, по общему признанию, считался ведущим американским писателем как с точки зрения серьезности поднимаемых тем, так и спроса, учитывая мои растущие гонорары... Я искренне полагал, что, без усилий с моей стороны, я своего рода волшебник слова — непонятное заблуждение, если учесть тот невыносимо упорный труд, который я затрачивал в попытках выработать стиль чистый и выразительный». «Юнайтед артисте» выплатила ему аванс в 3500 долларов, но он так никогда и не получил 12500 долларов, причитавшихся ему после завершения съемок картины, поскольку его сценарий был отвергнут. Не считая, что поездка в Голливуд обогатила его как писателя, он вернулся к своему настоящему *metier*<sup>[122]</sup> — художественной прозе.

Фицджеральд нуждался в спокойной обстановке, чтобы завершить роман. Макс Перкинс предложил ему поселиться в Уилмингтоне, полагая, что почти средневековая атмосфера, поддерживаемая там Дюпонами,<sup>[123]</sup> заинтересует Фицджеральда и даст ему материал на будущее. С помощью однокашника Джона Биггса, работавшего в то время в Уилмингтоне адвокатом, Фицджеральд арендовал Иллерслай — большой, с высокими потолками дом, живописно расположенный на берегу Делавэра. Построенный в 1842 году, он утопал в тени старых дубов, буков и каштанов. От портика с греческими колоннами открывался величественный вид на реку. В доме, по утверждениям старожилов, обитали призраки, и иногда Фицджеральд, желая напугать гостей, изображал злых духов. Скотта привлекла еще и низкая арендная плата — до завершения романа ему предстояло жить, стесняя себя в расходах.

И все же Фицджеральд и Зельда продолжали вести себя взбалмошно, хотя Уилмингтон — это не такая большая арена, как Париж или НьюЙорк. Они возобновили дружбу с Томми Хичкоком, звездой поло, знакомым им по Лонг-Айленду, — его обаянием Фицджеральд наделил Тома Бьюкенена в «Великом Гэтсби». Фицджеральд восхищался Хичкоком. Его жизнь, полная приключений, импонировала ему. Во время войны Хичкок вместе с

Хоби Бейкером служил в эскадрилье «Лафайет»,<sup>[124]</sup> был сбит, взят в плен и бежал, выпрыгнув на ходу из окна поезда. Вернувшись в Америку с *Croix de guerre*<sup>[125]</sup> и славой звезды в поло, он, не стесняясь, поступил на первый курс Гарварда. «Именно это сочетание качеств в Томми, — писал Фицджеральд, — поместило его в мой пантеон героев». А героем Фицджеральда всегда был тот, кому он стремился подражать. Как-то в Иллерслае был устроен матч в поло. Игроки, вооруженные крокетными клюшками, восседали на тяжеловозах, приведенных с соседнего поля.

В августе Фицджеральды побывали в гостях у Чанлеров в их летнем доме, расположенном на севере штата НьюЙорк. Тедди Чанлер сопровождал Скотта во время злосчастного визита к госпоже Уортон. Скотт обожал мать Тедди, писательницу Маргарет Уинтроп Чанлер, о которой как-то написал, что это самая очаровательная старушка в мире. Она называла его своим «безрассудным ангелом» и много рассказывала ему о принце Боргезе и других знаменитостях, знакомых ей по дням пребывания за границей в детстве. На ее вопрос о его мечте Скотт ответил: «Так же любить Зельду и остаться женатым на ней и еще написать самый известный роман в мире».

На Рождество Фицджеральды устроили обед. Они планировали этот праздник как тихое застолье. Накупили для Скотти массу подарков и экзотически украсили елку. Хотя пригласили всего лишь нескольких друзей, в дом начали прибывать неожиданные посетители: репортер, который, напившись, заснул, не вставая из-за стола; театральный агент со своей любовницей, которую он тут же избил до полусмерти. Когда у дверей появилась группа деревенских жителей, распевавших рождественские гимны, то и их позвали в дом, чтобы роскошно попотчевать. Вскоре страсти накалились до предела...

Фицджеральд всегда умел сглаживать гнетущую атмосферу, воцарявшуюся в доме после того, как наступало тяжелое похмелье. На следующий день, когда они подбирали осколки посуды, а Скотти плакала и нервы у всех были на пределе, он, улыбнувшись, произнес: «Нет, вы только подумайте, сейчас точно такое же происходит по всей стране».

Но выпадали и радостные, светлые дни, как тот, что описан Фицджеральдом в рассказе «На улице, где живет столяр». Пока Зельда в мастерской заказывала домик для кукол Скотти, Фицджеральд сидел с дочерью в машине и разыгрывал захватывающее представление, используя в качестве подмостков ничем не примечательный перекресток Уилмингтона. Он обладал врожденной способностью вдыхать красоту и

жизнь, устраняя из нее повседневность и делая ее той, какой она нам видится в наших грезах. Так квартира с громко хлопающими ставнями в обветшалом домике напротив превратилась в темницу, где злой людоед заточил сказочную принцессу, — за то, что его когда-то не пригласили на ее крестины. Принц не может освободить принцессу, пока не найдет три волшебных камешка, — один он уже обнаружил в комод с воротничками у президента Кулиджа.<sup>[126]</sup> Теперь он разыскивает второй в Исландии. Стоило Скотти отвернуться, как Фицджеральд тут же спешил объявить ей, что квартира озарилась голубым светом. Это означало, что принц достал и второй волшебный камешек. Маленький мальчишка, шагавший к дому непомерно большими шагами, оказывался злым людоедом в маске, а нарисованные им мелом знаки над дверным звонком — колдовством. Два человека, пересекавшие улицу, превращались в солдат королевской армии, что собирается неподалеку, чтобы окружить дом, Ставни, хлопая, открывались и закрывались по велению фей, Доброй и Злой, у которых были свои причины держать их открытыми или закрытыми.

«Ты моя добрая фея», — говорил Фицджеральд, улыбаясь и целуя Скотти в щеку.

После вывода Фицджеральда из «Коттедж клуб» в 1920 году он испытывал несколько прохладные чувства к своей альма-матер. Однако, когда в 1927 году «Колледж хьюмор» предложил ему написать статью о Принстоне, он вдруг понял, что никогда не переставал его любить, слезы подступили у Скотта к горлу, когда грохочущий пригородный поезд приближался к утопавшим в зелени старинным башням студенческой обители, вдохновившей его на первую книгу. Нуждаясь в некоторых деталях для рассказа, он несколько раз останавливался в Принстоне в сентябре, чтобы понаблюдать за тренировкой университетской команды в регби, и его страсть к игре пробудилась с новой силой. До конца своей жизни он останется заядлым болельщиком и комментатором регби.

В феврале 1928 года Фицджеральды устроили у себя обед, который Эдмунд Уилсон описал в небольшом очерке «Воскресенье в Иллерслае». Поскольку Уилсон стал теперь штатным сотрудником журнала «Пью рипаблик», он разыгрывал роль своего рода «крестного отца» в литературе, которому Фицджеральд чувствовал себя обязанным отчитываться за свои успехи или отсутствие таковых.

С момента отъезда Фицджеральдов в Европу в 1924 году Уилсон редко виделся со Скоттом и понимал, что в их отношения «закрался холодок». За обедом Фицджеральд предложил Уилсону и Гилберту Селдесу<sup>[127]</sup> указать

на самые плохие черты его характера. Селдес ответил, что если у него и есть недостаток, то это его способность нагонять скуку, что, как вспоминал Уилсон, «совершенно смутило Скотта, пока мы оба дружно не рассмеялись».

Фицджеральд вернулся из-за границы поклонником Шпенглера, «Закатом Европы»<sup>[128]</sup> которого в то время зачитывались. Ему казалось, что процветающая Америка 1927 года, где все безудержно стремятся к богатству, еще одно свидетельство загнивания Запада. В интервью, данных им в то время, разговор неизбежно сползал на бесхребетность американцев и необходимость войны, чтобы испытать характер. Эта увлеченность Шпенглером, по-видимому, была связана и с подсознательным ощущением Фицджеральдом своего собственного угасания. Его писания — произведения, столь многочисленные и, казалось, так легко выходявшие из-под его пера вначале, все больше превращались для него в изнурительную поденщину. Завязнув с романом, он, проклиная себя, был вынужден взяться за рассказы для «Пост». Макса Перкинса очень беспокоило то, что он ради приличия называл «нервами Скотта». «Врачи, — сообщил он Ларднеру осенью 1927 года, — советуют ему заняться физкультурой и перестать пить. В остальном же, он совершенно здоров».

Страсть Фицджеральда к спиртному оказалась не единственной проблемой. Давно роившаяся в Зельде неудовлетворенность все более осложняла их жизнь. Ее капризы превратились в невыносимую вздорность. В компании друзей у нее вдруг возникало желание попробовать свежей клубники или съесть сэндвич с сельдереем, и она начинала донимать всех присутствующих этой своей прихотью, пока, наконец, ей не доставали того или другого. В разгар веселья она могла заявить, что ей не нравится оркестр, и увести Скотта домой. Ее привычка нервно кусать губы, в последнее время, стала еще более заметной, а ее совсем еще недавняя красота начала блекнуть: кожа на лице погрубела, а черты лица заострились, словно их высекли из камня.

Она не хотела больше довольствоваться ролью жены Фицджеральда. Да, он воплотил ее в своих книгах, сделал ее известной, но она не желает быть моделью художника. Она сама станет художником. В течение слишком длительного времени Зельду-художника заслоняла Зельда-бездельница, которая в одинаковой степени получала удовольствие от поглощения яблок, чтения книг или просто сидения на солнце, отчего ее стройные коричневые ноги покрывались еще более темным загаром. «Надеюсь, я никогда не стану настолько честолюбивой, чтобы попытаться создать что-нибудь, — уверяла она Фицджеральда перед свадьбой. —

Гораздо приятнее испытывать уверенность в том, что ты сможешь сотворить что-нибудь лучше других». Но постепенно в ней проснулось желание писать — эссе, скетчи, и вскоре ее, дававшие ей без особого труда,opusy замелькали в широко читаемых журналах. Она была не прочь даже порой подчеркнуть, что Скотт ей многим обязан. В интервью по поводу «Прекрасных, но обреченных» она бросила ему вызов: «Господин Фицджеральд, по-видимому, считает, что плагиат начинается в семье». Скотт и не отрицал этого. Наоборот, он постоянно признавал, что плохо разбирается в человеческой натуре и что многое познает через Зельду. В этом была доля истины. Из них двоих Зельда оказалась большим реалистом, она проявляла большую трезвость в оценке людей, видя насквозь тех, кого Скотт, случалось, уже готов был идеализировать.

Поскольку Скотт опередил ее на литературном поприще, она чувствовала, что ей нужно избрать другой вид искусства — живопись, например, которой она слегка увлеклась весной 1925 года на Капри, или балет. Ей с детства нравилось отплясывать везде, где только предоставлялась возможность. Поэтому никого не удивило, что она вдруг стала ездить в Филадельфию брать уроки балетного танца, хотя ее на двадцать лет запоздавшее стремление стать профессиональной балериной выглядело несколько странным.

В написанном ею рассказе «Подруга миллионера» героиня покидает мужа, чтобы начать карьеру киноактрисы, потому что «с самой первой встречи с ним, что бы я ни делала, что бы со мной ни происходило, казалось, все делалось ради него. Теперь я сама хочу добиться славы, чтобы я снова могла сделать его своим избранником». Зельда стремилась доказать свою значимость в этом мире. В прошлом Скотт упрекал ее за лень, за растрату таланта, приводя ей в качестве примера Луизу Моран, нашедшую применение своим способностям. Раз так, Зельда покажет ему, на что она способна...

Письма к Карлу Ван Вехтену в первый год их пребывания в Иллерслае носили отпечаток былой беззаботности, однако в них преобладали нотки, свидетельствовавшие о лихорадочно прилагаемых ею усилиях. Примером того могут служить следующие строки:

*14 июня 1927 года.* «Я написала чудесный портрет Лавинии, черного худющего хорька, который, мне думается, приютился у нас под кроватью наверху. Поскольку при нашем появлении он всегда стрелой бросается в угол, я не вполне уверена, что он вообще существует. Но портрет его готов, и я хочу выставить его...»

*14 октября.* «Пожалуйста, прости, что я так долго молчала. Порой

кажется, будто жизнь пошла кувырком, я поступила в школу филладельфийского театра оперы и балета. В последнее время гостям нет конца. У меня такое впечатление, что в округе не осталось ни одного трезвого человека, и я еле выкраиваю в этой суматохе время, чтобы спокойно заняться своими делами...»

23 марта 1928 года. «Скотт задумал пересечь Атлантический океан за счет рассказов для «Пост». Мы планируем отправиться в Европу в мае. Уилмингтон стал просто невыносим. Я так скучаю по *Chablis*,<sup>[129]</sup> *fraises des bois*,<sup>[130]</sup> персикам в шампанском на десерт. Кроме того, я хочу вновь почувствовать очарование обстановки, которое ощущаешь лишь в Париже или, может быть, еще в Монте-негро».

Фицджеральды провели лето 1928 года в Париже, поселившись в доме 58 по улице Вожирар напротив Люксембургского сада. Одним из самых волнующих событий этой поездки явилась встреча с Джеймсом Джойсом, перед которым Скотт испытывал такое благоговение, что ни разу до этого не осмеливался даже приблизиться к нему. Когда Сильвия Бич, владелица книжного магазина «Шекспир», пригласила Джойса и Фицджеральда на обед Фицджеральд заявил за столом, что готов выпрыгнуть в окно в знак признания гения Джойса. «Этот молодой человек, должно быть, сумасшедший, — утверждал позднее Джойс. — Боюсь, как бы он не причинил себе какое-нибудь увечье».

Через Сильвию Бич Фицджеральд познакомился с Андре Шамсоном,<sup>[131]</sup> единственным зарубежным писателем, с которым он сдружился за все годы своего пребывания за границей. Шамсон приехал в Париж из далекой Севенны, горного района к северу от Нима. Несмотря на высокую оценку критиками его романов о родном крае, он был вынужден перебиваться на зарплату клерка Национального собрания, и ютился в квартирке под самой крышей, в доме, расположенном позади Пантеона. Как-то вечером Фицджеральд наведлся к нему. Он с трудом поднялся по лестнице, потому что притащил с собой огромный чан, наполненный льдом и бутылками с шампанским. Когда Шамсон встретил его на полпути, Скотт предложил искупаться в чане и тут же снял рубашку. «Хотя, — вспоминал Шамсон, — я и не пуританин, мне в душу все же закралось опасение — Скотт уже начал снимать штаны. Пустив в ход все свое красноречие, я убедил его, что исполнить задуманное ему будет все же удобнее у меня в квартире».

Зельда между тем упорно занималась балетом. Всякий раз, когда Шамсон приходил к Фицджеральдам, он заставал ее с лицом, покрытым кремом. У Шамсона сложилось впечатление, что отношения между

Скоттом и Зельдой бурные и что они несчастливы. Несмотря на это, Скотт продолжал оставаться приветливым хозяином и чудесным собеседником, которого интересовало все и вся. Он редко говорил о писательском мастерстве. «Временами, — вспоминал Шамсон, — Скотт приоткрывал занесу над тайнами своего искусства, но назначение художника он видел в том, чтобы жить». Насыщенная жизнь неизбежно проявится в творчестве. Шамсону, которому в то время было двадцать шесть, Фицджеральд казался двадцатилетним юношей и вызывал у него в памяти очаровательного любимца французских романтиков Альфреда де Мюссе. Подобно Мюссе, Фицджеральд сочетал в себе тщеславие, лиричность, щедрость души и одновременно неукротимое желание увековечить свою юность — но крайней мере, иллюзию ее — с помощью вина.

Фицджеральды вернулись в Америку в сентябре 1928 года. Скотту исполнилось тридцать два, и, как он отмечал в своем дневнике, это его «чертовски злило». Макс Перкинс, встретивший Фицджеральдов на пирсе после их осложненного штормами путешествия через океан, вспоминал, что у Скотта «одних счетов за вино скопилось долларов на двести. Тем не менее, выглядел он вполне сносно. Он сообщил мне, что вчерне закончил роман, и что осталось подработать лишь кое-какие места, которые ему не нравились». Хотя Фицджеральд и испытывал смущение от того, что уже получил от «Скрибнерс» аванс за роман в восемь тысяч долларов, он стал нажимать на издательство, требуя, чтобы оно ссудило ему еще некоторую сумму под будущую книгу. Перкинс пошел ему навстречу. Фицджеральд обещал вернуться из-за границы с законченной рукописью, но направил Перкинсу первую четверть лишь в ноябре. Вторая четверть не поступила и в марте 1929 года. Истек двухгодичный контракт Фицджеральдов на Иллерслай, и они вновь отправились в Европу. «Огромное спасибо за твое терпение, — извинялся Фицджеральд в письме Перкинсу перед отъездом, — и, пожалуйста, подожди еще несколько месяцев, Макс. Для меня этот период тоже оказался нелегким. Я никогда не забуду твоей доброты и того, что ты ни в чем не упрекнул меня».

Утешение доставляла лишь серия рассказов о Безиле Дьюке Ли, девять из которых он написал в период между мартом 1928 и февралем 1929 года. Эти повествования о его детстве дышали искренностью и непосредственностью. Даже самый слабый из них намного превосходили худосочные рассказы о любви, написанные им для «Пост». К 1927 году его гонорар за каждый рассказ возрос до 3500 долларов, и в тот год он заработал рекордную сумму — 29 738 долларов. Но Скотт и Зельда продолжали жить с тем же размахом и неистовостью. «Мы живем без



оглядки, — любили повторять они. — Когда мы поженились, мы взяли себе за правило никого и ничего не бояться».

В течение последних нескольких месяцев проживания в Иллерслае всем стало ясно, что беда может разразиться в любое время. Зельда не давала себе ни минуты покоя: она занималась живописью, писала, помогала Скотти делать уроки, а ее непрекращающиеся занятия балетом напоминали Джону Биггсу многодневные средневековые ритуальные пляски. Скотт тоже изменился. Недовольство собой подстегнуло в нем высокомерие. Случалось, он подходил к совершенно незнакомым людям в общественных местах и начинал задирать их: «Я Скотт Фицджеральд, а вы кто такой? Чем вы занимаетесь? И кому от этого польза?» Во время пребывания летом за границей его дважды бросали за решетку. По возвращении в Уилмингтон он вместе со своим шофером, бывшим боксером, отправлялся в населенные темными личностями районы города и встречал в драки, обычно заканчивавшиеся его доставкой в полицейский участок. Джону Биггсу несколько раз приходилось вставать среди ночи, чтобы вызволять его из рук блюстителей закона.



## ГЛАВА XII

Описывая НьюЙорк по возвращении из Европы в конце 1926 года, Фицджеральд вспоминал: «Спешка... граничила с истерией. Приемы были многолюднее... Темп убыстрился... спектакли стали смелее, здания — выше, нравы — вольнее, спиртное — дешевле, только все эти достижения не вызывали особого восторга. Молодые быстро изнашивались — в двадцать один год человек успевал ожесточиться и на все махнуть рукой... Мои друзья, как правило, пили лишнее и соответствовали духу времени тем полнее, чем больше пили... Город заплыл жиром, отрастил себе брюхо, отупел от развлечений и на сообщение о строительстве какого-нибудь сверхсовременного небоскреба отзывался только вялым «В самом деле?»».

Все это побудило Фицджеральда вновь уехать в Европу весной 1929 года. Американцы обладают свойством обнаруживать любовь к своей стране, лишь оказавшись вдали от ее берегов. В ничем не примечательном коротком рассказе того периода Фицджеральд передал испытываемое им в момент отъезда настроение: «Глядя с палубы «Маджестик» на таявшие в дымке очертания Нью-Йорка, на исчезающий за горизонтом берег, он почувствовал, как на него нахлынула волна радости и гордости оттого, что там оставалась Америка, что изуродованная нагромождением заводов богатая земля — неиссякаемо плодородная и щедрая — все еще плодоносила, что в сердцах оказавшихся без компаса людей все еще находили отклик великодушные и любовь...»

Ступив на берег в Генуе в первых числах марта, Фицджеральды, прежде чем отправиться в Париж, провели месяц на Ривьере. В июле они снова вернулись в Канны, поселившись для удобства поближе к чете Мэрфи — те опять проводили лето в Антибе. К сожалению, этот райский уголок к тому времени уже потерял свое былое очарование. Его наводнили американские туристы...

Отношения Фицджеральда с четой Мэрфи становились несколько натянутыми. Джеральд и Сара служили прототипами героев романа, над которым он работал. Поэтому, оказываясь с ними в компании, он имел обыкновение разбирать их характеры и поступки вслух в присутствии остальных, и делал это порой столь безжалостно, что Сара в конце концов, не вытерпев, отчитала его в письме: «Вряд ли кому-нибудь приятно оказаться объектом непрерывного анализа, обсуждения и критики, в целом недружелюбной, каковым мы являемся вот уже в течение довольно

продолжительного времени. Подобные разговоры, безусловно, отравляют радость любой встречи с друзьями. Джеральда от всего этого ужасно коробит... А вчера вечером Вы даже позволили себе заявить, что Вам «никогда не доводилось видеть Джеральда таким грубым и глупым». Я полагаю, вряд ли стоит Вам описывать мне Джеральда, а Джеральду меня. Если Вы плохо разбираетесь в людях, это Ваша беда, и если Джеральд был «груб», встав и покинув вечеринку, которая становилась совершенно невыносимой, то тем самым он проявил также грубость и по отношению к Хемингуэям и Маклишам. Вы вряд ли когда-нибудь научитесь уважать то, что называется «манерами». Вероятнее всего, Ваше поведение объясняется какой-то лишь Вам одному ведомой целью (может быть, оно имеет связь с Вашей книгой). Однако в Вашем возрасте уже давно пора осознать, что в отношениях с друзьями не может быть никакой цели. Если Вы не можете принимать нас просто, без задней мысли, тогда мы вообще не друзья. Мы — Джеральд и я — в нашем возрасте и положении не можем мириться со студенческими выходками, подобными той, которую Вы допустили вчера вечером. Мы — очень простые люди (если, конечно, мы не оказываемся неожиданно в студенческом балагане). Мы искренне и по-настоящему любим Вас обоих. Я говорю это потому, что мы действительно питаем к Вам это чувство. Поэтому, ради Бога, примите его таким, какое оно есть, — открытым и без оговорок.

Ваш старый и недовольный вами друг.

Сара».

То, что ощущалось в Фицджеральде как грубость, на самом деле было лишь проявлением своего рода любознательности, стремлением понять людей через их реакцию на окружающий мир. Отталкиваясь от их поступков, он начинал творить. Он не спешил домой как журналист, чтобы записать услышанное. Он стремился уловить общий дух, настрой души, чувства, которые бы породили в нем, художнике, образы.

В октябре Фицджеральды вернулись в Париж и сняли квартиру в доме 10 по улице Перголез неподалеку от авеню Гран Арме. В ту осень на бирже произошел крах, но Фицджеральда тогда больше занимали личные проблемы: казалось, его собственная жизнь пошла наперекосяк.

Его старые друзья Кальманы, посетившие в тот год Париж, нашли его по-прежнему обаятельным, но невыносимым. Войдя в отель, Кальманы были удивлены, увидев Фицджеральда, поджидавшего их в вестибюле. «Откуда ты узнал о нашем приезде?» — поразились они. Скотт, совершавший прогулку по городу, увидел грузовик с четырьмя кофрами фирмы «Ошкош». «Ага, — сказал я себе, — только у Кальманов может

оказаться четыре кофра «Ошкош». Затем я увидел на них ваши инициалы и последовал за грузовиком. Ваши чемоданы придут через минуту». После этого приятного начала Фицджеральд явился к Кальманам на коктейль на следующий день и оскорбил хозяев в присутствии гостей. Когда Оскар Кальман запретил ему после этого прикасаться к вину, Фицджеральд выскочил из квартиры и, хлопнув дверью, заявил, что его ноги больше не будут в этом доме. Сутки спустя он уже барабанил в дверь Кальманов и умолял: «Калли, почему бы нам не заглянуть в «Прюнье» и не попробовать устриц? Я сознаю, что вчера был нестерпим».

Однажды, когда он в баре «Риц» заказывал порцию бренди, к нему подошел метрдотель:

— Господин Фицджеральд, я заплатил сто франков, чтобы достать вон тому джентльмену новую шляпу.

— Шляпу? Какому джентльмену? — удивился Фицджеральд.

Оказалось, что накануне вечером, сидя за стойкой бара, он вдруг вскочил при виде вошедшего незнакомца и ни с того ни с сего сбил у него с головы шляпу и растоптал ее.

— Я должен предупредить вас, — продолжал метрдотель, — что, если что-нибудь подобное повторится еще раз, мы будем вынуждены отказать нам и наших услугах.

— И правильно поступите, — согласился Скотт. Пристрастие к вину росло, а силы Скотта ослабевали. Мэрфи вспоминал, как в 1926 году Фицджеральд приехал к нему на виллу «Америка» и был в приподнятом настроении, которое испытывал всегда, когда писал. Но тогда он работал, будучи трезв как стеклышко. Позднее Фицджеральд сам утверждал — и нет оснований сомневаться в искренности его слов, — что лишь в 1928 году в Иллерслае он стал преднамеренно употреблять спиртное, чтобы стимулировать себя. Но тот же Мэрфи рассказывал, как Фицджеральд, выпив за обедом две порции мартини и немного вина, лег на кушетку и потерял сознание. Так он и провел всю ночь. Наутро служанка, увидев гипсовую бледность его лица, с тревогой справилась у Сары:

— *Madame est sure que Monsieur n`est pas mort?*<sup>[132]</sup>

Сначала Фицджеральд пил, чтобы обострить восприятие жизни, расширить для себя ее горизонты. После нескольких коктейлей ему начинало казаться, что мысль летит как на крыльях, но постепенно хмель брал свое. Безусловно, имея в виду себя, он писал: «Подобно множеству застенчивых людей, которые не могут совместить созданный их воображением мир с реальной действительностью, он нашел средство забывать об этом». Фицджеральд был застенчив и мечтателен, а люди

значили для него больше, чем все остальное, и с помощью алкоголя он перебрасывал к ним мостик. «Я обнаружил, — признается герой одного из его рассказов, — что после нескольких рюмок я становлюсь разговорчив, и, каким-то образом, проявляю способность доставлять людям удовольствие... Затем, чтобы поддержать себя в таком состоянии, я пропускаю одну стопку за другой, и все начинают видеть во мне чудесного малого».

В его душе происходила и иная борьба. Хотя он отошел от католичества, он остался благочестив и даже упрекал себя за отход от церкви. Он обожал славу, но никогда до конца не мог поверить в нее, потому что она обрушилась на него так стремительно. Ему хотелось зарабатывать крупные суммы и в то же время приходилось насиловать свой талант, продавая его в розницу журналам. Как-то он жаловался Джону Биггсу, что пьет от сознания неспособности стать когда-либо первоклассным писателем и что он всегда останется «в первом ряду второсортных». Он страдал от сомнений, как все обладающие недюжинным художественным талантом натуры, неуверенные в том, что вдохновение посетит их вновь.

В июне Фицджеральд известил Перкинса, что перестраивает роман и что это, как он надеется, поможет ему преодолеть возникшие трудности. На том упоминания о романе и кончились. Последующие письма оказались полны имен начинающих писателей, которыми могло бы заинтересоваться «Скрибнерс» (Эрскин Колдуэлл, Морли Каллаган<sup>[133]</sup>). Перкинс же исподволь все время давал понять, что единственная рукопись, к коей проявляет интерес издательство, — это его собственная. Минуло уже три года с момента выхода его последней книги. Но когда литературный агент Скотта предложил издать в виде сборника рассказы о Безиле, Фицджеральд воспротивился: «За последние пять лет я мог бы опубликовать четыре никудышных сырых книги, и публика приняла бы меня, по крайней мере, как стоящего молодого человека, который не спился где-нибудь в экзотических южных морях. Но в этом случае на мне пришлось бы поставить крест, как на Майкле Арлене, Бромфилде, Томе Бойде...<sup>[134]</sup> и многих других, кто полагает, что им удастся одурачить мир своими скороспелыми второсортными поделками».

После опубликования «Гэтсби» Фицджеральд предъявлял к себе еще более высокие требования. Теперь он видел соперника в Хемингуэе, чей стиль на первый взгляд и угловат, но слова лежат, будто подогнанные друг к другу кирпичи, скрепленные высококачественным раствором, то есть это

стиль подлинного художника, и он полностью отличается от его, Фицджеральда, манеры письма. «Да, в его прозе есть волшебство», — делился он своими впечатлениями с Мэрфи, прочтя «И восходит солнце» («Фиеста»). А знакомство со сборником рассказов Хемингуэя «В наше время» побудило его признать: «Книга рассказов Эрнеста гораздо лучше моей». Незадолго до этого Хемингуэй опубликовал «Прощай, оружие!», он давно вынашивал этот шедевр о войне. В течение первого года роман разошелся в 93 тысячах экземпляров, более чем в два раза превысив первоначальный тираж любой из книг Фицджеральда.

С возрастом успех некоторая заносчивость, свойственная Хемингуэю и ранее, уступает место сдержанной бравате победителя. Хемингуэя и Фицджеральда того времени можно было бы сравнить с быком и бабочкой. Бабочка очаровывает радугой своих крыльев, а бык воплощает силу. Хемингуэй подавлял своим присутствием, заставляя подчиниться его воле, восторгаться тем, чем восторгался он сам. Мир вращался вокруг него. Фицджеральд, менее цельный, чем Эрнест, был тоньше, пронзительнее, мягче, он походил на рассеянные лучи света, прорывавшиеся через пелену облаков. Эллинически хрупкая пластичность и изящество Фицджеральда контрастировали с грубоватой силой и напористостью Хемингуэя. Оба были истинными художниками, но Фицджеральда отличало более тонкое проникновение в человеческую душу, а Хемингуэя более отшлифованный стиль.

По сравнению с ранним периодом, когда Фицджеральд выступал в роли покровителя Хемингуэя, в отношениях друзей появляется некоторая резковатость. В 1925 — 26 годах их письма были полны беззаботности и подтрунивания друг над другом. Еще до выхода «Фиесты» Хемингуэй, знакомя Фицджеральда с содержанием романа, писал ему, что, хотя он и старался подражать «Великому Гэтсби», ему это как-то не удавалось, — видимо, никогда не приходилось жить на Лонг-Айленде. «Герой романа, подобно Гэтсби, — рыбак с Верхнего озера, занимающийся ловлей лосося (в этом озере лососей отродясь не водилось). Действие происходит в Ньюпорте в штате Род-Айленд. Главная героиня, Софи Ирен Леб, — убийца своей матери. Сцену, в которой Софи рождает близнецов в камере для смертников в Синг-Синге и ожидает электрический стул за убийства отца и сестры детей, которых она еще не родила, я позаимствовал у Драйзера, все же остальное в книге принадлежит мне или тебе. Я знаю, книга тебе понравится. Слова «И восходит солнце...» вырываются из уст Софи, когда ее привязывают к стулу и включают ток».

В данном случае Хемингуэй разыгрывал Фицджеральда в связи с

романом, над которым Скотт в то время работал и в котором, как полагали, исследовалась история убийства героем своей матери. Но уже и в те дни между Фицджеральдом и Хемингуэем обнаружилось трение — в своем проявлении внимания Скотт мог быть надоедлив. В пылу полуночных пирушек с друзьями у него вдруг возникало желание поговорить с Эрнестом. Но предрассветные визиты Скотта не всегда нравились его другу. Днем, когда Хемингуэя не бывало дома, Фицджеральд заглядывал к нему и сумел так переругаться с консьержкой, что, когда в 1929 году Фицджеральд вернулся в Европу, Хемингуэй попросил Перкинса не давать Скотту его адрес. Но Фицджеральд все равно разыскал его, и, хотя они нередко виделись в тот период, Фицджеральд отмечал в своем дневнике некоторую «холодность» Хемингуэя.

Частично, разлад в отношениях объяснялся и раздражительностью Фицджеральда — собственная его работа продвигалась медленно. Когда Гертруда Стейн как-то заметила, что «пламя» Фицджеральда и Хемингуэя «отличается одно от другого», Скотт счел ее слова признанием превосходства Хемингуэя над ним. Эрнесту в письме пришлось уверять Скотта, что Гертруда имела в виду обратное. Любое, даже условное, сравнение «пламени», утверждал он, — чистейшая глупость, точно так же, как и сравнение его и Фицджеральда: они идут абсолютно разными путями и встретились совершенно случайно, между ними, как писателями, нет ничего общего, кроме желания хорошо писать. Поэтому к чему все эти разговоры о превосходстве? Если Скотту не дает покоя мысль о том, кто выше — он или Хемингуэй, то это его личное дело. Но подобные мысли не должны занимать крупных писателей — они все пассажиры одного и того же судна, устремленного в небытие. Соперничество на корабле так же глупо, как и спортивные игры на борту. Оно имеет смысл лишь на начальном этапе — при постройке самого корабля.

Гордый и легкоранимый, Хемингуэй проявлял терпение к Фицджеральду, и все же в нем сильно был развит дух соперничества. Уже в 1925-26 годах он с налетом иронии отозвался о Фицджеральде как о своем «покровителе». После встречи с Джеймсом Джойсом летом 1928 года Фицджеральд поведал Перкинсу, что Джойс пишет «по одиннадцать часов в день, в то время как я с перерывами еле высиживаю восемь». Перкинс обмолвился об этом Хемингуэю, а тот в письме к Фицджеральду не преминул съязвить по поводу его работоспособности. Он, Хемингуэй, никогда не мог сосредоточить внимание над листом бумаги более двух часов подряд. Да к тому же после этого чувствовал себя совершенно измочаленным, и из-под пера начинал выходить один лишь хлам. Но,

оказывается, старина Фиц, которого он когда-то знал, корпит по восемь часов в сутки! В чем секрет способности Фицджеральда не вставать из-за стола по восемь часов? Он, Хемингуэй, с нетерпением ждет выхода произведения, рожденного таким титаническим трудом. Может быть, оно будет походить на излияния другого трудяги, коллеги-кельта Джойса? Не ударился ли Фицджеральд в сюрреализм? В конце письма Хемингуэй называл Скотта безбожным вралем, уверяющим, что он работает — пишет — по восемь часов ежедневно.

Весной 1929 года их отношения были омрачены из-за инцидента во время боксерского матча между Хемингуэем и Морли Каллаганом. Фицджеральд, следивший за секундомером, по оплошности запоздал дать сигнал об окончании раунда, а между тем Хемингуэю приходилось туговато. Спустя несколько месяцев, когда в пьяной ссоре Фицджеральд заявил, что его так и подмывает дать Хемингуэю взбучку, тот намекнул, что Фицджеральд это уже сделал, то есть нарочно продлил тот злосчастный раунд. Фицджеральд был возмущен до глубины души, и Хемингуэю пришлось написать ему длинное письмо с извинениями. Между тем «НьюЙорк геральд трибюн» поместила неподтвержденное сообщение, будто Хемингуэй был нокаутирован во время боя. Хемингуэй убедил Фицджеральда послать телеграмму Каллагану, находившемуся тогда в Америке, с требованием поместить опровержение. Каллаган, не имевший никакого отношения к этому сообщению, жестоко обиделся. И Хемингуэй вынужден был написать ему и всю ответственность за телеграмму взять на себя.

Бесконечные ссоры Фицджеральда с Зельдой носили более серьезный характер, чем его разлад с друзьями. Её маниакальная увлеченность балетом и его пристрастие к алкоголю отдалили их друг от друга. Помимо занятий балетом по утрам, на которые Зельда неизменно появлялась первой с букетом цветов для преподавательницы, она брала в полдень частные уроки. Зельда соблюдала строжайшую диету. С помощью этих усилий она надеялась довести до физического совершенства тело, которое начало слишком поздно осваивать замысловатые *entrechat* и *pas-de-bourree*.<sup>[135]</sup> Свои переживания в этот период она описала в романе «Сохрани для меня вальс», где аскетизм танца становится своего рода искуплением для Алабамы Найт. Под его влиянием она утрачивает интерес к материальным вещам. Она не только не пытается что-либо приобрести, а, напротив, стремится избавиться от чего-то в самой себе. «Алабаме казалось, что, достигни она своей цели, она освободится от поселившихся в ней демонов». От одной мысли перестать заниматься балетом ей становилось

не по себе. Подобно Алабаме, Зельда надеялась, что ей удастся получить место в труппе Дягилева, однако единственное, чего она достигла, — предложения стать танцовщицей в Фоли-Бержер.

Хотя Скотт не имел привычки вмешиваться в дела жены, он относился явно скептически к ее увлечению. «Ты действительно воображаешь, что будешь хорошей балериной? — ставил он под сомнение ее мечту. — Какой смысл так убиваться? Я надеюсь, ты понимаешь, что самая большая разница в мире — это разница между дилетантом и профессионалом в искусстве». Между тем их семейная жизнь — или то, что осталось от нее, — стала совершенно невыносимой. Они «старались украдкой проскользнуть друг мимо друга в затхлых коридорах квартиры и ели на разных концах стола с видом противников, ожидающих друг от друга какой-нибудь враждебной выходки».

Чтобы остановить этот отравляющий жизнь разлад, Фицджеральд в феврале 1930 года отправился с Зельдой в путешествие по Северной Африке. Скотт вернулся, но словам Бишопа, «со здоровым цветом лица, совершенно непохожим на зимнюю бледность, с которой он отбыл в путешествие. Из бесед с ним я сделал вывод, что в целом он теперь в гораздо лучшем состоянии». Однако Зельда принялась за свои занятия балетом с прежней неистовостью. В апреле во время обеда, на котором присутствовали Кальманы, она так забеспокоилась, что опоздает на урок, что Оскару пришлось встать из-за стола и проводить ее. Хотя до начала занятий оставалось много времени, Зельда настойчиво твердила, что она может не успеть, и стала переодеваться в трико прямо в такси. Когда они попали в «пробку», она выскочила из машины и стремглав бросилась по направлению к балетной школе. Кальман позвонил Фицджеральду, и тот сразу же приехал в школу, где все в один голос стали убеждать его, что Зельда больна.

Следующие десять дней она провела в больнице в Мальмисоне. «Г-жа Фицджеральд, — говорилось в медицинской карточке, — поступила в больницу 23 апреля 1930 года в состоянии большой возбудимости, утратив всякий контроль над собой. Помещенная в палату, она непрерывно причитала: «Боже мой, какой ужас, какой ужас! Что со мной станет? Я должна работать, а у меня уже нет больше сил. Хоть умру, но я должна работать... Пустите меня, я должна увидеть «госпожу» (преподавательницу танцев. — Э.Т.). Она доставила мне самую большую радость в жизни...»

При поступлении в больницу г-жа Фицджеральд находилась в состоянии легкого опьянения. По сведениям, в последнее время она злоупотребляла спиртным, полагая, что алкоголь стимулирует ее в работе.



Позднее пациентка испытала несколько приступов страха, аналогичных первоначальному; последний, в ночной период, был особенно острым».

«В целом это *petite anxieuse*,<sup>[136]</sup> вызванное ее занятиями в среде профессиональных танцоров. Ранее отмечались бурные вспышки, несколько попыток к самоубийству, никогда не доведенных до конца. Выписана из больницы 2 мая вопреки советам врача».

Зельда тут же вернулась к занятиям танцами. Эта нагрузка вкупе с многочисленными приемами, связанными с бракосочетанием одной из подруг, не замедлила сказаться на ней. Когда в конце мая снова повторился приступ, ее состояние, по отзывам врачей, стало более серьезным.

После двух недель пребывания в клинике «Вальмон» в Швейцарии врач отмечал: «Сразу же по прибытии г-жа Фицджеральд заявила, что она не больна и помещена в клинику насильственно. Каждый день она повторяли, что желает вернуться в Париж, чтобы возобновить занятия балетом, который, по ее словам, единственное утешение в жизни. Физически она совершенно здорова — никаких признаков нервного заболевания. Становится все очевиднее, что одного лишь отдыха абсолютно недостаточно и что нужен курс лечения в санатории под наблюдением психиатра. Известно, что отношения между пациенткой и ее супругом в последнее время складывались неважно, и поэтому она стремилась создать свой собственный мир с помощью балета (поскольку семейная жизнь и связанные с ней обязанности не могли удовлетворить ее устремлений и артистических наклонностей)».

Уже давно имелись все основания сомневаться в нормальной психике Зельды, однако Фицджеральд отказывался взглянуть правде в глаза, пока она сама не предстала перед ним в безжалостном свете. Весной 1925 года Джеральд Мэрфи посетил Фицджеральда в его парижской квартире и застал того в состоянии сильного возбуждения. «У меня только что побывал Эрнест», — потерянно произнес Скотт. Очевидно, Хемингуэй приходил, чтобы познакомиться с Зельдой. Фицджеральд полагал, что между ней и Эрнестом много общего и что они станут друзьями. К сожалению, ожидаемой Скоттом гармонии не установилось — слишком сильны были характеры обоих, чтобы они могли найти общий язык. (Зельда припасла для Хемингуэя прозвище — «шаромыга»). Когда Хемингуэй уходил, он не преминул в гостинной поделиться с Фицджеральдом своим впечатлением о Зельде: «Скотт, ты, конечно, понимаешь, что она сумасшедшая?» Однажды в цветочном магазине Зельда стала уверять Фицджеральда, что лилии разговаривают с ней, а во время поездки в Голливуд в 1927 году она сложила все свои платья в ванну и

подожгла их. Скотт неоднократно задумывался над ее продолжительными периодами молчаливости, во время которых она совершенно не реагировала на окружающее. Однажды в ответ на вопрос подруги, почему она пьет, Зельда ответила: «Потому что в мире царит хаос, и, когда я пью, этот хаос вселяется в меня».

Врач Зельды в «Вальмоне» пригласил к ней психотерапевта Оскара Форела, который поставил диагноз шизофрении и в начале июня поместил больную в свой санаторий «Пренгин» неподалеку от Женевы. Весь следующий год Фицджеральд провел в скитаниях по Швейцарии — стране, в которой, по его словам, «мало чему есть начало, но многому бывает конец». Иногда он приезжал в Париж, чтобы повидаться со Скотти, которая жила с няней, но основной целью всех его усилий стало выздоровление Зельды.

Сохранилось очень трогательное письмо Фицджеральда доктору Форелу после помещения Зельды в санаторий. Фицджеральд согласился с предписанием врача не видеться с женой, пока ее отношение к нему не изменится, но попросил у него позволения присылать ей хотя бы через день цветы. Он спрашивал, когда он сможет писать ей маленькие записочки, в которых не будет упоминать ни о ее болезни, ни об их размолвках. Он сообщал о намерении «Скрибнерс» опубликовать сборник рассказов Зельды, которые, как он надеялся, позволят ей восстановить контакт с окружающей жизнью и отвлекут ее внимание от балета.

В июле Фицджеральд направил Перкинсу три рассказа (впоследствии потерянных), которые были написаны Зельдой «в мрачный период ее нервного расстройства. Я думаю, что помимо изящества и богатства стиля ты заметишь их необычную форму и трогательное содержание, — они приковывают внимание своей совершенной новизной. Мне кажется также, что они объединены одной канвой, в которой каждая нить — это кусочек ее жизни, трепетно балансирующей на грани отчаяния и безумия. Я полагаю, что это настоящая литература, хотя в данном случае мне так много видится между строк, что мое мнение может оказаться предвзятым». «Скрибнерс» отклонило предложенный Фицджеральдом сборник, и он не был опубликован.

По совету врача Фицджеральд написал письмо преподавательнице танцев Игаровой с просьбой высказать свое мнение о потенциальных способностях Зельды. Чтобы вылечить, ее, по-видимому, требовалось убедить в недостижимости мечты. Но в ответе Игаровой отнюдь не прозвучало и нотки безнадежности, как на то надеялись и врач, и Фицджеральд. Она писала, что, хотя Зельда и начала заниматься балетом

поздно и не станет звездой, в ней есть задатки, и она вполне может справиться со вторыми ролями в крупной труппе, такой, например, как балет Мясина<sup>[137]</sup> в Нью-Йорке.

В течение июня и июля, состояние Зельды колебалось между истерическим безумием и поразительной ясностью сознания. Скотти иногда навещала ее, но первое же свидание Скотта с ней в августе пришлось отложить, поскольку мысль о нем вызвала у нее сильную экзему. Их встреча, на которой сразу же последовал новый приступ экземы, состоялась в сентябре.

Перебирая прошлое Зельды, Фицджеральд винил госпожу Сэйр за тепличные условия, в которых та растила свою последнюю и самую любимую дочь. Мать баловала Зельду до такой степени, что, как признавалась сама Зельда, она, «по-видимому, подточила все мои подпорки в жизни». Она ублажала ее, не позволяла ей ни до чего дотрагиваться, отстаивала ее перед всеми остальными членами семьи, пока у дочери не появилось, как отмечал Фицджеральд, деспотическое, ничем не оправданное, а порой и просто ни с чем не сообразное желание самоутвердиться. Противоречие между этим страстным желанием и унаследованным от отца рационализмом — способностью трезво смотреть на вещи — и привело ее к потере рассудка. Конечно, Фицджеральд сознавал и свою роль в ее трагедии. Его злоупотребление алкоголем преследовало Зельду даже в бреду. Форел определил, что у нее один шанс из четырех поправиться полностью и один из двух вылечиться частично. Но ее выздоровление шло медленно, с частыми рецидивами. И Фицджеральд стал познавать горечь старой мольбы:

...Как удалить из памяти следы  
Гнездящейся печали, чтоб в сознании  
Стереть воспоминаний письмена  
И средствами, дающими забвенью,  
Освободить истерзанную грудь...<sup>[138]</sup>

Ребечке Уэст случайно удалось уловить мгновение в жизни Фицджеральда — мгновение весьма примечательное, если учесть обрушившееся на него в ту пору горе. Вместе с сыном она обедала в Арменонвилле. «Народу было мало, и мы сидели за столиком у самого озера. Вдруг в зале появился Скотт Фицджеральд в сопровождении Эмили Вандербилт,<sup>[139]</sup> знакомой мне еще по Нью-Йорку. Эмили была

очаровательна, — мне кажется, я и не видела головки прелестнее, изысканная причёска еще более подчеркивала ее трогательную красоту. Они сели спиной к нам за стол, стоявший еще ближе к озеру. Она рассказывала ему какую-то длинную грустную историю, видимо, постоянно повторяясь. Он наклонялся к ней, иногда поглаживая ее руку, всем существом излучая предупредительность и сострадание, которые, как я вспоминаю, были его отличительными чертами. Наконец он встал, по-видимому, желая всем своим видом сказать ей: «Не надо больше об этом». Его взгляд упал на нас, и он обратился к ней: «Эмили, только посмотрите, кто здесь». И они закончили обед вместе с нами. У меня не осталось в памяти ничего из того, что он говорил тогда. Мне помнится лишь, что мы делали то, в чем находят забвение люди в минуты эмоциональной подавленности, — мы кормили каких-то птах хлебом. Но он был весел и полон очарования, и мы много и от души смеялись. Затем он проводил Эмили до машины, держа ее под руку, слегка приподняв локоть и убеждая не вешать носа. Я всегда вспоминаю эту сцену с глубоким волнением, потому что некоторое время спустя Эмили Вандербилт покончила с собой».

По пути в Париж в конце июня Фицджеральд встретился с Томасом Вулфом — чудом, недавно открытым издательством «Скрибнерс». Фицджеральду сразу же понравился этот массивный южанин с широкими жестами, взглядом, бросающим вызов, и оттопыренной нижней губой. В тот вечер они засиделись до десяти в баре «Риц», где, как вспоминал Вулф, Фицджеральдом «всецело завладели принстонцы, девятнадцатилетние сосунки, все пьяные и неотесанные». В июле они случайно встретились в Швейцарии. Фицджеральда с его развитым чувством комичного не могло не позабавить, что во время разговора, когда Вулф широко расхаживал и размахивал руками, он оборвал свисавшую проводку, погрузив, таким образом, в темноту близлежащую деревушку. На этот раз Вулф почему-то вообразил, что Фицджеральд стремится помешать его работе. Некоторое время спустя Скотт сообщил Вулфу, что он кончил читать его роман «Взгляни на дом свой, ангел», над которым просидел, не отрываясь, двадцать часов, и «безмерно тронут и благодарен». «Он — ваша большая находка, — оценивал Фицджеральд Вулфа в письме Перкинсу. — От него можно многого ожидать. В нем гораздо больше культуры и жизненной силы, чем в Эрнесте. Если ему и недостает поэтической жилки, то это идет от его желания объять как можно больше. Ему не хватает также эрнестовской закалки, он более восприимчив к окружающему».

Фицджеральд редко писал родителям, но после приступа с Зельдой он успокаивал мать короткими записками о состоянии здоровья жены. Ее

ответные письма, как и все в Молли, раздражали его. Получив от нее морализирующее послание, где она выразила надежду, что горе, возможно, заставит его прислушаться к ее советам, он тотчас же вернул его, заявив, что ее советы хороши для того, кто желает оставаться клерком в пятьдесят лет. Но в нем еще теплилось чувство к отцу, этому мягкому, незаметному человеку, всю жизнь пребывавшему в тени жены, который испытывал огромную отцовскую гордость за успехи сына. Когда Эдвард Фицджеральд умер от болезни сердца в январе 1931 года, Фицджеральд немедленно выехал на похороны.

В натуре Фицджеральда что-то постоянно тяготело к светлому и радостному. Его путешествие на корабле «НьюЙорк» было скрашено маленькой веселой блондинкой по имени Берта Барр, ехавшей в компании техасского нефтепромышленника Германа Корнелла, снявшего несколько шикарных номеров для семьи и друзей. Компания все дни напролет дулась в своих номерах в бридж. Лишь на вторые сутки вечером, не выпуская из рук карт, игроки высыпали на палубу, чтобы взглянуть на проходящий мимо «Бремен». Когда весь залитый огнями великолепный лайнер проплывал рядом, Берта обратилась к Корнеллу: «Папуля, купи мне его».

Между Фицджеральдом и Бертой однажды состоялся следующий разговор в баре.

— Где вы пропадали? — поинтересовался он.

— Занималась делом, — заговорщически прошептала она. — Я картежный шулер и обдираю этот денежный мешок как липку, — указала она на стоявшего неподалеку Корнелла.

Она вытащила колоду и предложила Фицджеральду загадать карту, которую она без труда тут же и отгадала. Фицджеральд весь зажегся в предчувствии готового рассказа, где ему не придется ничего добавлять.

— А вам не кажется, что вы несколько молоды для этого? — попытался он увещевать ее.

— Я занимаюсь этим с четырех лет.

— И с тех пор неизменно выигрываете?

Он хотел проводить ее в каюту, но она отказалась, заявив, что, поскольку он не играет в карты, ей не хочется тратить на него время впустую. Тем не менее, Фицджеральду все-таки удалось настоять на своем, но разыгрывание продолжалось и там. Корнелл притворялся попавшимся на удочку простаком, который на протяжении всего обеда только и бредил игрой. Фицджеральд пытался его удержать: «Но это же неразумно. Для этой девицы игра — вся ее жизнь!» Во время танца, отведя ее и сторону, он пытался пристыдить ее. На следующий день, когда ему признались в том,

что над ним подшутили, Фицджеральд был настолько покорен мастерством Берты, что попросил ее помочь ему. Из-за свалившихся на него в последнее время бед он никак не может сосредоточиться и создать комическую ситуацию. Если она согласится подать ему смешную идею, он напишет рассказ.

После похорон отца в Роквилле Фицджеральд побывал в Монтгомери у Сэйров и попытался вселить в них надежду на скорейшее выздоровление Зельды.

По возвращении в Швейцарию он пишет один короткий рассказ за другим, чтобы покрыть расходы, связанные с лечением Зельды лучшими психиатрами. По словам Маргарет Иглов, часто встречавшейся с ним в ту весну, он создавал рассказ в течение четырех-шести дней, запершись у себя в номере в отеле и не прикасаясь к спиртному. Порой, однако, ему приходила в голову мысль довести себя алкоголем до смерти, потому что, как он уверовал, ему уготовано судьбой умереть молодым. Он хранил набор фотографий, выпущенных каким-то обществом трезвости, где были наглядно показаны пагубные действия алкоголя на почки и вообще на весь организм. Бывало, он задумывался, разглядывая их, и отпускал в их адрес мрачные шутки.

Спасение от меланхолии он находил в вечном дурачестве. Однажды тетушка Маргарет Иглов пригласила свою племянницу и Фицджеральда на обед в один из ресторанов Женевы. За столом восседала также некая госпожа Лямонт, важная особа, присутствовавшая на конференции Лиги Наций по опиуму. Указав на американского делегата за соседним столом, госпожа Лямонт назвала его бесхребетным. Как раз в тот момент им подали форель из Женевского озера, Фицджеральд с серьезным видом подозвал официанта и попросил принести ему конверт. Когда тот исполнил его просьбу, он вложил в него скелет рыбы со своей тарелки, написал на нем имя «бесхребетного» и приказал официанту доставить ему конверт.

В мае раздался голос, воскресивший в Фицджеральде прошлое, — пришло письмо от Шейна Лесли из Лондона. «Если бы ты смог приехать сюда и вместе со мной поработать в Библиотеке, — приглашал Скотта Лесли. — Ты бы чаще притрагивался к чернилам, чем к виски, поскольку лично я питаюсь лишь простоквашей. Чтобы писать после определенного возраста, надо снова вернуться к простым вещам в жизни. С глубокой грустью я узнал о серьезном заболевании бедняжки Зельды, но питаю надежду, что она скоро поправится. Я помню ее как нежное, хрупкое создание и не могу представить потерявшей рассудок».

К счастью, состояние Зельды значительно улучшилось. Экзема,

которая, как Фицджеральд полагал, высыпала у нее в минуты отчаяния, исчезла, как и приступы безудержного и неуместного смеха. В июне они вместе совершили поездку в Аннеси на юг Франции. По словам Зельды, «путешествие напомнило нам о добрых старых временах, когда мы еще любили останавливаться в дешевых летних отелях и модные песенки вызывали у нас восторг... Мы танцевали венский вальс и так просто и мило проводили дни». К сентябрю ее признали окрепшей настолько, что она могла выписаться из санатория и перенести путешествие в Америку. Фицджеральды планировали провести зиму в Монтгомери, чтобы Скотт мог завершить роман, к которому не притрагивался последние полтора года.

По пути домой они на несколько дней остановились в Нью-Йорке, который теперь казался городом-призраком по сравнению с Нью-Йорком времен бума. Парикмахер Фицджеральда, удалившийся было на покой, заработав игрой на бирже полмиллиона, вновь брил клиентов в своей мастерской, а метрдотели снова с отменной вежливостью приветствовали посетителей, если, конечно, находилось, кого приветствовать. Забравшись на Эмпайр стейт билдинг, Фицджеральд глядел на границы города и начинающиеся за ними зеленые и голубые просторы, и этот вид побудил его осознать, что НьюЙорк в конце концов, — всего лишь город, а не вселенная, что он имеет свои пределы, что образ этой огромной машины, которая в двадцатые годы олицетворяла для него могущество и успех, рухнул и исчез для него безвозвратно.

В Монтгомери же ничто не изменилось. «Здесь не слышно ни слова об экономическом кризисе, — удивлялся Фицджеральд в письме к Перкинсу. — Мысль об этом никому и в голову не приходит. Бум также прокатился и стороне от этого городишки. Жизнь тут тащится своим чередом. Мне это нравится. Мы сняли чудесный дом, и у нас прекрасный «штуц» (обошелся нам в 400 долларов) Я собираюсь засесть и хорошенько поработать». Друзья Зельды были потрясены произошедшей в ней разительной переменой. Жизнерадостность былых дней уступила место подавленности и безучастию. Раз на теннисном корте она отказалась подавать мяч, утверждая, что на площадке много воды, хотя ее совсем там не было. Скотт, как всегда предупредительный, увел ее домой.

В конце октября он на пять недель отправился в Голливуд, чтобы написать для МГМ — киностудии «Метро-Голдвин-Мейер» — сценарий «Шатенка» по роману его подражательницы Кэтрин Браш.<sup>[140]</sup> Ему предоставили контракт на 1200 долларов в неделю, и он получил ожидаемые деньги, хотя работа в Голливуде вновь обернулась неудачей. На

этот раз всю вину он возлагал на режиссера Марселя де Сано, который своими поправками испортил сценарий так, что продюсер Ирвинг Тальберг отверг его. Редактор, предложивший работу Фицджеральду и выступавший в роли связующего звена с Тальбергом, склонен был видеть причину провала в самом произведении. Указанная шатенка делает себе карьеру тем, что не брезгует ни одним мужчиной, который встречается на ее пути. Вместо того чтобы смеяться над миром вкупе с ней, как этого хотел Тальберг, Фицджеральд стремился заставить публику смеяться над ней. Фицджеральд, по-видимому, был слишком большим романтиком, чтобы питать симпатии к этой прожигательнице жизни. Позднее он сожалел, что не обратился к самому Тальбергу (его предупредили, что это признак дурного тона в Голливуде). Поэтому он снова покинул Голливуд с чувством горечи и разочарования, дав себе зарок никогда больше туда не возвращаться.

Но как художнику пребывание в Голливуде пошло Фицджеральду на пользу. Хотя и издали, он наблюдал за Тальбергом, этим молодым воротилой кинобизнеса, который станет прототипом главного героя в «Последнем магнате». Кроме того, пирушка у Тальберга дала ему толчок к написанию великолепного рассказа «Сумасшедшее воскресенье». После нескольких рюмок «кровь застучала у него в висках: сейчас он покажет, на что способен», и Фицджеральд вызвался сыграть скетч. Жена Тальберга Норма Ширер призвала гостей уделить ему минутку внимания, но исполненная Скоттом песенка о собаке ни у кого восторга не вызвала. Прямо перед ним сидел Джон Джильберт, первый любовник экрана, «вперившийся в него пустыми, стеклянными глазами». У двери в дальнем конце комнаты, сутулясь и глубоко засунув руки в карманы, с подбадривающей улыбкой на лице стоял маленький, хрупкий Тальберг. Он с терпимостью относился к артистическим натурам («Один раз проявивший себя талант — всегда талант», — любил повторять он). На следующий день Скотт получил телеграмму от Нормы Ширер: «Я думаю, вы были самым приятным из всех наших гостей на ужине». Но когда настало время оценить Фицджеральда как сотрудника, его промашка перед элитой Голливуда обошлась ему дорого: через неделю он был уволен.

В «Сумасшедшем воскресенье» Фицджеральд пошел глубже простого изображения собственного унижения. В образе режиссера Майлза Кэлмена Фицджеральд воплотил одну из своих самых крупных тем — трагедию художника и идеалиста, окруженного жестоким миром делячества. «Майлз Кэлмен — высокий, нервный, блистательно остроумный и с такими скорбными глазами, каких Джоэл не видел ни у кого, был художником от



макушки своей странновато слепленной головы до ногтей тяжелых нескладных ног. На них он стоял твердо: он не снял ни одного пошлого фильма, хотя иной раз ему приходилось дорого расплачиваться за неудавшийся эксперимент». Когда Кэлмен погибает в авиационной катастрофе, точно также, как Фицджеральд намеревался поступить с Монро Старом в «Последнем магнате», возникает ощущение, будто, за исключением отдельных талантов, Голливуд — сплошная пустыня.

Во время отсутствия Скотта Зельду одолевали сомнения. «Мне кажется, я не ревнива, — делилась она своими мыслями с подругой, — но меня беспокоит, что он там, среди толпы красивых женщин». Она посылала ему на редакцию свои рассказы, которые он возвращал вечно с опозданием. После переезда в Монтгомери одной из самых первых задач Фицджеральда было найти для Зельды за любую цену учителя танцев. Зельда готовила программу, включавшую танцы на музыку фуг Баха с использованием совершенно немыслимых пиццикато. Когда преподавательница указала на излишнюю усложненность программы, разъяренная Зельда тут же отправилась домой. На следующий день она позвонила в студию и сказала, что сломала лодыжку.

В ноябре, после продолжительной болезни, скончался судья Сэйр. Хотя в детстве Зельда постоянно восставала против его власти, она, тем не менее, питала к нему нежную любовь. Его неподкупная честность, казалось, была его моральным кодексом. Зельда знала, что он никогда не любил Скотта, но скрывал эту неприязнь под маской гордой вежливости. Как-то он посоветовал ей: «Тебе бы лучше развестись с этим парнем, у тебя с ним ничего не получится». Уже одно то, что он отзывался о своем зяте как о «парне», свидетельствовало о его неодобрении брака дочери. Когда Зельда стала убеждать его, что Скотт — очаровательнейший человек, когда он трезв, отец изрек: «Беда, что он никогда не бывает трезв».

Перед поездкой в Голливуд Фицджеральд навестил больного судью и, опустившись на колени у его кровати, помолился: «Ну скажите хоть, что вы верите в меня». — «Скотт, — отозвался тот, — я думаю, ты всегда будешь платить по счетам».

Вскоре, после возвращения Скотта из Голливуда, у Зельды произошел приступ астмы, и Скотт отправился с ней во Флориду. Но, во время пребывания на юге, дала рецидив ее психическая болезнь. Для Скотта это было ударом. По-видимому, он преувеличивал, когда писал: «...девять месяцев до второго приступа были самым счастливым периодом в моей жизни и, я думаю, и ее тоже, если бы не горечь от утраты отца». В этот неустойчивый промежуток времени он испытывал не столько счастье,

сколько облегчение при виде ее кажущегося выздоровления. 12 февраля Зельду поместили в клинику Фиппса, служившую психиатрическим отделением больницы Гопкиса в Балтиморе. Вернувшись в Монтгомери, Фицджеральд вновь принялся за шаблонные, поверхностные рассказы, пытаясь одновременно выполнять обязанности, как он говорил, «заботливой мамы для Скотти».

До сих пор экономический кризис никоим образом не затронул его заработка. Его гонорары за рассказ достигли рекордной суммы — 4 тысяч долларов, — его доход в 1931 году составил 37 599 долларов. Однако он до такой степени принес качество в жертву количеству, что даже «Пост» высказывал упреки в адрес его рукописей. Однажды, в ответ на похвалы секретарши, печатавшей его рассказ, он заметил: «Ну к чему этот обман? Это хлам, и вы хорошо это знаете. Рассказ получился ничемный, абсолютно пустой».

Однако, хотя он и насиловал свой талант, он не мог полностью подавить его. Даже в его трафаретных рассказах жемчужинами были рассыпаны отменно выписанные места: глубокая мысль тут, филигранная отделка там. Лучшие же его работы теперь, когда, по его словам, «жизнь вошла в ухабистую колею», несли на себе отпечаток новой глубины и тонкости. Как раньше тему Гэтсби, тему утраченной любви он проигрывал в рассказах, предшествующих роману, так точно и ныне он предвосхищал «Ночь нежна» в рассказах, пронизанных мучительным ощущением собственного разрушения. Подобно Биллу Макчесни, дерзкому молодому продюсеру из рассказа «Две вины», чей брак, здоровье и карьера подорваны распадом, Фицджеральд ощущает «слабость и неуверенность — свойства, которые всегда были ему противны». В «Заграничной поездке» он рассказывает о многообещающей паре, такой же, как молодые Фицджеральды, но они прошли суровые испытания, и, отправившись развлечься вокруг Европы, только разрушают друг друга. В рассказе «Опять Вавилон», быть может, самом трогательном из когда-либо написанных Фицджеральдом, вдовец Чарли Уэйлс, все потерявший в период бума, пытается вновь обрести себя и вернуть своего ребенка. Подобно Уэйлсу, Фицджеральд хотел бы «перенестись на целое поколение назад и вновь уповать на твердость духа» как некую непреходящую ценность.

К счастью, второй приступ Зельды оказался не таким уж серьезным. За исключением начального периода, он не сопровождался истерией, и ее письма к Скотти были полны бодрости и оптимизма. «Я очень рада, — писала она дочери, — что вы с папой нашли, чем заполнить ваши вечера.

Шахматы — прелестная игра, ты должна научиться играть в них хорошо. У меня они всегда вызывали в памяти «Алису в стране чудес», и мои фигуры все время шарахались по доске под натиском коней и пешек папы... Скоро ты станешь для него настоящей *dame de compagnie*,<sup>[141]</sup> а мне придется сидеть и вырезать, из бумаги куколок и разводить краски, пока вы развлекаетесь... Надеюсь, ты заботишься о том, чтобы во время моего отсутствия в доме постоянно имелось мыло, цветы и царило веселье... Ухаживай за папой. Смотри, чтобы по воскресеньям к обеду всегда подавалось много шпината, и воспользуйся моим отсутствием, чтобы шалить так, как ты умеешь, когда остаешься без присмотра».

Казалось, Зельда получает удовольствие от пребывания в лечебнице Фиппса, где она нашла отдушину своему психическому состоянию в творческой работе. Он занималась живописью, лепкой и вскоре завершила роман, начатый еще в Монтгомери. Это было откровенное автобиографическое произведение, включавшее описание ее размолвок со Скоттом (в первоначальном варианте даже имя героя было Эмори Блейн). Понимая, что Скотт романом не будет доволен, она послала его Перкинсу, не сказав об этом мужу ни слова. Не успел Макс прочитать и половины ее сочинения, которое понравилось ему своим изяществом и жизненной правдой, как от Скотта пришла телеграмма, где он просил Перкинса ничего не печатать до тех пор, пока не получит переработанного варианта. К этому времени Фицджеральд уже познакомился с рукописью и был вне себя от гнева.

С профессиональной точки зрения, он был готов это признать, роман содержал определенные художественные достоинства. Некоторое нарушение последовательности и повествованию не пугало его, поскольку Зельда, как он писал лечившему ее психиатру, не обладала, в отличие от него, даром рассказчика. «Если в ее сознании рассказ окончательно не созрел как единое целое и не выплескивается сам по себе наружу, она не в силах преодолеть композиционные трудности. Впрочем, многие современные романы, как Вы знаете, построены не в форме последовательного изложения событий, — это разрозненные зарисовки впечатлений, и они скорее напоминают страницы альбома с фотографиями, которые медленно одна за другой переворачиваются».

Больше всего Фицджеральд возражал против использования женой его собственного материала. Зельда к тому времени успела познакомиться примерно со ста страницами романа, над которым он работал, и в свое сочинение перенесла его тональность, некоторые темы и даже отдельные обороты речи. Кроме того, он считал ее книгу личным выпадом против

него. «Мое появление в написанном моей женой романе в образе бесцветного художника-портретиста, — негодовал он, — с идеями, почерпнутыми у Клайва Белла, Леже<sup>[142]</sup> и др., ставит меня в глупое, а Зельду в смешное положение. Эта смесь реального и вымышленного рассчитана на то, чтобы погубить нас или то, что осталось от нас обоих. Я не могу с этим смириться. Я не могу допустить использование имени выстраданного мною героя для того, чтобы отдать глубоко личные факты из моей жизни в руки друзей и врагов, приобретенных за эти годы. Боже ты мой, в своих книгах я увековечил ее, а единственное ее намерение при создании этого блеклого героя — превратить меня и ничтожество».

Он успокоился лишь после того, как она согласилась изъять из своего романа самые оскорбительные места. По его совету она подработала некоторые части, чтобы придать произведению известную художественную завершенность. Фицджеральд попросил Перкинса быть умеренным в похвале. Врачам он посоветовал дать понять Зельде, что издание книги отнюдь не гарантирует ей мгновенной славы и денег. «Мне кажется, — сетовал он, — что в последнее десятилетие наши критики слишком увлеклись восхвалением... и, по-видимому, наплодили слишком много гениев, которые вполне могли бы стать хорошими чернорабочими». Если Зельда и добьется успеха, она «ради себя самой должна осознать, что это — плод мучительных усилий... Ей уже не двадцать лет, и она не обладает сильным здоровьем».

В апреле Фицджеральд перебрался в Балтимор. Состояние Зельды, особенно после принятия ее романа издательством «Скрибнерс», улучшилось настолько, что он решил пожить рядом с ней и дать ей возможность постепенно войти в ритм повседневной домашней обстановки. В мае он подыскал себе дом на участке, принадлежавшем моему отцу, Баярду Тернбуллу. «Мы поселились в живописной, утопающей в тени деревьев усадьбе, извещала Зельда Перкинса. — Она похожа на некрашенный сказочный теремок, покинутый семьей, в которой выросли дети. Его окружают грустные деревья и притихшие поля, покой которых нарушает лишь стрекот кузнечиков».

Осев в деревенской местности Мэриленда, Фицджеральд мог осуществить задуманное лучше, чем за многие предшествовавшие годы. Двадцатые годы помогли ему в известной степени понять свои пределы, и именно в этот период начинают, наконец, проявляться контуры его нового романа. «Всемирная ярмарка», роман, к которому он приступил сразу же после «Гэтсби», был задуман как роман-сенсация. Наваянный в какой-то

степени делом Лева и Леопольда, [\[143\]](#) роман, как его себе мыслил Фицджеральд, завершало убийство героем матери. Фицджеральд вплел в него чету Мэрфи и их жизнь на Ривьере, но сюжет показался ему все же не слишком правдоподобным. Лишь теперь он, наконец, нащупывает тему, которая отвечает трагическому настрою его души.

Фицджеральд, таким образом, вступил в полосу жизни, свидетелем которой мне выпало счастье стать. Поэтому я могу передать то воздействие, которое он оказал на одну семью в этот поворотный в его жизни момент, период размышлений и самооценки, когда счастье и успех висели на волоске и когда он, казалось, превратился в наставника, стремящегося передать усвоенные им и жизни уроки,

## ГЛАВА XIII

«Сила духа, — писал в своем дневнике Фицджеральд, — проявляется не только в способности выстоять, но и в готовности начать все заново». Когда он арендовал *La Paix*, он, по-видимому, считал, что все лучшее в его жизни осталось позади. И все же он был еще полон надежд и жажды борьбы.

Я помню любопытство, вызванное сообщением отца об аренде каким-то писателем пустовавшего дома на нашем участке. Моя мать, самый большой книголюб в семье, слышала о Фицджеральде, но не могла вспомнить ни одного его произведения — явление отнюдь не удивительное, если учесть, что век джаза прогрохотал мимо, почти не коснувшись нас. Наш участок, раскинувшийся на площади в двадцать восемь акров на окраине Балтимора, представлял собой культурный островок, и атмосфера его мало изменилась с того момента, как мой прадед в 1885 году построил здесь дом. Викториански унылый, *La Paix* утратил очарование и изысканность, которыми он, возможно, когда-то обладал. Теперь это было ветхое строение с фронтонами, массивными украшениями и не гармонизировавшими с общим видом выступами, опоясанное открытой верандой и окрашенное в красные, коричневые и серые тона. Над главным входом висела дощечка с выгравированными на ней словами *Pax Vobiscum*. [144] В доме действительно царил покой — этого нельзя было отрицать. С темнотой внутри, он походил на пещеру, и любому ребенку могло бы показаться, что в нем обитают привидения. Я был рад, что мы больше не жили в нем. За несколько лет до аренды его Фицджеральдом, мой отец, архитектор по профессии, построил новый, светлый дом на склоне холма чуть повыше, из его окон виднелось старое здание, наполовину скрытое от нас листвой столетних дубов.

В какое необычное окружение попал Фицджеральд — похожий на амбар дом и безмятежные необрабатываемые поля, он словно опустился сюда из другого мира, ослепив своим прибытием всех обитателей этого сонного уголка. Писателю, некогда знаменитому, чья слава ныне клонилась к закату, *La Paix*, должно быть, показался краем света. Нельзя сказать, чтобы наше семейство не имело отношения к литературе: когда-то в этом доме мой дед редактировал журнал «Нью эклектик», а прабабушка, находившаяся под чарующим воздействием госпожи Хамфри Уорд, [145] сочиняла романтические повести на средневековые темы. В те добрые

времена жизнь в *La Paix* дышала изяществом и благородством. Расстилавшиеся ковром лужайки обрамляли клумбы из колеусов и герани (на одной из них цветы образовывали слова *La Paix*), а с арок длинной веранды свешивались корзинки с бегониями. Каждое утро летом мой дед перед завтраком отправлялся в сад, срезал еще покрытую росой розу и ставил ее на стол перед бабушкой — жест, в котором для меня всегда воплощалась та эпоха. Но к моменту, когда прибыл Фицджеральд, звук колес ландо на усыпанных галькой подъездных дорожках давно затих, и на не столь уж тщательно подстриженных газонах больше не выкладывались цветами витиеватые узоры. Старый дом с потускневшей красно-бурой краской на викторианских мишурных украшениях приходил в упадок: шатавшиеся рамы окон говорили об ослабевших петлях. Непуганые белки с окружавших строение дубов хозяйничали в его водосточных желобах и на покрытых мхом карнизах. Тем не менее, это обветшавшее жилье не отпугнуло Фицджеральда. «Я арендую его, — заявил он отцу после беглого осмотра дома. — Мне как-то все равно, есть ли в нем современный водопровод».

Фицджеральд прибыл в *La Paix* подобно тому, как Том Бьюкенен в «Великом Гэтсби» объявился на Востоке, — «с размахом поистине ошеломляющим». Однажды утром колонна легковых машин и грузовиков неожиданно протарахтела по ранее безмятежным подъездным дорожкам рядом с нашим домом и скрылась за поворотом. Скотти приехала с гувернанткой-француженкой, а вскоре ее заменила нанятая Фицджеральдом секретарша. Предварительные беседы с кандидатками на эту должность в доме, заваленном чемоданами, мебелью и ящиками с книгами, вызвали новый поток автомобилей, поскольку Фицджеральд предъявлял к секретарше своеобразные требования: она должна быть образованна, привлекательна и согласна приглядывать за Скотти, но в то же время быть женщиной, в которую он не в силах влюбиться.

Для своих тридцати шести лет Фицджеральд выглядел одновременно молодым и пожилым. Бывали минуты, когда ни казался усталым и осунувшимся. И в то же время в двухцветных модных ботинках с кожаной отделкой в подъеме, розоватого цвета рубашке и черном свитере он походил на студента-спортсмена, приехавшего домой на каникулы. Я помню его приветливую простоту, мягкую улыбку на подвижном, выразительном лице, глаза — не нелепые и не холодные, как иногда утверждали, а светло-голубые, задумчивые и полные грусти от растраченных желаний. Он вкладывал в разговор все свои чувства. Казалось, в ходе беседы он анализировал сказанное и внутренне давал ему

оценку. Его, обычно, мягкий голос порой поднимался до короткого презрительного «Ну знаете!». Был он небольшого роста, хрупок на вид, движения отличали изысканность и отточенность. Когда он шел своей размашистой походкой, от всего его вида исходила независимость, вызов и даже некоторая агрессивность. Под влиянием этого обаятельного, полного неожиданностей человека, обладавшего даром располагать к себе, жизнь в нашем доме приобрела ускоренный ритм.

Мои дружеские отношения с ним — мне в ту пору было одиннадцать лет — выросли на почве регби. Я, как и он, был знатоком этой игры, хотя мои познания ограничивались моей альма-матер — школой Гилмана. Фицджеральд открыл мне глаза на команду Принстона, где новый талантливый тренер Фриц Крислер и молодая поросль первокурсников в то время только еще делали первые шаги в спорте. Случилось так, что как раз в тот момент Принстон пополнил свои ряды одним из легендарных игроков из школы Гилмана — защитником по имени Пепер Констейбл. Помню, как я во всю прыть бежал к почтовому ящику, установленному на вершине холма у въезда на наш участок, чтобы вынуть ежегодник, издаваемый школой Гилмана, где на целый разворот красовалась фотография Констейбла, окруженного его товарищами по команде. Фицджеральд из вежливости проявил интерес к моей увлеченности, но мне, по-видимому, так и не удалось убедить его, что речь идет о настоящей звезде регби. Школа Гилмана ассоциировалась у него с чем-то провинциальным.

Скотт купил мяч для игры в регби, и мы перебрасывали его друг другу на лужайке, когда он выходил размяться. Поскольку для своих лет я был небольшого роста и не отличался быстрым бегом, Фицджеральд стремился сделать из меня распасовывающего игрока. Он вообще решительно настроился сделать из меня кого-нибудь, ибо его вечно так и подмывало распорядиться окружающими его людьми, направлять их и любыми средствами побуждать к каким-либо действиям. Он подарил мне книгу Барри Вуда «Регби. Какой ценой?» и приобщил к «Ежегоднику регби» — великолепному изданию, где, однако, статьи были полны напыщенной риторики и с каждой страницы на вас глазели искаженные во время игры лица игроков-звезд.

В ту осень он взял меня с собой в Принстон, чтобы посмотреть игру университетской команды с командой военно-морского флота. Меня поразило его совершенно феноменальное знание мельчайших подробностей о команде его родного университета. Он помнил столько деталей о каждом игроке, что мне показалось, будто он выучил их биографии наизусть из рекламных брошюр предыдущих игр. В тот день он



возлагал большие надежды на второкурсника с выразительным именем Кац Кадлик — по словам Фицджеральда, он являлся не просто великолепным нападающим, но и «величайшим стратегом». Хотя Кадлик оказался к тому же неплохим распасовывающим, именно тактический гений, прежде всего, и привлекал в нем Фицджеральда, который каким-то одним ему ведомым образом приписывал себе общий замысел игры команды Принстона, дополнявшийся ее напористостью. Лучшее, чего мог добиться в тот день Кадлик, — это сухой ничьей. Следующей осенью мы с Фицджеральдом вновь увидели этого знаменитого нападающего вместе с командой из этих же игроков — теперь уже второкурсников — на чемпионате университетов. На этот раз Принстон обыграл Колумбийский университет с разгромным счетом 20:0. Непонятно почему, в тот день мой кумир Констейбл был в роли защитника, разрушая атаки соперника с присущей ему сокрушительностью, так восхищавшей меня, и о нем я прожужжал Фицджеральду все уши. Эта игра оказалась лишь началом блистательной карьеры Констейбла — в 1935 году он стал капитаном непобедимой команды Принстона и упоминался в числе звезд страны.

К тому времени Фицджеральд уже покинул *La Paix*, но он написал мне письмо, изложив свою версию того, как увалень из школы Гилмана превратился в яркую звезду на спортивном небосклоне. «Что касается Констейбла, — шел на попятную в оценке моего кумира Фицджеральд, — то, я думаю, тебе не стоит списывать его со счетов. Он не плох, не так хорош, как играющий на его месте запасной Ралон-Миллер, но не плох. Я за него рад. Кстати, это я посодействовал избранию его капитаном. Послушайте, — стал убеждать я их, — после Слейгла школа Гилмана не произвела на свет ни одного стоящего защитника. Ученикам школы просто не хватает кумира, которого они могли бы боготворить. Чего доброго, они скоро начнут молиться на таких пай-мальчиков, Кап «Яблочко» Фицпатрик и «Моцарт» Хлопни. После этих слов мне уже ничего не надо было говорить им. Ответ Фрица Крислера прилагаю».

К посланию действительно прилагалось подлинное письмо Крислера, содержащее приписку Фицджеральда, в ней, в частности, говорилось: «Я добился избрания Констейбла капитаном из чувства уважения к своему другу Тернбуллу».

Фицджеральд обладал поразительной способностью убеждать людей. Именно он уговорил моего отца построить на нашем участке теннисный корт с травяным покровом, или, точнее, нечто грубое и примитивное, что едва походило на корт: кочки на нем не были выровнены, а лысые места так и остались не прикрыты дерном. Если мяч уходил свечой вверх, он имел

обыкновение исчезать в свисавшей над кортом листве деревьев и падать на площадку под самыми немислимыми углами. Но стоило вам приноровиться к этим его капризам, и вы получали огромное удовольствие. Фицджеральд, подводивший подо все солидную основу, выписал загоревшего, правда, в годах, теннисиста-профессионала, который часами «расстреливал» нас со Скотти, стремясь выработать у нас прием подачи. Иногда на площадке с ракеткой в руках появлялся сам Фицджеральд и принимал участие в игре двое на двое. Играл он азартно и агрессивно, хотя внешняя сторона превалировала у него над мастерством. Передвигаясь с присущей ему легкостью и изяществом, он умудрялся выглядеть на высоте, даже когда мяч просто-напросто отказывался отскакивать от его ракетки в нужном направлении. Подавал он резко, движением кисти придавая мячу вращение. При этом его искаженное лицо свидетельствовало об огромном усилии и сосредоточенности. В удар справа он вкладывал всю силу, но я не припомню, чтобы он хотя бы раз принял мяч слева. Самые счастливые минуты он испытывал, находясь у сетки, где он со всего размаха посылал мяч прямо перед собой на площадку противника. Я, как сейчас, вижу его — в белых спортивных фланелевых брюках, с начинавшим выступать над рубашкой брюшком и поредевшими на затылке волосами, — он направляется с важным видом в свой угол и принимает, согнув ноги, как игрок-профессионал, стойку в ожидании подачи. Играя против меня, он обычно угрожающе произносил: «Ну, Эндрю, сейчас я сделаю из тебя отбивную!» — о чем он, конечно, и не помышлял, несмотря на свирепый тон.

Мячи с его подачи, если не врезались в сетку, обычно безобидно плюхались за пределами площадки.

Более непосредственным выходом его напористости, к тому же доставлявшим ему удовольствие, служил бокс. Он воображал себя боксером, и, если во время обеда у него вдруг возникал кулачный зуд, он мог серьезно предложить ошарашенному гостю пойти с ним в кабинет и надеть перчатки. Иногда его партнером выступал некий сухопарый интеллигент, приезжавший из Балтимора поговорить о марксизме. Они устраивали бой перед *La Paix*, как раз в том месте, где дорога, огибая покрытую травой лужайку, образовывала естественный ринг. Наблюдая за схваткой, нельзя было не испытывать опасения за Фицджеральда. Отсутствие у него боксерских данных становилось особенно очевидным, когда им овладевал задор. И тогда начинало казаться, что один апперкот мог бы положить конец его и «боксерской» и писательской карьере. Но Фицджеральд всегда удивлял своей выносливостью: его вполне хватало на

один-два коротких раунда, после которых он, правда, с трудом переводил дыхание. Приняв боксерскую стойку, он вытягивал шею, стремясь держать голову вверх высоко поднятых перчаток, слава богу, большого размера и слегка приплюснутых; при этом его глаза неотступно следили за противником по мере того, как он шел с ним на сближение. Он придерживался теории — безусловно, почерпнутой у Хемингуэя, — согласно которой маленькие люди, в их числе и я, должны навязывать противнику ближний бой. Поэтому скромный противник-марксист не только не использовал свои превосходившие Фицджеральда физические данные, но вынужден был все время защищаться.

Фицджеральд никогда не мог понять моего увлечения борьбой. В школе Гилмана это был главный вид спорта, школьников побуждали им заниматься, как только они переступали ее порог. Мне даже удалось добиться кое-каких успехов. Но они не произвели впечатления на Фицджеральда, который никак не хотел видеть ни пользы, ни привлекательности в ползании по ковру. Он внушал мне, что люди чести решают споры с помощью кулаков и что, если я попытаюсь в драке применить хоть малейший захват, я буду обвинен не только в трусости, но и в невоспитанности. Чтобы пробудить у меня интерес к боксу, он устроил матч между мной и Сэмми Грином, драчуном, жившим неподалеку от нашего дома. Сэмми, краснощекий, крепко сбитый паренек с покрытым шрамами лицом, хотя и был примерно моего возраста, выглядел на несколько лет старше, оттого что курил, пил кофе и неприлично ругался. В свободное от школы время он работал в лавке зеленщика. Поскольку мы недолюбливали друг друга, наш поединок приобретал оттенок сведения счетов. На это-то и рассчитывал Фицджеральд.

Оглядываясь назад, я думаю, что Сэмми, как и я, не очень-то стремился сойтись со мной па кулачках, но Фицджеральд поставил нас в такое положение, что уклониться от боя, не потеряв чувства собственного достоинства, никак было нельзя. Поединок состоялся летним вечером, когда первые светлячки уже заплясали вокруг импровизированного ринга. Фицджеральд даже принарядился по этому случаю, надев свежую рубашку и отутюженные брюки. Когда он (довольно большими, но ловкими, длинными, тупыми и трясущимися, квадратными на концах пальцами, пожелтевшими от никотина) завязывал тесемки на моих перчатках, от него исходил пряный запах табака, смешанный с запахом лавровишневой воды, которой он пользовался вместо одеколona после бритья. От всего его вида веяло серьезностью, даже официальностью. Он пригласил нас в центр ринга, и его беспристрастный голос совсем не выдавал того, что всего лишь

за час до этого он наставлял меня, как надо вести бой, чтобы выиграть у Сэмми. После нескольких раундов Фицджеральд прекратил наше усердное пыхтение на ринге и разнял наши тонкие ручонки, которыми мы колошматили друг друга, объявив при этом ничью, чтобы не обидеть ни меня, ни Сэмми.

В этих вопросах он был очень щепетилен. Я помню, что его симпатии всегда были на стороне слабых и чужаков. Однажды, в теплый полдень, трое парнишек из района трущоб Балтимора забрели к нам на участок и, увидев пруд, тут же разделись и нырнули в него. Хотя пруд был глубиной не больше метра и в нем кишмя кишели головастики и пиявки, они шумно плескались до тех пор, пока не появилась мама и не попросила их покинуть наш участок. Фицджеральд, должно быть, наблюдал за событиями со своего тенистого крыльца, и, когда вылезшие из пруда мальчишки уж было направились к железной дороге, он окликнул их и пригласил вместе пообедать. В какой-то степени это приглашение, несомненно, объяснялось любопытством писателя — он так скучал в те дни по проявлениям живой жизни, — но, с другой стороны, этот жест свидетельствовал и о его большой добросердечности. Скотти, моей сестре Элеоноре и мне пришлось выступать в роли радушных хозяев. Все вшестером вплоть до обеда мы были заняты игрой, придуманной Фицджеральдом. Наконец на изысканно сервированный стол, во главе которого восседал Фицджеральд, было подано жаркое. Ребят пригласили заглянуть как-нибудь, и Фицджеральд был немало удивлен, когда они действительно нагрязнули еще раз. «Бедняги, — жалел их в письме ко мне в лагерь Фицджеральд, — навестили меня снова. Я попытался отбить у них охоту приходить, заставив их поработать, но, как мне показалось, им это даже понравилось!»

В кабинете Фицджеральда, в комнате в глубине дома, куда детям запрещалось входить, стоял чудесный, таинственный шкаф, в котором хранились покрытые ржавчиной каска и штык, подобранные Фицджеральдом где-то на поле боя в Европе. В верхней части каски чернела пробитая пулей дыра. Помню, меня все время занимал вопрос: не был ли сгусток ржавчины на штыке остатком запекшейся человеческой крови? Фицджеральд не предпринимал ничего, чтобы разуверить меня. Его отношение к войне всегда удивляло меня. Нас учили, что война — это отжившая форма варварства. Фицджеральд же утверждал, что к 1940 году будет устроена еще одна всемирная бойня, и это предсказание вызывало в нем особую взволнованность. Он хранил два прекрасно изданных французских журнала о первой мировой войне с иллюстрациями, изображавшими ужасы войны. Чтобы закалить мою волю, он усаживал

меня перед этими журналами, со страниц которых моему взгляду представляли лица, когда-то принадлежавшие живым людям, но теперь превратившиеся от шрапнели в сплошное кровавое месиво. Скотти не позволялось смотреть эти картинки, чтобы не ранить ее тонкую душу.

Его очередной причудой стало стремление заинтересовать меня оружием. Когда Фицджеральд предложил отцу купить мне пистолет, отец не мог отказать ему, поставив условие, что мы не будем охотиться на живность на нашем участке. В течение нескольких дней этот блестящий, смазанный маслом пистолет находился в центре внимания всей семьи. Сперва мы практиковались в стрельбе по мишени, но когда это занятие нам надоело, мы устроили тир, используя в качестве мишеней фарфоровых куколок, принадлежавших Скотти. Вскоре к нашей забаве присоединился садовник. Однако как-то в перерыве между стрельбой револьвер неожиданно сам выстрелил — у него оказался слишком чувствительный курок — и чуть было не прострелил ногу садовнику. После этого случая с пистолетом пришлось расстаться.

Заметив мой интерес к словам, Фицджеральд в разговоре со мной использовал иногда выражения, которые заставляли меня рыться в словарях. Однажды Скотти принесла мне записку следующего содержания:

«Досточтимый отрок,

презумируя и даже постулируя твою явную принадлежность к шекспировским шутам, я отнюдь не вознамеривался относить тебя к породе несмышленишей, недотеп, простофиль, неотесанных чурбанов, недоумков, плебеев, вахлаков, разинь или пентюхов; наоборот, тем самым я исподволь хотел доказать, что по сути своей ты неглуп, смышлен, разумен, башковит, эрудит, человек семи пядей во лбу, мудр, как индийский брамин, словом, умен, как и множество писак, острословов, фигляров, буффонов, пройдох, коим нет числа и краю.

Чистосердечно,

Скотт Ф. Фицджеральд».

Две недели спустя он, однако, прислал мне другое послание:

«Дорогой Андронио,

после серьезного раздумья я бы не советовал тебе пополнять свой словарный запас. Излишнее знание множества слов приведет к тому, что они превратятся в своего рода развитые мускулы, которые ты будешь вынужден пускать в ход. Тебе придется пользоваться словами или для самовыражения, или для критики других. Трудно предсказать, от кого тебе достанется больше: от глупцов, которые не будут тебя понимать, или от все понимающих умников. Но шишек ты, безусловно, себе набьешь, и тебе не

останется ничего другого, как доверить свои мысли перу и бумаге.

И тогда ты станешь писателем. И да ниспошлет тебе в этом Бог милосердие!

Нет, нет и еще раз нет! Гораздо лучше ограничиться в жизни несколькими примитивными фразами, которыми тысячи лет обходились предки и которые все еще великолепно служат всем, кроме очень немногих. Вот несколько слов, которыми ты вполне мог бы обойтись:

— Ага.

— Дай пожрать!

— Отвали!

Тебе потребуется еще одно выражение, чтобы огрызаться (оно нам всем нужно), как например:

«Я размозжу тебе башку!»

Так что забудь все, к чему тебя до сих пор влекло в нашей сложной системе звериных звуков, и вернись к основам, которые выдержали испытание временем.

С самыми теплыми чувствами ко всем вам,

Скотт Фиц».

Иногда, после длительного уединения в своем рабочем кабинете, Фицджеральд появлялся на крыльце дома в халате. Мы усаживались в скрипучие плетеные кресла, доставшиеся в наследство от бабушки, и подолгу толковали о моральных проблемах. Фицджеральд был обаятельным собеседником, с ним, как с Диком Дайвером, «не оставалось никаких сомнений насчет того, кому адресован взгляд, и его слова — лестный знак внимания к собеседнику, ибо так ли уж часто на нас смотрят? В лучшем случае глянут мельком, любопытно и равнодушно». Фицджеральд пристально смотрел на вас, впивался в вас взглядом, и вы ни на минуту не сомневались в том, что все сказанное вами представляет самую большую ценность на свете. Другой подкупающей чертой Фицджеральда была готовая появиться на его лице в любую минуту улыбка, сдержанная и располагающая. Это была даже не столько улыбка, сколько признак веры в вас и в ваши человеческие возможности. Фицджеральд обычно сидел, зажав сигарету между пальцами постоянно жестикулирующей руки и выпуская дым после глубокой затяжки через тонко очерченные ноздри (он принадлежал к тому типу курильщиков, которые скорее жуют, чем курят сигарету). При этом в глазах его таилась какая-то легкая задумчивость. Неожиданно он срывался со своего кресла и широкой походкой направлялся к столу или какому-нибудь другому предмету, словно намереваясь разбить его вдребезги. Остановившись на

полпути, он вдруг молча устремлял взгляд на пол, и, не отрываясь, смотрел какое-то время. Он приковывал к себе внимание, прежде всего, тонким артистическим чутьем — его реакция на окружающий мир и суждения часто выражали гораздо большую глубину, чем его слова.

Я не помню многого из того, что он говорил, но в основе его рассуждений лежала своего рода эмерсоновская вера в самого себя.<sup>[146]</sup> Он почему-то предположил, что я свободолюбив и иду в жизни своей дорогой, и это ему нравилось. Уважение он ставил выше популярности. «Помилуй бог, Эндрю, — бывало, восклицал он, пренебрежительно махнув рукой, — популярность не стоит и ломаного гроша. Уважение — вот главное. И что тебя так волнуют мысли о счастье? Кого они вообще занимают в этом мире, кроме глупцов?»

Дружба моей матери с Фицджеральдом — она была на девять лет старше его — также возникла произвольно, но на другой основе. Абсолютное незнание деталей его жизни до встречи с ним, возможно, помогло ей найти общий язык с этим жизнерадостным человеком. В первый день, когда Фицджеральд, словно генерал до прибытия своих войск, подкатил на такси к *La Paix*, мать, завершив начатую прислугой уборку в доме, где предстояло жить писателю, спускалась вниз по лестнице с какой-то старой посудой, тазом и кувшином. Фицджеральд, увидев ее, нагруженную этим скарбом, рассмеялся. Мать тоже не могла удержаться от смеха, сразу же почувствовав в нем простоту и приветливость и поняв, что с ним мы будем в более близких отношениях, чем с нашими прежними постояльцами.

Четвертого июля он пригласил всю нашу семью к себе на обед. Когда мать, отец, две мои сестры и я появились из-за возвышавшейся перед его домом сосны, Фицджеральд поспешил по дорожке к нам навстречу. Здороваясь с ним, мать стала оправдываться: «Меня раньше никогда не смущали размеры моей семьи...» — на что Фицджеральд ответил: «Наверное, с этим уже ничего не поделаешь, не так ли?» В наших отношениях еще чувствовался налет официальности, но за обеденным столом Фицджеральд горячо заспорил о Томасе Вулфе, встал из-за стола, чтобы принести «Взгляни на дом свой, ангел», и убедил мать взять роман с собой и, не откладывая, прочитать. Для него этот роман воплощал все мечты и страдания молодого человека. Не было нюансов атмосферы южного городишка, которых бы он не почувствовал и не дал почувствовать моей матери. Из этих нитей и оказались соткана их дружба. Каждая их встреча служила продолжением предыдущей, словно им не терпелось обсудить ранее поднятые вопросы, которые, казалось, требовали

немедленного разрешения.

В Фицджеральде мать нашла редкого, для любителя поговорить, собеседника, готового с большим вниманием выслушать точку зрения другого, хотя и решительно не согласиться с ней. Он обладал даром располагать людей; к себе, внушать им полное доверие и вот так же быстро распахнуть перед ними дверь в свою жизнь. С самого начала он хотел, чтобы мать знала о Зельде все: о ее красоте, уме, жизнелюбии, умении нравиться мужчинам — обо всем, чем он обладал и что утратил, но не терял надежды обрести вновь. Он философски рассуждал о своем пристрастии к алкоголю, с которым примирился как с неизбежным, по его мнению, спутником творческой жизни, присутщим художникам пороком, хотя и признавал, что это увлечение — свидетельство слабости. Зная о викторианской трезвости моего отца, он во время обедов в кругу нашей семьи неоднократно совершал загадочные визиты в расположенную на первом этаже ванную комнату, где заранее припрятывал бутылочку джина. Во время же коротких посещений нашего дома он незаметно ускользал в столовую, где прикладывался к обнаруженной им домашней смородиновой настойке, хранившейся в шкафу в кувшине.

Иногда мать заводила разговор о пресвитерианском воспитании (она была дочерью священника). Хотя Фицджеральд считал религию не совсем удачной темой для обсуждения, он обращался к ней с такой искренностью, с какой подходил к беседам о всех серьезных вопросах. Как писатель он отдавал должное художественному изяществу Библии и мог высоко отзываться о великолепии Экклезиаста и отточенности повествования святого Марка, но как мыслящий человек он полагал, что критерием человеческих ценностей может быть, как он писал матери, лишь «строгий и неукоснительный рациональный подход». Он считал религию областью, предназначенной в основном для женщин — в силу их менее интеллектуального, по сравнению с мужчинами, склада ума, хотя и испытывал уважение, а может быть, и зависть ко всем истинно верующим. Его преклонение перед нашим садовником, пропахшим землей ирландцем с задубелой кожей, согбенным от вечной возни с клумбами, объяснялось, как мне кажется, неподдельным католическим рвением этого верующего человека. Жена садовника умирала от рака, и Фицджеральд часто интересовался ее самочувствием. Когда она скончалась и лежала в маленькой прибранной светелке в домике садовника, Фицджеральд навестил его, чтобы отдать ей последний долг. Небритый, в одном пальто, надетом на пижаму, которую он редко снимал, он опустил на колени у ее гроба, чтобы помолиться. Он сделал это не потому, что был католиком, а в



силу душевной доброты, в надежде, что этот жест доставит утешение семье усопшей.

Он постоянно давал моей матери книги — Пруста, Д. Г. Лоренса,<sup>[147]</sup> Хемингуэя, Рильке, дневник Отто Брауна (многообещающего молодого немецкого автора, убитого в первой мировой войне). Иногда он читал целые абзацы вслух, а делал он это великолепно. Увлечшись каким-нибудь изумительно написанным произведением, он, казалось, ласкал слова, и у него на глазах выступали слезы. Однажды, сидя на каменном приступке крыльца, он прочитал матери эссе-некролог о Ринге Ларднере, который он собирался послать в «Нью рипаблик». У Фицджеральда был цепкий взгляд: он подмечал мелкие на первый взгляд детали, из которых складывается наше существование, имеющие, однако, такое важное значение, что для большинства из нас в них-то и заключена вся жизнь.

Помимо книг и обмена мыслями, нитью, связывающей мою мать и Фицджеральда, были мы, дети. Ему нравилось переносить нас в будущее.

Однажды он пришел к матери, чтобы рассказать, как, проходя мимо, он увидел на дереве Скотти и чуть пониже меня, прижавшегося спиной к стволу, — обоих погруженных в чтение, ничего не замечающих вокруг. Он признался, что это была самая прекрасная сцена, которую ему когда-либо приходилось наблюдать. Он противопоставил эту детскую отрешенность размовке и горечи, могущим когда-нибудь возникнуть в отношениях между нами как женщиной и женщиной. В другой раз он прислал матери клочок бумаги с нацарапанными на нем — большими буквами — словами: «Фрэнсис выглядит как жемчужинка». Книзу он приписал, что ему кажется милым и простым это определение излучаемого моей старшей сестрой обаяния и что он обязательно использует его в одном из своих рассказов. Любимицей Фицджеральда была моя младшая сестренка Элеонора, в которой он угадывал задатки актрисы. Он называл ее Элеонорой Дузе и однажды вместе с ней разыграл сцену сумасшествия из «Гамлета», используя в качестве реквизита два засохших нарцисса и ржавую урну. После психического заболевания Зельды образ Офелии неотступно преследовал его.

В рождественские каникулы он каждый вечер целыми часами репетировал пьеску, написанную специально для Элеоноры. Небольшая роль отводилась в ней и Скотти (значительная трата времени с его стороны, если учесть размер аудитории — отец, мать, Фрэнсис и я). Эта затея, как мне кажется, служила продолжением его непрекращающихся усилий внушить Элеоноре веру в себя. Для подтверждения своей догадки приведу еще один пример. Из Европы он привез довольно обширную коллекцию

куколок и игрушечных деталей пейзажа, оловянных солдатиков, рыцарей, гренадеров, крестьян, домашних животных, рабов-галлов со скованными за спиной руками и даже миниатюрные оазисы. Однажды, разложив все эти сокровища на обеденном столе, он предложил Скотти, мне и Элеоноре воссоздать различные пейзажи. После того как мы закончили свои построения, он вошел в комнату с присущей ему наполеоновской решимостью и, сложив на груди руки, обозрел результаты наших трудов. Подумав с минуту, он объявил победителем Элеонору отчасти потому, что ее задание — построить ферму в Бретани — было самым легким и почти исключало возможность ошибки, но также, мне кажется, и потому, что он хотел вселить уверенность в самого юного и испытывавшего наибольшее волнение участника «конкурса». Именно по этой же причине он пригрозил, когда ему показалось, что я слишком дразню Элеонору, порвать с нами контракт на аренду дома, если я и дальше буду приставать к ней.

Элеоноре и мне (но, по-видимому, не Скотти в силу ее близости к нему) всегда казалось, что Фицджеральд обладал даром волшебника. Неистощимый на выдумки, он постоянно что-то затевал вместе с нами и вечно нас тормозил. Пребывание с ним наполняло радостью каждую минуту. После него общение с другими взрослыми казалось скучным. Происходило это не потому, что он был наделен какими-то особыми качествами, а просто в силу любви, увлеченности и изобретательности, которые он вкладывал во все, что бы ни делал для нас. Свои трюки с картами — кстати, самые элементарные, — он проделывал, используя специальную колоду карт — белые узоры на черном фоне на обратной стороне карт — и напустив на себя загадочный вид, так что через какое-то время заставлял нас поверить, что колода заколдована. Те же самые свойства он проявлял, когда помогал нам однажды строить иглу<sup>[148]</sup> во время заморозков, последовавших сразу же за метелью. В шляпе, галошах и пальто с поднятым воротником он присоединился к нам и показал, как вырезать из слежавшегося снега кирпичи и подгонять их один к другому. Ледяной домик оказался таким большим, что все мы поместились в нем. Фицджеральд, конечно, не мог навсегда сохранить сооруженное нами строение — на это его волшебства не хватало, — но я хорошо помню, что, когда наступила оттепель, остатки снега на том месте, где стояла иглу, растаяли самыми последними.

В отношении Скотти Фицджеральд был объективен и подобающе скромно, хотя нельзя было не видеть, что он обожал ее и гордился ею. Она заставляла его полнее чувствовать долг по отношению к жизни, и значение дочери в его судьбе возрастало по мере угасания Зельды и превращения ее

в ребенка. На протяжении ряда лет его лучшие рассказы возникали из отеческой заботы о ней: «Опять Вавилон», «Детский праздник», небольшой, но очаровательный «На улице, где живет столяр» и самый последний — «Семья на ветру», в котором любовь врача-алкоголика к маленькой девочке становится единственной опорой его жизни.

Скотти достаточно натерпелась в детстве, прошедшем в странствиях. Правда, возле нее неотступно хлопотала гувернантка, строго следившая за ее воспитанием. После заболевания Зельды Фицджеральд старался заменить ей мать. Именно он устраивал игры и праздники для Скотти, беспокоился о ее одежде и смотрел за тем, чтобы у нее всегда были нужные ей бальные туфельки. Он уделял ей много внимания, но и многого ожидал в ответ. Он предъявлял к ней самые высокие требования и стремился, чтобы она первенствовала во всем — в проявлении хороших манер, во французском, в прыжках в высоту и в игре в теннис. Фицджеральд хотел от нее одновременно твердости и женственности, способности самой устроить свою жизнь и в то же время умения ценить роскошь тех, кому не надо было заботиться о хлебе насущном.

Скотти была от природы жизнерадостна. Казалось, семейная трагедия не коснулась этого милого, беспечного, с круглой мордашкой и точеными чертами создания. Она была очаровательная и не по годам развитая девочка. Войдя как-то во время экскурсии в Вашингтон в зал заседаний Верховного суда, она спросила сопровождавшее ее лицо: «А где же осужденный?» Слова «папочка» или «папа сказал» непрерывно слетали с ее уст, несмотря на практикуемое Фицджеральдом «закаливание ее характера», состоявшее в том, чтобы пообещать ей что-нибудь и не выполнить обещанного. Они являли собой пару, которую нельзя было не полюбить. После вечеров в *La Paix*, когда я возвращался домой, и они вдвоем махали мне рукой с крыльца, я не мог избавиться от ощущения, что они неразлучны. При этом Фицджеральд слабым, довольно немелодичным голосом затягивал «Доброй ночи, милочка» и затем неожиданно начинал шаркать ногами, изображая некое подобие фокстрота.

В *La Paix* Фицджеральд жил как бы в духовной и физической изоляции. Он начинал понимать всю глубину замечания Оскара Уайльда о том, что нет ничего более опасного, чем ультрасовременность, поскольку она совершенно неожиданно приводит к старомодности. С 1926 года, когда он опубликовал свой последний сборник рассказов, атмосфера — воздух, которым он дышал и который вдохнул в свои произведения, — полностью изменилась. Байроновская печаль, столь модная в 20-е годы и представлявшая, в сущности, оборотную сторону оптимизма, уступила

место осязаемому отчаянию, вызванному невиданным в истории экономическим кризисом.

Хотя Фицджеральд и признавал конец (этот термин он придумал сам) «века джаза», он сохранил к нему ревностную привязанность. Его «вынесло в те годы на гребень волны, его осыпали похвалами, заваливали деньгами, о каких он и не смел мечтать, и все по одной-единственной причине — он говорил людям о том, что испытывал такие же чувства, как они сами». «Ныне склонны оглядываться на годы процветания, — писал он позднее, в 30-е годы, — с чувством неодобрения, граничащим чуть ли не с ужасом. Но то время, период бума, имело свои преимущества: большинству жизнь представлялась гораздо вольготней и радужней, и резкий крен в сторону спартанских добродетелей в период войны и голода не должен заслонять от нас ее бурных прелестей». Никто не писал ярче, чем он, о последней попытке Америки еще раз пережить бесшабашную молодость. Легкое изящество его стиля, где неизменно проглядывали остроумие и нежность, отвечало духу времени, кричащую безвкусицу которого он превратил, прежде всего в «Гэтсби», в неувядающую красоту.

Но даже и после «Гэтсби» все еще раздавались голоса, ставившие под сомнение его значимость как писателя. Кое-кто упрекал Скотта в бойкости стиля и поверхностности, уподобляя его многогранному зеркальному шару, вращающемуся в лучах света и время от времени создающему поистине восхитительную гамму цветов. Повышенное внимание Фицджеральда к богатству и успеху на первый взгляд совсем не соответствовало понятиям о серьезном художнике. В конце концов, разве его обаяние не было свойством проходящим, юношеским — его склонность уподоблять девушек цветам, и вообще стремление сохранить подобное восприятие в век, когда большинство писателей утратили его. В новое десятилетие он вступил без должного багажа идей, без мировоззрения, которое действительно представляло бы реальную ценность. Взглянув на себя со стороны в 1936 году, Фицджеральд невольно признавал, что в прошлом он не слишком-то проявлял склонность к раздумьям, если, конечно, не считать размышлений над своим ремеслом. В течение двадцати лет источником, откуда он черпал мысли, служил Эдмунд Уилсон.

В отношениях между Уилсоном и Фицджеральдом произошли изменения — то не был разрыв, но явственно ощущалось отчуждение. В начале 20-х годов Фицджеральд и Зельда доставили Уилсону много приятных минут, они вносили в его жизнь свежую струю. Эдмунд испытывал к ним даже какое-то ревнивое чувство. Когда в 1930 году он услышал о заболевании Зельды, то написал письмо Перкинсу с просьбой

сообщить подробности, добавив, что Фицджеральдам, поведение которых, правда, всегда отличалось экстравагантностью, следует как-нибудь помочь. Незадолго до этого Уилсон сам пережил нервное расстройство и теперь с пониманием относился к Скотту, на которого обрушилось такое горе. В письме он выражал сочувствие и сетовал, что ему очень доставало Фицджеральдов в последние годы. Он сожалел, что они так много времени проводят за границей, по его мнению, это неразумно со стороны американского писателя, как бы трудно ему ни приходилось в Америке. Духовные ценности Фицджеральда всегда казались Уилсону ложными и детскими, особенно теперь, когда сам он все больше склонялся к марксизму. Его новая книга репортажей о переживаемом страной кризисе заканчивалась изложением его кредо. Процветание, писал он, ввело всех в заблуждение. «Наша политическая и экономическая мысль, равно как и наша литература и искусство, оказались в основе своей посредственными, а наши взгляды — миропониманием главным образом среднего класса». Мироззрение Уилсона складывалось под влиянием многочисленных в его роду интеллигентов. От своих праотцов, среди которых преобладали священники, врачи, адвокаты и профессора, он унаследовал недоверие и неприязнь к американским предпринимателям. Он считал, что зажиточные банкиры, брокеры, комиссионеры и держатели акций ведут праздную жизнь, и, по его собственному признанию, не испытывал сожаления, видя, как все идет прахом. Он теперь полагал, что искусство, наука, мораль и этика могут быть усовершенствованы лишь в рациональном (иными словами, коммунистическом) обществе, управляемом в интересах всех его членов.

Фицджеральд не мог разделять этого нового образа мыслей Уилсона. Взгляды Фицджеральда, редко читавшего газеты, присущий ему нигилизм, цинизм и равнодушие интеллигента, на миропонимание которого глубокое влияние оказала эпоха Гардинга, остались почти неизменными. Но теперь, когда марксизм казался волной будущего, Фицджеральд стремился не отстать от времени. Он изучал «Капитал» или, по крайней мере, знакомился с ним и обсуждал его с одним из своих знакомых-марксистов. «Логика истории, — делился он своими выводами с моей матерью после одного из таких обсуждений, — не позволит нам пойти вспять». И далее: «Когда сенатор Соединенных Штатов после своего избрания вынужден заняться изучением принципов марксизма, по которым ныне живет одна шестая часть мира, это свидетельствует о его неспособности отстаивать свою собственную систему».

Марксизм, конечно, был абсолютно непонятен Фицджеральду. Его

духу больше соответствовал идеализм Шпенглера, чем материализм Маркса, точно так же, как и классовое общество Шпенглера казалось ему естественнее, чем бесклассовое общество Маркса. Фицджеральд не изучал историю с точки зрения социальных классов и движений, хотя порой интуитивно и обнаруживал понимание этих явлений, как, например, в размышлениях Дика Дайвера на поросшем травой поле боя в «Ночь нежна». Для него история представляла собой в основном яркие события, деятельность отдельных личностей и романтику. История — это блистательные кампании Джексона, доблестный Стюарт,<sup>[149]</sup> ведущий артиллерийскую дуэль с превосходящим в шестнадцать раз противником при Фридериксберге.<sup>[150]</sup> Для Фицджеральда личность означала все. Так он и излагал марксизм моим родителям — как человек, стремящийся *epater le bourgeois*,<sup>[151]</sup> как лицо, добившееся успеха своими собственными силами и поэтому с известной долей пренебрежения относившееся к нам, привилегированным и занимавшим солидное положение в обществе людям, не знающим, что такое настоящая борьба в жизни.

Несмотря на утверждение Фицджеральда о «неукоснительном рациональном подходе», его политические взгляды, как и все его мысли, формировались под влиянием минуты. Общие идеи значили для него не более чем художественный фон для его произведений. Он мог смотреть на вещи иногда глазами Маркса, иногда Шпенглера, которого он понимал лучше, чем кого-либо другого из философов, но он не мог представить себе картины в целом.

Пробел в его образовании — слабое знание живописи и классической музыки — довольно поразительное явление, если учесть образность и музыкальность его стиля. Не понимал он и природу. Однажды он признался моей матери, что чтение Торо заставляет его осознать, как многого он не заметил в природе, и тем не менее, продолжая и дальше монотонным голосом сетовать на судьбу, он мог в нескольких словах запечатлеть окружающую его красоту — темные силуэты стволов на залитых лунным светом лужайках, запах жимолости и лимонного дерева, легкий туман, обволакивавший пруд, оглашаемый переливчатой перекличкой лягушек.

Фицджеральд обладал поразительным даром проникать в суть слов. Он творил с ними какие-то немислимые чудеса, позволявшие извлекать из них тончайшие оттенки, «вычерпывать их смысл до дна», как однажды выразился он, «чтобы с их помощью вызвать образ, пробудить чувство или очаровать». Его суждения о писательском ремесле были авторитетны: такие различные по манере письма авторы, как Дос Пассос и Маклиш, могли

засвидетельствовать его художественную пронизательность. Он досконально был знаком с традициями, которым следовал, и знал, что предстояло осуществить для их развития. Он читал запоем и был хорошо осведомлен о состоянии литературы. Замечания Макса Бирбома об ирландском писателе Джордже Муре,<sup>[152]</sup> невольно наводят на мысль о Фицджеральде: «Он (Мур. — Э.Т.) совсем не блистал эрудицией, — писал Бирбом. — Ему все представлялось откровением. Неудивительно, что Оскар Уайльд упрекал его, как он это сделал однажды в разговоре со мной: «Джордж Мур вечно пополняет свои знания у всех на виду». Не обладал он и чувством меры, но этот недостаток оборачивался его достоинством. Стоило ему открыть какого-нибудь старого писателя, как тот начинал казаться ему самым великим и он уже не хотел слышать ни о ком другой. Но как раз это иступленное неистовство и приносило свои плоды: именно его увлеченность в данный момент каким-либо объектом позволяла ему проникнуть в самую его суть. Проникновение в суть вещей наступает лишь с самоотречением. Критик, обожающий одновременно разные объекты, не может любить ни один из них, точно так же как истинная дама не может одновременно любить нескольких мужчин. Такой критик (если мне, относящему себя к их числу, позволительно заметить это) часто бывает великолепен, но в памяти остаются лишь такие, как Мур».

Среди современников Фицджеральд больше всего восхищался Хемингуэем. Не принижая своего таланта, Фицджеральд всегда давал понять, что талант Хемингуэя на ступеньку выше. Он гордился дружбой с ним и однажды показал моей матери письмо, приведшее его в восторг еще и потому, что вслед за подписью «Эрнест» Хемингуэй в скобках добавил: «Боже, имя-то какое!». <sup>[153]</sup> Фицджеральд был очарован этим человеком действия, соединившим в себе все противоречия художника. В Хемингуэе сочетались две совершенно противоположные натуры: с одной стороны — мягкая, добрая, отзывчивая, скромная и щедрая, с другой — заносчивая, жестокая, хитрая. Хотя, он бывал склонен стать на сторону жертвы несправедливости, он считал проявление слишком большого сочувствия слабостью и сентиментальностью и, как и всякий человек, и котором кипели страсти, мог обрушиться на вас и причинить боль; правда, позднее он обычно раскаивался в содеянном. Ему отнюдь не были чужды литературные вендетты, и его дорожки разошлись не с одним писателем, в свое время помогшим ему подняться наверх. Его страсти не знали оттенков. Если он испытывал к кому-нибудь чувство, оно владело им целиком: он или безоглядно любил, или неистово ненавидел. Может быть,

именно поэтому в его прекрасной манере письма ощущался такой накал.

К началу 30-х годов Фицджеральд понял, что чаша весов склонилась в пользу Хемингуэя. Из-под пера Эрнеста появлялись одно за другим глубокие произведения, в то время как о запое и домашних неурядицах Фицджеральда продолжали распространяться разные слухи. Во время первой встречи Фицджеральда с Хемингуэем в 1925 году, когда они провели вместе вечер, Скотт потерял сознание от выпитого вина, и эта картина надолго осталась в памяти Хемингуэя. После того как в январе 1933 года Фицджеральд решил вести трезвый образ жизни, он просил Перкинса: «...только не говори об этом Хемингуэю, потому что он давно убежден, что я неисправимый алкоголик. Наверное, у него сложилось такое мнение оттого, что мы вечно встречаемся на вечеринках. Для него я такой же алкоголик, какой для меня Ринг, и я бы не хотел его разочаровывать, хотя даже рассказ для «Пост» требует трезвого состояния».

Толчком к изменению образа жизни для Фицджеральда послужила его злосчастная встреча в Нью-Йорке с Хемингуэем и Уилсоном, которой предшествовало несколько дней бражничества. Спустя какое-то время после этой встречи Фицджеральд писал Уилсону, что ему не следовало бы видеться с ними тогда, — для него это был период бессильного отчаяния. «Я всецело виновен за доставленные вам неприятные минуты. Мне кажется, что с Эрнестом мы достигли такой ступени, когда я одновременно высмеиваю его и раболепствую перед ним». Позднее в одном из своих писем он признавался, что с «Эрнестом мы скоро начнем подминать друг друга».

Как следствие всех этих неприятностей, Фицджеральд испытывал состояние растерянности. Поэтому когда моя мать сообщила ему, что у нас остановился Т.С. Элиот, что он прочтет цикл лекций в университете Джонса Гопкинса, Фицджеральд загорелся желанием встретиться с ним. Письмо Элиота после выхода «Гэтсби», как он признался матери, доставило ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Фицджеральд пришел на скромный обед, устроенный в честь Элиота, и мать вспоминала потом разницу во внешнем облике и характере поэта, бывшего к тому же и философом, и романиста, который был еще и поэтом.

В уютной атмосфере обогреваемой камином гостиной Фицджеральда попросили прочитать стихи Элиота. Он не заставил себя упрашивать. Трогательным, прочувствованным голосом он сумел передать всю красоту и волшебство слов. Он поделился с Уилсоном своими впечатлениями о проведенном с Элиотом вечере: «Я прочитал для него несколько его же стихов, которые показались ему довольно неплохими. Мне он понравился



очень».

Все это время Зельда жила в *La Paix*, возвращаясь в клинику Фиппса, лишь когда возникала опасность рецидива ее болезни. В моей памяти она осталась похожей на мальчика, женщиной-призраком в летнем платьице без рукавов и в балетных тапочках. Большею частью она сидела молча, и было трудно что-либо сказать о выражении ее лица с орлиными чертами. Зельда постоянно ассоциируется у меня с популярной в 20-х годах песенкой «Валенсия», которую она непрерывно слушала, сидя у маленького патефона «Виктрола». Эта мелодия нагнетала и без того исходящую от всего вида Зельды непередаваемую атмосферу чего-то безвозвратно утраченного. Из запущенного на полную мощность патефона в несколько ускоренном темпе доносился высокий мужской голос: «Валенсия, во снах мне кажется, что ты зовешь меня...» Хор вторил ему: «Во снах мне кажется, что ты зовешь меня...» Мужской голос продолжал: «Валенсия, там ветер с моря дует, листья теребя...»

Иногда Зельда принималась танцевать под эту мелодию.

Я помню, также, как мы вместе ходили купаться в глубокий, заполненный холодной водой карьер недалеко от нашего дома. На Зельде был открытый купальный костюм цвета бордо. Ее короткие мокрые каштановые волосы облепили голову, а кожа отливала темным загаром. Она сидела на плоту, держа в руках сигарету и нежась в лучах солнца.

Казалось, что в течение первых месяцев ее жизни в *La Paix* ее здоровье шло на поправку. Она писала пьесу и увлекалась верховой ездой, но делала это «с превеликим почтением к лошади, чтобы не обидеть ее. Кроме того, я испытываю от этого ужасное угрызение совести, поскольку в последнее время мы настолько увлеклись здесь идеями всеобщего братства, что я уж подумываю, не следует ли лошади пересесть на меня». Она сообщала Джону Пилу Бишопу, что Скотт изучает Маркса, а она философско-космологов. У всякого, кто видел Зельду и Фицджеральда в то время вместе, не оставалось сомнений в том, что они действительно глубоко любили друг друга. Скотт вместе с женой переживал ее болезнь, сменявшиеся короткими просветлениями периоды приступов, обследования у врачей. Мать утверждала, что он считал бы себя еще более виноватым, если бы хоть на минуту смирился с трагедией Зельды, стал бы к ней безразличным. Его нежная забота и безмерная преданность ей никогда не ослабевали, хотя многое в их отношениях было утрачено, и он, по-видимому, полагал, что ее состояние давало ему право не соблюдать верности ей. К тому же они не забыли прошлые обиды: роман Зельды с Жосаном в 1924 году, его увлечение, в некоторой степени в пику ей, Луизой

Моран в 1927 году и недовольство Скотта первым вариантом ее романа «Сохрани для меня вальс». Все эти раны помогают понять, почему Скотт, несмотря на привязанность к Зельде и стремление помочь ей, мог иногда проявлять по отношению к ней жестокость.

По-видимому, нельзя подобрать иного слова для объяснения его поведения во время обеда, устроенного Зельдой в *La Paix*. Она пригласила в тот день мою мать, еще одну даму из Балтимора, давнишнюю знакомую по Монтгомери, и родственницу, которую Фицджеральд терпеть не мог (он безжалостно изобразил ее в образе Мэрион в «Опять Вавилон»). Обеду предшествовала довольно приятная и оживленная беседа в гостиной. Вскоре, однако, сверху послышались глухие завывания и выкрики, сопровождаемые звоном цепей. Подозревая, кто издавал эти звуки, дамы сделали вид, что ничего не замечают, и направились в столовую. Только они приступили к обеду, как увидели фигуру, шагавшую взад и вперед по веранде, с которой столовая была соединена французскими окнами, настежь открытыми из-за жары. Фигура, облаченная в простыню, тянущуюся за ней как шлейф, с повязанным на голове наподобие тюрбана полотенцем во весь голос читала самые зловещие отрывки из «Юлия Цезаря».

В середине этого спектакля совершенно неожиданно появилось новое действующее лицо. Это был негритянский священник, который посещал нас раз в год, чтобы переговорить о пожертвованиях для детского дома. Фицджеральд, почувствовав благоприятный случай, с решимостью самого Цезаря ухватился за него. Не успел священник сообразить, в чем дело, как Фицджеральд провел его в столовую и, представив присутствующим дамам как высокопоставленного гостя из Экваториальной Гвинеи, попросил разрешения присоединиться к трапезе. Незванный темнокожий гость вел себя благопристойно, но, смертельно напуганный, воспользовался первой возможностью, чтобы откланяться. Фицджеральд возобновил свое назойливое хождение по веранде, включив, на сей раз, в маршрут и столовую, где он несколько раз приближался к столу и даже помогал передавать тарелки с печеньем. Наконец, устав, он удалился к себе. В течение всего спектакля Зельда держалась с достоинством, делая вид, будто ничего особенного не происходит. И потом, она ни словом не обмолвилась об этой выходке.

В последнее время ей самой хватало забот, одной из которых стала судьба ее романа. Поскольку разошлось всего 1400 экземпляров, ей оставалось лишь возлагать надежды на пьесу «Скандалабра», весной 1933 года поставленную театральной труппой «Вэгабонд плейере». Премьера,

несмотря на присутствие большого числа зрителей, закончилась полным провалом. После спектакля Фицджеральд собрал всех актеров в «Зеленой зале» отеля «Бельведер» и, восседая на походившем на трон кресле с ящиком пива в ногах, — к этому времени он переключился на пиво — стал читать пьесу вслух. Каждую строку, не оправдываемую сюжетом, выбрасывал. Но даже после такой радикальной хирургии от дальнейшей постановки пьесы пришлось отказаться.

Скотт пытался помочь лечению Зельды, несмотря на антипатию к ее врачу Адольфу Мейеру, светилу в области шизофрении в клинике Фиппса. Мейер считал болезнь обоюдной и хотел, чтобы Фицджеральд задумался над своим пристрастием к спиртному и даже прошел курс лечения. Но тот упорно отказывался от психотерапии — частично из гордости (не хотел дать семье Зельды основание сказать: «Вот видите, во всем виноват Скотт»), а частично из-за инстинктивного нежелания художника, чтобы ему каким-либо образом подправляли камертон души. Он опасался, что психолечение превратит его в рассудочного человека и подменит им человека эмоционального. Он приводил в пример нескольких писателей, которые после лечения у психиатров производили на свет жалкие поделки. Он считал алкоголь частью своего рабочего инструмента. «За последние шесть дней, — оправдывался он перед Мейером весной 1938 года, — я выпил лишь немногим более кварты сильно разбавленного джина, причем с большими интервалами. Если между деятельным, обладающим богатым воображением, перенапрягшимся человеком, использующим алкоголь как стимулятор или временное *aisement*,<sup>[154]</sup> и шизофреником фактически нет разницы, то я, естественно, сильно сомневаюсь в возможности вообще дать согласие на лечение». Пожелай Мейер, продолжал Скотт, поговорить с осведомленными наблюдателями, у него не останется сомнения в том, «откуда каждый из нас двоих черпает моральную и духовную силу. Он обнаружит, что довольно многие любят Зельду больше, чем меня, и, по всей вероятности, большинство сочтет ее более привлекательной (как это и должно быть); но в вопросах чести, совести, чувства ответственности и долга, здравого смысла и воли, как бы Вы это ни называли», девяносто пять процентов, утверждал Скотт, отдадут предпочтение ему. Зельда все еще тешит себя иллюзией, что ее литературный успех озолотит ее и наделит неким ниспосланным богом правом вести себя, не думая о последствиях. Она живет в «теплице, созданной на мои деньги, моей славой и моей любовью... Она хочет отгородиться этой теплицей от реальности, лелеять каждый росток своего таланта и выставлять его напоказ. И в то же время она не чувствует ответственности за сохранность этой теплицы, считает,

что в любой момент может поднять руку и выбить стекло в крыше. Но Зельда достаточно практична и может себе иногда позволить просить прощения, особенно когда я открываю дверь теплицы и предлагаю ей или покинуть ее, или вести себя подобающим образом».

Фицджеральд хотел для себя большей свободы действий, чтобы установить строгие рамки для Зельды. Он склонялся к мысли, что причина всех ее бед кроется в ее эгоизме, и подумывал, не сделать ли, чтобы она, хотя бы временно, испытала чувство одиночества. Ему было известно о психических заболеваниях родственников ее отца и матери, и, когда в 1933 году ее брат покончил жизнь самоубийством, Фицджеральд пришел к нам в дом и в разговоре с матерью стал оправдываться: «Что я говорил, ведь это не моя вина, это у них в роду». Он нашел утешение в словах крупного психиатра Блелера, приглашенного для консультации во время пребывания Зельды в «Пренгине»: «Перестаньте винить себя. Вы могли бы отсрочить болезнь жены, но не смогли бы ее предотвратить».

Ухудшение состояния Зельды вызывалось еще и вечным столкновением этих двух художественных натур. Это особенно видно из беседы с ними психиатра Тома Рени в мае 1933 года. В ходе беседы, дающей ключ к пониманию этой пары, Скотт признавался в поистине гигантских усилиях, которые он прилагал, чтобы стать первоклассным писателем, и отмечал, что профессионала отличает от дилетанта «обостренное чувство восприятия, способность уловить луч, проблеск будущего в одной строке». Предположив в начале своей карьеры, что в Америке десять-двенадцать действительно талантливых писателей, он сделал вывод, что его шансы стать таковым равны одному из десяти миллионов. Он далее рассуждает об истоках неповторимости, которая ставит одного писателя над другим. «Стоящая мысль — это плод бессонных ночей, тревог и размышлений над какой-нибудь проблемой, это вечные попытки докопаться до глубоко скрытой истины, до подлинной сути. Взгляд на окружающий мир — первое неперемное условие для писателя, и если в довершение всего он обладает еще и талантом, тем лучше. Но если у человека только талант и нет миропонимания, он просто один из многотысячной армии журналистов».

И вдруг, появляется Зельда, которая полагает, что все возможно. Она создала несколько талантливых мелких произведений, желает стать романистом, правда, за счет Скотта, его материала. Подобное положение можно сравнить с ситуацией, когда художник, войдя в свою студию, увидел, что приготовленное им полотно разрисовано каким-то озорным мальчишкой. Зельда не имела представления о том, каких усилий стоило

Фицджеральду достичь нынешнего положения, о его длительной борьбе в одиночку бок о бок с другими не менее талантливыми писателями. Романист, указывал Фицджеральд, должен не только точно воспроизводить малейшие оттенки мысли своей эпохи, он должен истолковывать их, чего не могла делать Зельда. Если она слышала какое-нибудь глубокое замечание Фицджеральда, она тут же стремилась использовать его в своих писаниях, не ведая, «плодом скольких раздумий явилось оно; имеет ли оно смысл с точки зрения человеческого существования; какая огромная работа происходит в сознании того, кто создает хоть что-либо стоящее».

Зельда была твердо настроена продолжать писательскую деятельность — это стало частью ее существования, хотя она и согласилась прекратить работу над начатым романом, пока Скотт не опубликует свой. Но больше этого, она ничего не обещала. Тупик оказался настолько опасным, что Скотт проконсультировался относительно законов, допускающих развод на основании потери рассудка одним из супругов. По-видимому, никогда он не был так близок к этому решению, как в тот момент. Но после приступа у Зельды он окончательно отказался от этой мысли.

Перемена, которую мы ощущали в Фицджеральде в течение второго года жизни в *La Paix*, должно быть, в какой-то степени объяснялась его бесплодными усилиями поправить здоровье Зельды. Конечно, мы все еще оставались друзьями — мы ими и остались — и наше уважение к нему продолжало расти, но жизнерадостность первого года покинула его и уступила место мучительным сожалениям об утраченных надеждах и безвозвратно ушедшем времени. Наши семьи попеременно возили детей в школу, и, когда наступала наша очередь в течение недели забирать с собой Скотти, Фицджеральд уже не появлялся так часто, как бывало, на крыльце, чтобы понежиться минутку на солнце и перекинуться шуткой с нами через ограду. Все чаще он удалялся в свой кабинет, где свет горел далеко за полночь, — свидетельство отчаянных, нечеловеческих усилий выбраться из сгущавшейся вокруг него ночи.

«Пью больше, работа не ладится», — писал он в дневнике. К тревогам, вызванным его творческими неудачами, прибавлялись домашние заботы, вызванные неумением Зельды вести хозяйство. Однажды он пожаловался моей матери, что в доме нечего есть, кроме пяти сортов ветчины. Проблемы иного рода создавал Акилла, шофер-негр, присматривавший за старым голубого цвета «штуцем». Хотя он имел обыкновение выполнять распоряжения, которые ему давались, кое-как, Фицджеральд проявлял о нем трогательную заботу. Приплюснутый нос Акиллы почти касался кончиком верхней губы. Короткий, приземистый, он еле втискивался в алые

в полоску костюмы, а о его пристрастии к пиву свидетельствовали пустые бутылки, разбросанные повсюду на лужайках вокруг *La Paix*. Акилла страдал дефектом речи: вместо «ш» он произносил «с». Фицджеральд считал своим долгом устранить этот недостаток и с этой целью придумывал предложения со множеством «ш», которые он заставлял Акиллу постоянно повторять.

Деньги к этому времени стали такой серьезной проблемой для Фицджеральда, что он впервые попрекнул Зельду расходами на ее лечение. «Пост» платил ему теперь за рассказ на пятьсот, тысячу, а в некоторых случаях и на полторы тысячи долларов меньше, чем два года назад. Он пережил небольшой рецидив туберкулеза, который обнаружился у него еще в студенческие годы, и его мучила бессонница — вечный бич алкоголиков. Иногда ночью он не мог ни спать, ни писать, и в эти минуты его неудержимо тянуло к людям.

В одну из таких ночей Аса Бушнил, заведующий кафедрой физической культуры Принстона и коллега Фицджеральда по клубу, был разбужен в три часа телефонным звонком.

«Возьми бумагу и карандаш, — раздался на другом конце провода голос Фицджеральда. — Я хотел бы кое-что предложить Фрицу Крислеру».

Бушнил, конечно, и не подумал вставать, но, выждав некоторое время, которое ему будто бы понадобилось для исполнения просьбы Фицджеральда, ответил, что готов записывать.

«Йель постарается преподнести нам сюрприз, — начал Фицджеральд. — Они могут разнюхать о планах Крислера, поэтому ему следует подумать, как их упредить. Вот что надо сделать. Команде Принстона нужно иметь два состава. Один должен состоять из рослых игроков, килограммов под сто. Их задача сводится к тому, чтобы не дать сыграть нападающим Йеля и измочалить их. Второй состав из маленьких быстрых нападающих будет набирать очки».

Прежде чем Бушнил смог что-либо ответить, Фицджеральд повесил трубку. Через полчаса телефон зазвонил снова.

«Да, я совсем забыл сказать, — продолжал Фицджеральд. — Тяжеловесам следует играть только в защите и почти совсем не надо появляться на поле, когда противник будет играть в меньшинстве. Легковесы же должны предназначаться только для нападения. Поэтому им придется разучить как можно больше атакующих комбинаций. В ходе игры замена должна производиться целым составом».

На рассвете от Фицджеральда последовал еще один звонок, подводивший всему итог: «Кстати, моя система покончит с вечным нытьем

родителей и студентов о том, что на поле выпускаются не те игроки: при этой системе всем будет предоставлена возможность принять участие в игре».

Когда Крислер узнал об этой идее Фицджеральда, он написал ему письмо, отметив в ней множество достоинств и согласившись внедрить ее, но только при одном условии: если она будет называться «системой Фицджеральда» и тот возьмет на себя полную ответственность за ее успех или провал. Фицджеральд в своем ответе посоветовал Крислеру держать ее пока про запас. Однако эта идея оказалась менее фантастичной, чем это первоначально представлялось. В 40-х годах система двух составов была принята повсеместно, и Крислер, ставший председателем Комитета по разработке правил Ассоциации регби, сыграл важную роль в ее развитии.

Поворотным пунктом полуторагового проживания Фицджеральда в *La Paix* явился пожар в июне 1933 года, возникший из-за того, что Зельда попыталась что-то сжечь в давно не затапливаемом камине на втором этаже. Мы заметили его по алым отблескам пламени, отбрасываемым на дорогу, ведущую к нашему дому, и дыму, валившему из окон второго этажа. Вскоре мы увидели Скотта, сновавшего между пожарниками, он обожал верховодить в подобных ситуациях. Когда огонь, наконец, удалось погасить — ущерб был нанесен лишь второму этажу, — он преподнес по стопке всем, кто принимал участие в его тушении. Мы тут же пригласили Фицджеральдов пообедать с нами. Первой пришла Зельда, которая пробыла у нас всего лишь несколько минут. Некоторое время спустя заглянул Скотт. В его глазах стояли слезы, а плотно сжатые губы были белы как снег. После обеда мы обыкновенно пели церковные гимны, и Фицджеральд присоединился к нам, стоявшим вокруг рояля (мы все еще чувствовали себя немного растерянными и вели себя скованно после пережитого в тот день). Мать предложила спеть «Отче наш, владыка мира» — выбор, как нельзя более соответствовавший моменту, учитывая заключительные слова: «Внемлите гласу мирной нежной тишины, о пламень, потрясения и ветры!»

На следующий день Фицджеральд пришел к нам, чтобы официально принести извинения за пожар, и попросил отложить ремонт дома: он заканчивал роман и не хотел, чтобы шум отвлекал его. Поэтому он продолжал писать среди грязных потеков на стенах и мебели, унылый вид которых был под стать состоянию его души.

Хотя он мало рассказывал о своем романе, мать не могла не видеть, что он был всецело поглощен им и считал его лучшим из всего написанного. Однако, в глубине души у него закралась мысль, что его звезда закатывается, что публику перестало интриговать общество прожигающих

жизнь богатых — тема его романа, — что ее интерес переключается на литературу более приземленную: на произведения Фаррелла,<sup>[155]</sup> Колдуэлла и Дос Пассоса. Его беспокоило также то, что работа над романом затянулась. «В конце концов, Макс, — оправдывался он перед Перкинсом, — я тихоход. Как-то в разговоре с Хемингуэем я сказал ему, что, вопреки существовавшему в то время поверью, я черепаха, а он заяц (так оно и есть на самом деле), и все, чего я достиг, далось мне долгим и упорным трудом, тогда как он с его искрой гения создал великолепные вещи с завидной легкостью. Мне ничего не дается легко. Я могу, если бы я захотел, быть нетребовательным к себе. Я могу писать хлам. На днях я перекроил в киносценарии сцену для Кларка Гейбла.<sup>[156]</sup> Я могу произвести подобную операцию как никто другой. Но когда я решил стать серьезным писателем, я дал себе зарок отшлифовывать каждую строку, и это превратило меня в тихоходного бегемота».

Позади *La Paix* проходила дорога, где Фицджеральд обычно прогуливался часами, обдумывая последний вариант романа «Ночь нежна». Здесь он размышлял над четой Мэрфи, их искусственной приветливостью, четко отмеренной для каждого дозой обаяния. Здесь он мечтал об островах Лерен, райском уголке неподалеку от Антиба, куда он, бывало, ездил на прогулочном катере. Возвратившись в рабочий кабинет, он запечатлевал эти мысли своим четким, красивым почерком на желтых листах бумаги.

Теперь, когда все было расставлено по своим местам, и он знал направление движения, книга продвигалась быстро, несмотря на вынужденные отвлечения в работе, — рассказы для «Пост», чтобы оплатить счета.

В августе 1932 года в его дневнике появляется следующая запись: «Сюжет и композиция романа готовы. Теперь ничто не должно надолго прерывать работу над ним».

К концу октября 1933 года черновой вариант был закончен. «Я лично в каске с шишаком принесу рукопись, — извещал он Перкинса. — ...И, пожалуйста, не выстраивай оркестра, обойдусь без музыки».

Когда Фицджеральд появился в *La Paix*, зенит его славы миновал. Он надеялся, что ему удастся вернуть утраченную известность, как и Зельду, хотя он отнюдь не верил в успех. Два года спустя, когда настроение «Крушения» еще более овладело им, эти надежды угасли. Он начал ощущать, что исчерпал кладезь своей души, что теперь новые истоки питают других писателей, к которым публика все больше обращает свой взор. Моя мать была счастлива, что знала Фицджеральда того периода, ибо



именно тогда он производил незабываемое впечатление: никогда его положение не было более трагичным, и потому никогда он не обнаруживал большей глубины мысли. Как-то Скотт горестно, но с оттенком гордости признался ей: «Не успех, а неудачи учат нас больше всего». Конечно, себя он считал неудачником. Он был Диком Дайвером. На какое-то короткое мгновение моя мать стала его душеприказчицей, которой он поведал свои самые сокровенные мысли. Они затмили ей земные ориентиры и увлекли ее в иные миры точно так же, как очарование его книг сделало это со многими другими. Но эти миры не были юдолью печали, они стали для нее одновременно источником неопишемого счастья.

## ГЛАВА XIV

«Ночь нежна». Название этого самого любимого им произведения, которое он создал в муках и с таким трепетом, опираясь на дорого стоивший ему опыт, Фицджеральд взял из «Оды соловью», навеявшей ему вечные образы парения в вышине, падения и сладости смерти. Неудивительно, что для Фицджеральда Ките всегда был тем волшебником слов, каким он сам так стремился стать.

«Если тебе понравился «Великий Гэтсби», — писал он в дарственной на титуле «Ночь нежна» одному из друзей, — умоляю, прочти этот роман. «Гэтсби» был *tour de force*,<sup>[157]</sup> эта же книга — моя исповедь». В «Ночь нежна» он вложил усвоенные им после нелегких испытаний истины: труд — единственная добродетель; чрезмерная любовь и похвала — не самые надежные спутники разумного человека, деньги и красота — коварные союзники; а такие старомодные понятия, как честь, милосердие и смелость, — в конце концов, самый лучший путеводитель в жизни. На фоне четы Мэрфи (жизненный уклад Дайверов, их привычки он заимствовал у Мэрфи) Фицджеральд исследовал свои отношения с Зельдой. Он чувствовал, что она завладела им полностью, или, точнее, он позволил ей завладеть им всецело. Над Зельдой, когда он ее встретил, как и над Николь Дайвер, довлел рок судьбы, но Дик Дайвер — Фицджеральд «избрал Офелию, избрал сладкий яд и испил его». Дик был сыном священника, человека, не чуждого мирских радостей, и, если земные начала влекли Дика к богатству, его непорочное духовное начало подсказывало ему не доверять роскоши, и оттого он мучился, оказавшись в, своего рода, ловушке.

«Ночь нежна» явилась исповедью и в художественном смысле. С этой книгой Фицджеральд связывал свои самые честолюбивые надежды — это был задуманный им шедевр. Через цепь сцен, искусно выписанных на широком полотне, он стремился создать нечто подобное современной «Ярмарке тщеславия». Хотя Перкинса смущало название романа, он не испытывал сомнений в отношении содержания, ибо проза Фицджеральда зазвучала с новой, окрашенной трагизмом силой. В течение долгой мучительной работы Скотта над романом Перкинс оставался его прочной опорой. Теперь он стал заметной фигурой в издательских кругах Америки. О его привычке не снимать шляпу в рабочем кабинете и притворяться глухим, особенно с теми, кого он не хотел слушать, ходили легенды. Отец

пятерых дочерей, он все еще надеялся, что жена подарит ему сына. Поэтому некоторые его авторы были для него сыновьями: неукротенное дитя Вулф, вечный искатель приключений Хемингуэй, заблудший сын Фицджеральд.

Перкинс с горечью видел, как Фицджеральд растрчивал себя той зимой 1934 года, хотя и не морализировал на эту тему. Сострадательный человек, он терпимо относился к отклонениям от нормы, свойственным художественным натурам.

К этому времени Фицджеральд уже уехал из *La Paix* и перебрался в Балтимор, чтобы находиться поближе к балетной школе, которую посещала Зельда. После поездки на Бермуды, испорченной подхваченным там плевритом, он поселился в небогатом районе на Парк-авеню в доме 1307, какими была застроена вся улица, — с белыми, как у всех соседей, каменными ступеньками крыльца. Здесь Зельда пережила новое душевное расстройство, и ее пришлось опять поместить в клинику Фиппса. После лечения в одном из санаториев под Нью-Йорком, откуда она вернулась в совершенно невменяемом состоянии, она легла в больницу «Шеппард-Прайт», огромная территория которой примыкала к *La Paix*.

Теперь для Фицджеральда все сосредоточилось на том, как примет публика «Ночь нежна». Хотя он и создал «Гэтсби» и это принесло ему заслуженный успех, сам он не был уверен в нем: что-то там «не срабатывает», обычно говорил он. «Ночь нежна» казалась более солидным достижением. И все же он испытывал опасения в силу ряда причин. Человек, приступивший к роману в 1925 году и открывший его превосходными варваризмами, был уже не тем человеком, который завершил его в 1933 году. Совпавший с этими годами конец эпохи процветания Америки, болезнь Зельды и другие личные невзгоды изменили его восприятие жизни и окрасили в мрачные тона. Дописывая последние страницы в *La Paix*, Фицджеральд уже не обладал той жизненной силой, которая выплескивалась на страницах «Гэтсби» за девять лет до того. Он ощущал необходимость подхлестывать себя алкоголем и опасался, как бы последствия этого злоупотребления не стали проглядывать на страницах романа. «Ночь нежна» была опубликована 12 апреля 1934 года.

Хотя отклики на роман были разнородными, в целом они оказались благожелательными. Роман получил ряд прекрасных отзывов, и даже враждебно настроенные критики признали очарование его стиля. От некоторых писателей пришли письма с изъявлением восторгов, и все же никто, по-видимому, не выразил столь точно чувств, которые Фицджеральд

хотел вызвать в читателях, как Флоренс Уиллерт, когда-то знавшая Фицджеральда по Ривьеру.

«Я буквально минуту назад закончила Вашу книгу, — писала она. — Роман дышит жизнью, он — чудо. Это одновременно и литература, и живопись, и мгновенная фотография, преобразованные в высокое искусство. Вам удалось отразить в нем все стороны жизни, и внутренние и внешние: людей и их окружение до мельчайших деталей, их одежду, жилье, мебель, колорит, погоду, пищу — словом, все, из чего складываются их быт и характеры. И какое разнообразие образов! Потрясающее произведение! Должно быть, Вам пришлось писать его своей кровью. «Гэтсби» — прекрасная вещь, теперь уже классика. Но этот роман — прелесть. Наверное, надо прожить сто лет, чтобы, как Вы, понимать людей».

Джон Пил Бишоп также считал, что «Ночь нежна» превосходит «Гэтсби». «Ты показал нам, — подводил он итог, обращаясь к Фицджеральду, — то, чего мы с таким нетерпением так долго ждали: ты — настоящий, превосходный, трагический писатель». В письме к Перкинсу Бишоп высоко отзывался о «неподражаемом новаторстве, яркости, лиричности и пронизательности Фицджеральда», о «том природном таланте, который всегда вызывал у всех нас зависть». Джеймс Бранч Кейбелл считал «Ночь нежна», «безусловно, самым лучшим произведением» Фицджеральда, а Морли Каллаган заявил, что Фицджеральд — единственный известный ему американский писатель, обладающий качеством французских классиков — подметить в образе черту и мастерски развить ее, обобщая и не разрушая при этом ткани произведения.

Критические замечания раздавались главным образом в адрес ведущих бесцельный образ жизни героев романа.

Неужели Фицджеральд совсем не слышал об экономическом кризисе? Один из критиков предупреждал: «Господин Фицджеральд, вам не удастся скрыться от урагана под пляжным зонтом». Некоторые не могли поверить в Дайвера как врача и в убедительность причин, приведших его к крушению. Неужели Николь и ее богатство действительно тому виной? И этот очаровательный, но слабый человек не надломился бы, сложись его жизнь иначе?

Подобного рода критика, которую Фицджеральд предвидел, беспокоила его меньше, чем оговорки Хемингуэя в отношении его мастерства. В письме Фицджеральду Хемингуэй писал, что роман ему одновременно понравился и не понравился. Развивая далее свою мысль, он советовал Фицджеральду при описании реальных людей придерживаться

того, что с ними произошло и может произойти в действительности. Вольной трактовкой жизни Мэрфи, вплетением в нее себя и Зельды он создал чертовски привлекательные, но фальшивые истории болезней. Хемингуэй упрекал Фицджеральда за отсутствие воли, не позволившей ему осуществить задуманный шедевр, за проявленное малодушие и стремление потрафить критикам-снобам. Но больше всего Эрнеста раздражала проглядывавшая в романе жалость Скотта к самому себе.

«Забудь о своей личной трагедии, — писал ему Хемингуэй. — Мы все обмануты с самого начала, и тебе, как никому другому, необходимо пройти через преисподнюю, чтобы ты мог писать по-настоящему. Но когда тебе причиняют чертовскую боль, используй это — не противься этому. Будь беспристрастен к ней, как ученый. Не считай что-либо особенно важным только потому, что это произошло с тобой или с кем-то из твоих близких. Я не обижусь, если после этих слов ты устроишь мне взбучку. Чертовски приятно учить других, как надо писать, жить, умирать и пр.

Мне бы очень хотелось увидеться с тобой и обо многом переговорить... Видишь ли, старина, ты не принадлежишь к числу трагиков, я тоже. Мы — писатели, и единственное, что мы должны делать, — это писать. Тебе особенно нужна самодисциплина в работе; вместо этого ты связываешь свою судьбу с женщиной, которая тебе завидует, хочет соперничать с тобой и тянет тебя в пропасть. Конечно, все не так просто, но я знал, что Зельда сумасшедшая, уже в первый раз, когда увидел ее. Ты усугубил свое положение любовью к ней и тем, что ты — пьешь... Сейчас ты вдвое лучше, чем в те времена, когда считал себя бесподобным. Ты ведь знаешь, я никогда не ставил «Гэтсби» высоко. Теперь же ты можешь писать как никогда раньше. Единственное, что тебе надо, — это писать искренне и не думать о судьбе написанного.

Так что не останавливайся, пиши».

Письмо задело Фицджеральда, особенно замечания о его личной жизни. К чему было повторять эти и без того горестные истины? Но все же он ответил без чувства обиды. «Свойственная тебе подкупающая откровенность», писал он, рассеяла тяжелую завесу, которая, как он чувствовал, мешала их общению. Вслед за этим он вступил в спор с Хемингуэем относительно собирательности образов. «Вспомни художников Ренессанса и драматургов елизаветинского периода, — приводил он доводы Эрнесту. — Первым пришлось совмещать средневековые представления натурфилософии, археологии и т. д. с библейскими сюжетами; вторые, в частности Шекспир, пытались воплотить результаты своих собственных наблюдений окружающего мира,

используя при этом «Сравнительные жизнеописания» Плутарха и «Хроники» Холиншеда.<sup>[158]</sup> Нельзя не признать величия памятника, созданного ими из столь разнородного материала. Ты можешь не без основания упрекать меня в том, что я не сумел применить этот метод, но утверждение, что он невозможен, вряд ли оправдано».

«Ночь нежна» имела короткий *succes d`estime*,<sup>[159]</sup> хотя и не столь широкий, как этого жаждал Фицджеральд. 13 тысяч проданных экземпляров — очень низкая цифра по сравнению с той, на которую он рассчитывал. Если романом «Прощай, мистер Чипе»<sup>[160]</sup> зачитывалась вся Америка, то «Ночь нежна» уже через девять недель исчезла из списка бестселлеров, унеся с собой последние остатки уверенности Скотта в себе.

Это был суровый год для Фицджеральда. Подавленный и измотанный, он метался из угла в угол по наглухо запертому, неприбранному дому в халате и пижаме, раздумывая над тем, что же ему делать дальше. Он редко выходил на улицу и ни с кем не общался. Фицджеральд мечтал вывести в свет Скотти, но все же самым заветным со времени переезда в Балтимор оставалось стремление обрести утраченное первенство в литературе. Теперь же ему начинало казаться, что само его существование теряет смысл. Он жил как отрешенный от мира старец, который, проведя бурные годы и достигнув успеха, уже не стремится ни к чему. Удивительно, но объем созданного им в тот период был довольно значительным. За восемь месяцев после завершения «Ночь нежна» он написал и продал три рассказа в «Пост», сочинил четвертый, который не был принят, и еще два для «Редбук»; переработал три статьи Зельды для «Эсквайр» и поместил свой рассказ в этом же журнале — ради денег, участвовал в создании сценария в пятьдесят страниц по роману «Ночь нежна»; подготовил (но не продал) радиосценарий на сорок страниц; начал, но не кончил, пять рассказов размером от пяти до двадцати пяти страниц и, наконец, написал предисловие для «Гэтсби», выпускаемого в серии «Современная библиотека».

Следуя обычаю маститых художников, талант которых угасает, Фицджеральд стал собирать под свое крылышко протеже. Частично это объяснялось его щедростью, вечно занимавшими его мыслями о таившемся в молодости потенциале, но в какой-то степени он преследовал и утилитарные цели — он искал себе партнера. Скотт задумал объединить одноактные скетчи Ринга Ларднера в пьесу для постановки на Бродвее. Своим помощником он выбрал только что закончившего университет Гарри Морфитта, позднее ставшего известным на телевидении лицом под именем

Гарри Мур. Однажды вечером Скотт вручил Муру комплект цветных карандашей и предложил ему набросать диалог, в котором бы реплики действующих лиц были написаны карандашами разного цвета. Мур стал упираться, но Фицджеральд настоял на своем. Когда Мур подумал, что Фицджеральд уже не следит за ним, он отложил карандаши в сторону и стал писать ручкой. Неожиданно неизвестно откуда вырос Фицджеральд и отчитал Мура за невыполнение его указания. Мур стал спорить, утверждая, что нет никакой разницы — писать разноцветными карандашами или простой ручкой. «Ты что, вздумал меня учить, как надо писать? — вспыхнул Фицджеральд. — Живо убирайся отсюда!» — И он театральным жестом указал своему напарнику на дверь, положив тем самым конец одной из своих попыток наставничества.

Между тем два молодых человека под его наблюдением работали над сценарием по роману «Ночь нежна». Один из них, юноша двадцати одного года, поразил Фицджеральда своим талантом как никто другой после Хемингуэя. Он на свои деньги снарядил его в Голливуд, рассчитывая дать ему возможность проявить себя и одновременно сбыть сценарий. Фицджеральду польстило, когда этот молодой человек сообщил ему: «Вы здесь очень популярны и чертовски широко известны во всех кинокомпаниях. Вас считают немного снобом, но первоклассным писателем. Все кругом относятся к Вам с почтением».

Однако найти покупателя для сценария так и не удалось. Студии не проявляли интереса к «Ночь нежна» после ее выхода из печати. Кроме того, поскольку владельцы кинофирм считали Фицджеральда миллионером, они опасались, что он заломит за свой сценарий непомерно высокую цену.

Устав от борьбы, Фицджеральд пытался найти спасение в прошлом. Он написал серию рассказов на средневековые темы для «Редбук», на их основе Скотт задумал создать роман. Герой мелодрамы, действие которой происходило в IX веке, — галльский рыцарь, был списан им в какой-то мере с Хемингуэя. Посещавшие Фицджеральда друзья заставляли его за сооружением крепостей из кубиков Скотти и перетаскиванием с места на место больших куч книг, которые должны были означать горы. Он увлеченно занимался исследованиями, связанными с его замыслом: страсть к военной истории была под стать его страсти к регби в студенческие годы.

В ту осень мы отправились вместе на матч в Принстон. Я помню, как у него на глаза навернулись слезы, когда он, стоя в сгущавшихся над стадионом сумерках, махал шляпой и пел «Старый Нассау».

Он ни на минуту не забывал о родном университете. Поэтому, когда врач посоветовал ему заняться чем-нибудь помимо литературы, он задумал

прочитать для принстонцев серию лекций о художественном мастерстве. Фицджеральд написал декану Гаусу, что готов вести курс бесплатно, если ему предоставят для этого главный лекционный зал. Скотт уверял Гауса, что никогда не чувствовал себя более компетентным в своем ремесле, чем теперь, и что Принстон — лучшее место, где он мог бы поделиться своим опытом.

Гаус сослался на трудности включения его лекций в и без того уже перегруженную программу и предложил выступить перед «Клубом», объединявшим студентов последнего курса, — клуб ежемесячно проводил свои заседания в Нассау-холл. Фицджеральд ответил, что знает о такой возможности — он уже получил приглашение встретиться с его членами, — но желал бы вести занятия под авторитетной эгидой университета. Кроме того, он планирует прочесть «довольно серьезный курс», который нельзя уложить в рамки одного вечера. Он отказался от своего намерения, догадавшись о вероятной причине отказа, — боязни Гауса и кафедры английской литературы из-за его дурной репутации предоставить ему возможность общения с широкой аудиторией.

Оставшись в одиночестве, лишенный поклонения, ставшего для него своего рода наркотиком, он клял себя за прошлое. И зачем он был так несдержан к вину, работая над «Ночь нежна»? «Короткий рассказ, — признавался он Перкинсу, — может быть написан после выпитой бутылки, но роман требует чистой головы, способной удержать весь замысел романа и безжалостно отсекал ненужное, как это сделал Хемингуэй в «Прощай, оружие!». Сейчас, когда он находился в состоянии отчаяния. Хемингуэй казался ему недостижимым. Иногда Фицджеральд говорил так, словно было бесполезно вставать по утрам и садиться за работу, зная, что Хемингуэй отращивает бороду, собирается в очередной вояж в поисках приключений и затем перекладывает все это на страницы своих произведений.

Когда от Хемингуэя пришло приглашение отправиться с ним на рыбалку во Флориду, Фицджеральд отказался, ответив через передавшего приглашение человека, что он «не может взглянуть Эрнесту в глаза». Такие же сложные отношения установились у него с Уилсоном. Во время их последней встречи Скотт вообразил, что обязан Уилсону и большей степени, чем тот ему, поскольку он, Фицджеральд, «парвеню», а Уилсон — «ученый муж», сравнение, страшно обидевшее Уилсона, усмотревшего в нем одному ему ведомую заднюю мысль. Эдмунд ответил, что в их солидном возрасте они могли бы обойтись без «университетской чепухи». Позднее Фицджеральд приложил немало усилий, чтобы загладить эту размолвку.



В бессонные ночи Скотт проделывал колоссальную работу. В ту осень он написал миниатюру «Сон и пробуждение», которая предвосхитила серию эссе под общим названием «Крушение». Бродя по дому в предрассветные часы, Фицджеральд выходит на веранду верхнего этажа.

«Балтимор погрузился в туман, сквозь который не проглядывает ни один шпиль. Я ступаю в кабинет, где мой взгляд падает на груды незаконченных бумаг — писем, гранок, заметок... Я уже было касаюсь их, но отдергиваю руку... Нет, нет, ни в коем случае! Это оказалось бы для них губительным.

Я снова иду на веранду, на этот раз выходящую во двор. Мой измочаленный мозг и больные нервы подобны смычку с лопнувшей струной, застывшей над рыдающей скрипкой. Я вижу, как из-за коньков крыш выплывает ужас, леденящий ужас, который вселяется в меня. Я ощущаю его в пронзительных клаксонах полуночных такси, в доносящейся издали заунывной песне горланящих бражников.

Ужас утраты овладевает мной. Боже, кем бы я мог стать, доведись мне свершить все, что потеряно, растрачено, угасло, кануло в небытие и чего уже нельзя воскресить! Я мог бы повести себя иначе в тот момент, воздержаться от неверного шага, в другой — проявить смелость там, где оказался нерешительным, действовать осмотрительнее вместо того, чтобы поступать опрометчиво.

Мне не следовало бы причинять ей столько страданий, не нужно бы было говорить ему того-то. Зачем мне надо было губить себя, пытаясь сокрушить то, чего нельзя сломать?

Страх надвигается теперь, как гроза. Что, если эта ночь — предтеча ночи после смерти? Что, если за всем этим последует вечное прозябание на краю пропасти, когда все скверное и дурное выплеснется наружу и все грязное и низменное окажется впереди? Не осталось ни выбора, ни дороги, ни надежды, лишь бесконечное повторение омерзительного и трагического. Может быть, мне придется вечно обивать пороги жизни, и я буду не в силах ни вступить в нее, ни вернуться назад. Часы бьют четыре, я превращаюсь в призрак».

Преподобный Бэррон, священник, которого Скотт любил еще в Сент-Поле, жил в то время в Вашингтоне. Несколько раз он приезжал к Фицджеральду, но это были грустные для них обоих встречи. «Я приглядываю за Скоттом, — делился Бэррон с одним из своих друзей, — но стараюсь как можно меньше говорить. Я боюсь, как бы он не напустился на меня». Макс Перкинс попытался помочь ему несколько по-иному. Он представил Фицджеральда очаровательной умной девушке Элизабет

Леммон, семье которой принадлежало старинное имение неподалеку от Мидлберга в штате Виргиния. На одном из окон дома сохранились инициалы Джебба Стюарта, которые тот поставил бриллиантовым кольцом, ожидая, когда ему подведут к крыльцу коня. Если Фицджеральд чувствовал себя хорошо, он приезжал в гости к Элизабет в Мидлберг, и они вместе бродили по прилегающим полям, которые когда-то служили ареной битв. Однажды он заглянул в придорожный магазинчик, чтобы купить пачку сигарет «Честерфилд». Когда продавец ответил, что у них нет этой марки, Скотт с сожалением вздохнул: «Какая жалость, я проехал всю долину Шенандоа с госпожой Рузвельт, чтобы сняться здесь с дымящейся сигаретой «Честерфилд» в руке». Шутка никого не рассмешила. Продавец принял Фицджеральда просто за сумасшедшего. В другой раз он на цыпочках вошел в магазин деликатесов и, приложив палец к губам, прошептал продавцу: «У вас есть виргинский окорок?» Тот молча посмотрел на него с минуту из-за прилавка и невозмутимо ответил: «Прямо по коридору, сэр, первая дверь направо».

Фицджеральд вечно придумывал ситуации, чтобы привлечь к себе внимание, и это ему так легко удавалось в былые годы. И в то же время он был застенчив и тушевался в присутствии людей, которых он уважал. Когда Элизабет представила его генералу Биллу Митчеллу, поборнику создания военной авиации в Америке, они разговорились о статьях, которые Митчелл писал для «Пост».

При расставании Фицджеральд, словно он был новичок в литературе, обмолвился: «Вы знаете, я ведь тоже пишу». Фицджеральд очень понравился Митчеллу, и тот пригласил его к себе взглянуть на его коллекцию военных трофеев, что Фицджеральд однажды не преминул сделать.

Накануне Рождества Гертруда Стейн, впервые за тридцать лет приехавшая в Америку, провела за чашкой чая вечер у Фицджеральдов. Нравоучительная жрица искусств, Стейн с коротко подстриженными и спущенными на лоб волосами походила на римского императора. Фицджеральд встречал Стейн не более пяти-шести раз, но они сохранили друг о друге теплые воспоминания. Фицджеральду льстило сделанное незадолго до этого предсказание Стейн о том, что его будут читать, когда многих из его хорошо известных современников напрочь забудут.

Во время ее посещения Зельда показала ей несколько своих полотен. Фицджеральд попросил Стейн выбрать любые понравившиеся ей картины. Та отложила две из них, которые Зельда уже обещала подарить своему врачу.

«Дорогая, пойми, — умолял жену Фицджеральд, — Гертруда вывесит их у себя в салоне в Париже, и ты прославишься. Она была ко мне добра, как никто другой, и я бы хотел хоть как-нибудь отблагодарить ее за это».

«Если бы она была к тебе добра так же, как ко мне мой врач, — отрезала Зельда, — ты бы отдал ей все, что у тебя есть. Я не могу подарить ей эти картины».

В конце концов, Стейн выбрала две другие.

Когда в комнату вошла Скотти, Стейн вынула из кармана домотканой юбки высохший полый лесной орех, подобранный ею во время прогулки перед обедом, и дала его Скотти. Та попросила Стейн поставить на нем свой автограф.

— Что ж, это символично, — вздохнула Стейн и поставила на скорлупке свою подпись.

Разговор перешел на литературу, и мисс Стейн заметила, что фразы не должны протекать, «слова в них должны быть плотно подогнаны друг к другу».

— Господи, боже мой! — воскликнул Фицджеральд. — Ну не женский ли это взгляд на стиль! Гертруда, дайте мне предложение, которое бы не протекало.

— Ваше посвящение «Великого Гэтсби»: «И снова Зельде». — Стейн сложила руки в виде чаши. — Оно полно, цельно и не протекает.

После встречи Фицджеральд писал Гертруде Стейн, что канун Рождества он провел, любуясь ее привлекательным лицом, ее умом и фразами, «которые не протекают».

Фицджеральд вынужден был, наконец, признать, что Зельда никогда не поправится и всю остальную жизнь ей придется провести в лечебницах.

В последние пять лет мысль о ее болезни неотступно преследовала его. «Я растерял надежду на проселочных дорогах, ведущих к клиникам Зельды», — записывает он в своем дневнике.

Выставка ее картин в Нью-Йорке не имела успеха. Подобно ее литературным произведениям, они свидетельствовали о сильной, оригинальной и лирически настроенной личности, наделенной большим природным талантом, но все же элемент психического расстройства проступал в них явно: в ее танцорах с покрытыми волдырями искривленными ногами; в поваре-негре, ощипывающем курицу, — одни огромные черные руки. Однажды, когда Скотт приехал в клинику повидать Зельду, и они прогуливались по прилегающим к *La Paix* полям, она попыталась броситься под поезд, который изредка курсировал через наш участок к «Шепард-Пратт». Ему едва удалось удержать ее. С этого

момента он стал говорить о ней как о «калеке» и, однажды, в минуту горечи поискал сочувствия у друга: «Ты можешь себе представить, что значит оказаться прикованным к мертвому телу?», Но Скотт никогда не переставал любить воспоминаний о том, кем она была, и эта любовь вдохновила его на стихотворение, которое он написал в конце того мучительного года:

Ты помнишь ли — еще не повернулся ключ в замке,  
И крупным планом жизнь была, а не письмом случайным,  
Я плавать не любил, раздевшись, у камней,  
Тебе же это нравилось необычайно.  
Ты помнишь номера гостиниц многих, где в бюро —  
Всего три ящика: с досадой об одном мы  
Лишь спорили — великодушно, после — горячо,  
Стараясь третий ящик уступить другому.  
Автомобиль кружился наугад — то запад, то восток,  
Тропой альпийскою, на карте не означенной рекою.  
И тон взаимных обвинений был жесток,  
Но час пройдет — и смех обиду успокоит.  
Пускай немилостив и безотраден был финал:  
В календаре найти декабрь вслед за июнем, —  
И все же горших ссор я не сыскал  
В воспоминаниях, от горя обезумев. [\[161\]](#)

## ГЛАВА XV

Больной, весь в долгах и вконец отчаявшийся, Фицджеральд в феврале 1935 года отправился отдохнуть в Трион, в Северную Каролину, где он близко сошелся с семьей Флиннов, необыкновенной парой, которая в течение последующих лет, полных горьких разочарований, станет его опорой в жизни.

Нора Лэнгхорн Флинн вышла из семьи, давшей Виргинии не одну красавицу, самой знаменитой из коих была леди Ненси Астор, поборница женских прав, салон которой посещали многие влиятельные лица. Несколькими годами старше Фицджеральда, Нора, в своих элегантных костюмах с неизменными белыми блузками, продолжала оставаться очаровательной. Однако самое привлекательное в ней — ее жизнелюбие, именно то качество, которое Скотт искал в других теперь, когда его собственные жизненные силы иссякали. Муж Норы, Лефти, напоминал Фицджеральду плакат с изображением игрока в регби. Высокий, привлекательный, он когда-то был спортсменом — звездой Йеля, актером в немых фильмах и летчиком морской авиации во время первой мировой войны. После бродячей, полной приключений жизни Флинны осели в Трионе, где задавали тон в местном обществе.

Они находились в приятельских отношениях со знаменитостями в Америке и за границей. Нора знала Бернарда Шоу, а королеву Англии называла попросту Бетти. Гостившие у них наездами известные художники, актеры, музыканты вносили оживление в жизнь Флиннов, хотя они и сами были интересными и неистощимыми на выдумки хозяевами. На вечерах они разыгрывали скетчи и пели дуэтом, и, если кто-нибудь из них придумывал шутку, другой подхватывал ее, и, обходя гостей, они, заливаясь смехом, рассказывали ее, заражая всех своим весельем. Нора могла бы стать профессиональной актрисой, но ее, по-видимому, вполне устраивала роль сельской герцогини. Она занималась организацией благотворительных балов, входила в состав жюри на демонстрациях мод. Когда Нора появлялась на улицах Триона, ее вечно окружала толпа самых разных людей всех возрастов.

Несмотря на свое привилегированное положение, Флинны оставались жизнелюбивой парой, больше всего ценившей свою свободу (недаром друзья говорили, что в душе они — цыгане). Они представляли собой тот нетипичный образец богачей, который импонировал Фицджеральду (на

самом деле они оказались не так уж богаты и явно жили не по средствам). Двери их дома были всегда открыты для Фицджеральда. Они не обижались, если он, предупредив о своем приходе на обед, не появлялся, и абсолютно не рассчитывали на взаимность с его стороны. Единственное, чего они хотели бы от гостя, — это жизнерадостности. Когда Фицджеральд бывал в дурном настроении, Нора обвивала его шею руками и, поцеловав его, грозила надавать ему шлепков, если он сейчас же не перестанет хандрить.

Нора принадлежала к религиозному обществу «Христианская наука» и считала своим долгом наставлять на путь истинный заблудших. Фицджеральд казался ей слишком очаровательным, чтобы ему можно было позволить скатиться на дно. Она внушала ему веру в собственные силы, высоко отзываясь о нем, и утверждала, что ему все по плечу, стоит лишь взять себя в руки.

В мае рентгеноскопия установила у Фицджеральда слабую форму туберкулеза. Заперев свой дом на Парк-авеню, он отправился отдохнуть и подлечиться в санаторий «Гроув-парк» в Ашвилле.

В построенном из камня и походившем на пещеру «Гроув-парке», который обслуживал богатых клиентов, он чувствовал себя одиноким, но не стремился сходить с людьми или быть узнанным. Красивые молодые девушки, отдыхавшие с родителями, толкали друг друга локтями, когда он проходил мимо. Он был по отношению к ним любезен, услужливо открывал им двери, но не вступал с ними ни в какие отношения. Он часто звонил Флиннам. «У вас был такой неудачный год, — сочувствовала ему Нора. — Приезжайте и побудьте у нас, мы все вас так любим». Фицджеральд отвечал, что он обязательно приедет, просто сейчас он не в духе, потому что с ним нет Скотти. Кроме того, он бы не хотел омрачать атмосферу их дома своими горестями...

Опустошенный физически и морально, он пытался ни о чем не думать и занимался бесконечным составлением списков офицеров армии, спортсменов, названий городов, популярных мелодий. Через какое-то время он понял, что является свидетелем собственного краха, и сравнивал себя со стрелком, который стоит в сгущающихся сумерках на опустевшем полигоне с опущенными мишенями и без единого патрона. Казалось, именно к нему относилось изречение святого Матфея: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?».

Его приступ туберкулеза прошел, как это всегда с ним бывало, когда он начинал следить за своим здоровьем. Но тут он начал усиленно налегать на пиво, убедив себя, что пиво — это не спиртное. Однажды ему в номер было

доставлено за день тридцать две бутылки. «У него там есть еще кто-нибудь?» — любопытствовала у посыльного сидевшая за коммутатором телефонистка. «Никого, мадам, — покачал головой тот. — Он пьет его один. А вы знаете, он интеллигентный человек. У него в комнате расстелен огромный лист бумаги, на котором он непрерывно пишет. Всякий раз, когда я приношу пиво, он, не поднимая головы, показывает рукой, куда поставить бутылки, просит открыть для него одну и дает мне доллар, не отрывая глаз от бумаги. И когда он успевает все их выпивать?»

Прислуга в отеле была влюблена в Фицджеральда не только из-за его щедрости, но и потому, что он тепло относился ко всем и проявлял интерес к их житейским заботам. «Он свой парень, — в один голос соглашались посыльные отеля. — Беда вот только с этими бутылками».

Его основным собеседником в то лето стала секретарша Лаура Гутри, которую он приглашал к себе в любое время дня и ночи, поскольку не переносил одиночества, когда его мучила бессонница. Вместе с Лаурой он просмотрел массу кинофильмов, а иногда просиживал с ней в кабаре всю ночь напролет. Лаура вела записи их бесед, которые представляют собой уникальное собрание случайно оброненных им замечаний, свидетельствующих и о его тщеславии, и, в известной степени, о критической самооценке. В них проглядывает также стремление надломленного человека как-то подбодрить себя.

Лаура, окончившая факультет журналистики Колумбийского университета, мечтала стать писателем и потому выпытывала у Фицджеральда его писательские «секреты».

«Излагайте проблему, а не решайте ее, — поучал он Лауру. — Будьте естественны, главное, оставайтесь самой собой.

Я не знаю, почему я пишу, не знаю, что во мне заложено и что побуждает меня братья за перо... Во мне одна половина, по крайней мере в моем мозгу, — от женщины». Лаура не могла не согласиться, что он понимает женщин.

«Я знаю мысли каждого, во всяком случае, некоторые из них. Я романтик и ничего не могу с этим поделать, особенно теперь, когда я достиг творческой зрелости, в сущности, я достиг ее в тридцать лет, но тогда я еще не понимал этого. Сейчас, когда я стал маститым писателем, я могу писать только по-своему, потому что мои взгляды не переменятся. Правда, сейчас в литературе все больше пробивают себе дорогу новые веяния: от произведения требуют морали и цели. Я принадлежу к промежуточному периоду, лежащему между двумя морализирующими эпохами».

«Все мелкие писатели стремятся писать под меня, так как я первоклассный художник, я *maitre*.<sup>[162]</sup> В моих рассказах все больше жизненной правды, и я просто не могу не воплощать ее. Я часть сознания людей и потому оказываю влияние на язык молодежи и саму молодежь».

Лаура поинтересовалась, списывает ли он своих героев со знакомых ему людей.

«Никогда и никого полностью. Мои герои — это смесь черт нескольких людей, какими я их себе представляю». Сославшись на психологические категории Юнга, он характеризовал себя: «Я интуитивный человек, склонный к интроспекции. Я вбираю в себя людей, меняю мое представление о них и затем описываю их заново. Все мои образы — это полностью Скотт Фицджеральд. Даже мои женские образы — это феминизированный Скотт Фицджеральд».

Лаура заметила, что Фицджеральд переписывает каждый рассказ трижды-четырежды, всякий раз начиная работу с чисто отпечатанного на машинке черновика. Ее интересовало, всегда ли он с такой тщательностью подходил к своим произведениям.

«Да, три черновика абсолютно необходимы. Первый — чтобы изложить самые сокровенные мысли; второй — рационально оценить написанное; третий — установить баланс между первым и вторым».

«Если вы хотите стать первоклассным писателем, вы должны порвать со всеми канонами, вы должны быть предельно искренни. Сначала все обрушатся на вас за это, но, в конце концов, когда весь мир признает вас, к вам станут относиться по-иному. Так что вам предстоит долгий одинокий путь».

«Я пытался писать, когда не чувствовал к этому внутреннего зова, и из этого ничего не вышло. Если в моем рассказе что-нибудь не клеится, я возвращаюсь к той сцене, где чутье изменило мне, и с того места начинаю все заново. Сдержанная манера письма и подспудность, безусловно, ценные вещи в писательском ремесле. И еще, всегда прислушивайтесь к тому, как говорят люди».

«Я достиг высот к тому времени, когда мы с Зельдой вернулись в Сент-Пол. Затем во мне что-то надломилось, и я скатился в пропасть. Но мне всякий раз удавалось вновь вскарабкаться на вершину».

«Я должен выделяться во всем, что бы я ни делал, иначе никто не станет помогать моему вниманию. Я волк-одиночка, и, хотя я всегда стремился примкнуть к стае, меня не допускали в нее до тех пор, пока я не утвердил себя».

«Я столь дурен и несносен, что мне необходимо творить добро. Я



просто обязан писать великолепно, чтобы компенсировать все скверное во мне. Я обязан и могу писать хорошо».

«Я не в силах жить без того, чтобы меня не любили, — признался он. — Я даю крупные чаевые, чтобы меня любили. Во мне столько недостатков, за которые меня можно упрекнуть, что я не в силах обойтись без того, чтобы меня похвалили за что-то».

О своих друзьях Фицджеральд отзывался: «Они все сильные личности и обычно в чем-то проявили себя. Я отыскиваю понравившихся мне людей — их не так много — где угодно. Я не могу уволить слугу, и то же происходит с моими друзьями: я выбираю друзей очень тщательно, и, когда они становятся частью моей жизни, я не в силах порвать с ними».

«Мы все одиноки, а художник особенно. Одиночество — неизбежный спутник творчества. Я создаю мир для других. Именно поэтому женщины готовы идти за мной. Им кажется, будто созданный мной прекрасный мир просуществует вечно. Я побуждаю их казаться привлекательными самим себе, самыми важными на свете».

Но ни одна женщина не могла занять место Зельды.

«Наша любовь была единственной в столетие. Когда в наших отношениях произошел разлом, жизнь потеряла для меня всякий смысл. Если Зельда поправится, я снова буду счастлив и обрету покой. Если нет, я промучаюсь до конца своих дней. Мы с Зельдой были друг для друга всем, воплощением всех человеческих отношений — братом и сестрой, матерью и сыном, отцом и дочерью, мужем и женой».

«Как это ни странно, но мне так и не удалось убедить ее, что я первоклассный писатель. Она знает, что я пишу хорошо, но не представляет себе, насколько хорошо».

«Когда я превращался из популярного писателя в серьезного художника, крупную фигуру, она не могла понять этого и даже не попыталась помочь мне».

«Женщины так слабы, эмоционально неустойчивы, что их нервы в момент кризиса не выдерживают. Они могут переносить физическую боль легче, чем мужчины, как, впрочем, и скуку. Их способность выдерживать скуку просто феноменальна, но они не могут вынести нервного или морального напряжения. Самые великие женщины — это те, которые обуздали свои страсти или не имеют их вообще. Возьмите, например, Флоренс Найтингейл, Джейн Аддамс, Джулию Уорд Хоу.<sup>[163]</sup> Вся их жизнь была подчинена возвышенной, благородной цели. У них не было в душе конфликтов, которые терзают Зельду».

«Этот мир создан для мужчин, — часто повторял он, — и все умные

женщины признают их главенство».

И все же, несмотря на то, что он так подчеркивал мужское превосходство, в основе своей он был мужчина с сильными женскими чертами в характере. Вероятно, надо быть женщиной, чтобы уловить то возникавшие, то угасавшие, словно ветер, чувства, которые постоянно отражались на его подвижном лице (мужчины обычно склонны скрывать признаки своей слабости). Его беседы касались тем, которые так нравятся женщинам: психологический анализ людей, нюансы их поведения, неожиданно вспыхивающие между ними чувства.

Женские черты в характере Фицджеральда, его непередаваемо утонченная чувственность во многом объясняют, как и в Рильке и Лоренсе, его художественный талант. И, тем не менее, он абсолютно не был женоподобен. Но мужское начало в нем не бросалось резко в глаза. Для человека, который способствовал расширению цензурных рамок в литературе, его произведения были удивительно целомудренны. В таком романе, как «Гэтсби», который буквально дышит страстью, почти нет откровенных сексуальных сцен. Даже отношения Тома Бьюкенена с его грубоватой любовницей скорее предполагаются, нежели изображаются.

После психического расстройства Зельды Фицджеральд позволял себе иногда увлечься, не часто, если учесть предоставлявшиеся возможности. В июле молодая замужняя женщина из Мемфиса, приехавшая погостить в Ашвилл, влюбилась в него с первого взгляда. Она уже до этого была увлечена его произведениями. Они стали близки.

Она была привлекательна внешне и богата, но к этому мало что можно было добавить еще. Однако когда к ней приехал муж, Фицджеральду вдруг показалось, что он действительно любит ее, и он начал истязать себя муками, которые растягивал и усугублял, продолжая встречаться с ней и ставя ее и себя под удар. Она уехала и стала писать Фицджеральду душераздирающие письма, но у него уже не было желания отвечать на них: он увидел интрижку в подлинном свете и понял, что это увлечение — всего лишь попытка найти забвение, как в вине. Наконец, не выдержав ее настойчивости, он написал ей письмо-отповедь, которое, хотя и не было отправлено, обнаруживает в нем черты твердости за его кажущейся слабыхарактерностью.

«Глория (назовем ее так. — Э.Т.).

Это письмо будет так же трудно читать, как его нелегко было написать. В молодости я как-то наткнулся в «Записках» Сэмюэля Батлера<sup>[164]</sup> на фразу, в которой утверждалось, что худшее в жизни человека — это утрата им здоровья, а вслед за этим — потеря состояния. Все остальное не имеет

большого значения.

Конечно, это утверждение соответствует истине лишь наполовину, но как часто в жизни большинству из нас, и особенно женщинам, приходится жить полуправдой. Полное единение желаемого и того, чем мы можем обладать, так редко, что я с изумлением оглядываюсь на дни моей молодости, когда я ощущал или мне казалось, что ощущал, это единство.

Смысл ссылки на Батлера состоит в том, что в минуты горести или кажущегося невыносимым отчаяния, я использовал его афоризм как фундамент, на котором возводил здание из сопоставимых ценностей: это следует первым, это — вторым.

Это то, чего не делаешь ты, Глория!..

Самое трудное в этом письме — отправить тебе вложенное послание, которое ты должна прочесть не откладывая (любственное письмо Зельды с признанием в привязанности к нему. — Э.Т.).

Ты прочла его? Как видишь, есть чувства, которые так же важны, как и наши с тобой, и которые существуют рядом с нами. В жизни поистине нет иного критерия для оценки, кроме чувства долга. Когда люди в чем-то запутываются, они, чтобы оправдать себя, создают некую защитную завесу, и лишь внезапный удар действительности, потрясение, по-видимому, заставляет их вновь судить о вещах здраво. Ты как-то бросила мне: «У тебя одна любовь — Зельда» (только ты произнесла «любовь» с явным пренебрежением). Да, я отдал ей свою молодость и все чистое, что было во мне, и это своего рода вклад, который так же реален, как мой талант, моя дочь, мои деньги, и его не перечеркивает такое же глубокое чувство, которое я испытывал к тебе.

Резкость этого письма достигнет своей цели, если, прочтя его, ты поймешь, что у меня есть жизнь помимо твоей, а это, в свою очередь, напомнит тебе о твоей жизни помимо меня. Я не хочу умалять твоих достоинств предположением, что все написанное следовало писать. Я лишь полагал, что, может быть, сказанное мною еще раз воскресит те старые истершиеся истины, которыми мы дышим: мы просто не имеем права, чтобы наша жизнь разлеталась на куски, как упавший на пол хрупкий фарфор.

Человек обязан быть благородным.

Чувство собственного превосходства основано на том, что человек ощущает себя благородным, бескорыстным, щедрым, справедливым, смелым, сострадательным и всепрощающим. Если ты не благороден, если ты утратил мерило ценностей, все эти качества оборачиваются против тебя, и тогда любовь превращается в грязь, а смелость приводит к гибели.

Скотт».

Лето для него прошло впустую. Одурманенный пивным хмелем, Фицджеральд просиживал над рукописями часами, не в силах завершить ни одного начатого произведения. Чувствовал он себя скверно. Ему приходилось принимать успокоительные таблетки, чтобы заснуть. Он переключился с люминала на амитал, потому что люминал вызывал чесотку. Потеряв аппетит, он лишь иногда проглатывал, словно лекарство, немного пищи. В сентябре, чтобы закончить рассказ, который у него никак не продвигался, он стал налегать на спиртное.

Однажды они с Лаурой отправились на прогулку в Чимни Рок, откуда открывалась панорама на простиравшийся вдаль горный хребет. Озеро Люэр серебрилось метрах в трехстах у них под ногами.

«Это место напоминает мне о смерти, — произнес Фицджеральд. — Да, да, ни о чем другом, кроме смерти. Эти огромные скалы, эти темнеющие вдаль горы. Все это останется через миллионы лет, когда нас уже давно не будет в живых, и мы все вернемся туда, откуда появились».

По дороге назад он пустился в рассуждения: «Быть в компании со мной — все равно, что читать книгу. Вы все время что-то черпаете от меня. Может быть, я слаб от рождения, быть может, я эгоист, но у меня сильная воля. Я не обладаю терпением, но уж если я чего-нибудь хочу, я действительно хочу этого. Я разрушаю людей. Я — часть происходящего разрушения» (он постоянно возвращался к теме крушения — чьего-либо или своего собственного).

«Алкоголь — это попытка уйти от жизни. Именно поэтому так много людей пьют сейчас. Мы переживаем *Weltschmerz*,<sup>[165]</sup> безвременье. Все люди с обостренным восприятием ощущают это. Старый порядок уходит, и мы задаем себе вопрос, что ожидает нас в новом, если он вообще что-нибудь несет с собой».

«Жизнь — одни страдания. Единственное, чего я хочу, — это чтобы она была сносной. Я привык оставаться наедине со своими мыслями, но вот уже в течение полутора лет я не знаю, что такое радость. Я слишком много и слишком долго страдал. Мне хотелось бы на время все вычеркнуть из жизни и ничего не чувствовать».

Спустя несколько дней после сообщения в газетах о смерти Теда Коя Фицджеральд сокрушался: «Тед Кой был моим идиолом. Я боготворил его и описал в нескольких рассказах. Таких защитников теперь не сыскать! Какой это был игрок! И он умер от алкоголя. Все алкоголики умирают между тридцатью восьмью и сорока восьмью. Ему было сорок семь».

«Теперь, — продолжал он, — люди ни за что не позволят Ф. Скотту

Фицджеральду вести себя как ему заблагорассудится. Года четыре назад издатель сказал бы: «Это же Фицджеральд. Что вы еще от него хотите? До тех пор, пока он пишет хорошо, какое мне дело до его выходов». Теперь они уже не были бы столь снисходительны, если бы я рассказал им о растроченном попусту лете».

«А через четыре года?» — поинтересовалась Лаура, предполагая, что дела пойдут на поправку. «К тому времени меня уже не будет, — ответил Фицджеральд. — Я буду там, где сейчас Тед Кой».

Ему не терпелось вернуться в Балтимор и находиться рядом со Скотти и Зельдой, но он решил прежде закончить рассказ. Шеф-повар «Гроув-парка», стремясь всячески поддержать Скотта, готовил для него вкусные подливы, которые он ел иногда с хлебом и картошкой. Если к этому добавить еще суп, то это было все, чем он питался.

Однажды Лаура, зайдя к Фицджеральду в номер, застала его в свитере, надетом поверх пижамы: он пытался, пропотев, изгнать остатки хмеля и в то же время продолжал прикладываться к бутылке джина.

«Посмотрите, — бессвязно пробормотал он, — у меня подрагивают на ногах мышцы. А сегодня утром я харкал кровью».

Когда Лаура предложила вызвать доктора, Фицджеральд запротестовал. Наконец врач все-таки появился и предписал ему лечь в больницу. В течение пяти дней, которые он провел там, побледневший, трясущийся и жалкий, он завершил рассказ.

После его возвращения в Балтимор Лаура получила от него бодрое письмо. Скотти прибыла, словно «богиня солнца... вся цветущая и излучающая тепло», и они провели счастливые минуты вместе, гуляя по вечерним темным улочкам города. Зельда чувствовала себя прекрасно и «выглядела почти так же, как и прежде. Какая прелесть сидеть с ней часами, когда она склоняет свою голову ко мне на плечо, и чувствовать, что я всегда был, даже сейчас, ближе ей, чем кто-либо другой на свете...».

«Мне нравится Балтимор больше, чем мне это казалось. Он воскрешает в памяти столько воспоминаний. Как приятно бросить взор вдоль улицы и увидеть своего прародителя (имелся в виду Фрэнсис Скотт Ки. — Э.Т.), знать, что здесь похоронен По и что многие мои предки прогуливались по старому городу, расположенному вдоль залива. Мое место здесь, где все кругом чистенько, весело, благопристойно и насквозь прогнило. Я совсем не против того, чтобы в скором времени обрести с Зельдой покой под одним из камней на старом кладбище. Эта мысль действительно доставляет мне удовольствие и абсолютно не наполняет меня грустью».

Но этот всплеск приподнятого настроения оказался мимолетным. Состояние здоровья Зельды ухудшалось, а качество произведений Скотта продолжало катастрофически падать. Его литературный агент Гарольд Обер испытывал трудности в поисках издателя, который бы согласился опубликовать рассказы Фицджеральда за любую цену.

Обер стал его опорой еще в 1919 году, когда, будучи помощником Поля Рейнольдса, начал вести дела Фицджеральда (в течение последующих двенадцати лет гонорар Фицджеральда за рассказ возрос в восемь раз). Когда в 1928 году Обер покинул Рейнольдса, чтобы начать свое дело, Фицджеральд прислал ему телеграмму из-за границы со словами: «БЕЗРАЗДЕЛЬНО ВАШ». Фицджеральд полюбил этого джентльмена старой школы с добрыми светло-голубыми глазами, застенчивой улыбкой и мягким голосом. Обер понимал в человеческой душе и в литературе больше, чем мог выразить словами. Когда приходилось вести переговоры с каким-нибудь издателем, иметь на своей стороне такого партнера из Нью-Хэмпшира было одно удовольствие.

Исполнение обязанностей агента Фицджеральда не обходилось для Обера без неприятных моментов, но все же он вспоминал о Скотте как об одном из самых предупредительных и серьезных авторов, с которыми ему пришлось иметь дело. Кроме того, Обер был благодарен Фицджеральду за то, что в пору открытия им собственной конторы (он это сделал на взятый взаймы капитал) Скотт, высокооплачиваемый в ту пору писатель, стал одним из его клиентов.

Обер всячески оказывал содействие Фицджеральду из чувства уважения и преданности. Как-то, примерно в тот период, Филипп Уайли заглянул к Оберу в контору, не предупредив его заранее о своем визите, и застал того стоящим у письменного стола с рукописью в руках. По щекам у него текли слезы.

«На, взгляни, — еле выговорил он, передавая Уайли грязный черновик с неразборчивой правкой. — Мне всегда было просто с пометками Скотта. Это конец рассказа, который я разбираю лишь вот до этого места. На последних шести страницах я вообще ничего не в силах понять. Скотт пил и раньше, но никогда не присылал мне рукописей, которых я не мог бы прочесть. Боюсь, что Скотт...» Он осекся.

Фицджеральд всегда стремился к совершенству, даже в мелочах, и Обер уважал его за это. Как-то Скотт признавался ему в письме: «Было бы бесполезно с моей стороны подгонять себя. Даже в 24, 28, 29, 30-м годах, когда я писал только рассказы, я не мог создать более 8–9 хороших вещей в год. Больше этого сделать просто невозможно. Все мои рассказы задуманы

как романы, все они требуют особого настроения души, разного опыта. Беря в руки сработанный мною рассказ, читатели, если таковые окажутся, должны знать, что всякий раз их ожидает что-то новое не только по форме, но и по существу (было бы лучше, если бы я мог писать трафаретные рассказы, но у меня не поднимается рука)».

Однако в последние несколько месяцев Фицджеральд испытывал свой талант подобно игроку в рулетку, отчаянно делающему одну ставку за другой в надежде, что шарик попадет в выбранный им номер, и хоть какой-нибудь из рассказов найдет издателя. Поскольку они оказывались написанными все более небрежно, Обер был вынужден посылать их Скотту обратно на доработку.

Однажды, крайне нуждаясь в средствах, Фицджеральд, минуя Обера, отправил рассказ прямо в «Пост». Но журнал отклонил его. Обер отнесся к этому поступку довольно снисходительно, выразив лишь надежду, что Фицджеральд больше не сделает такого опрометчивого шага.

Причина неудач Фицджеральда частично заключалась в различии между мироощущением Фицджеральда и тем, чего ожидали от него издатели. Как в его состоянии мог он вкладывать душу в повести о юной любви? С начала 20-х годов, когда они выходили из-под его пера естественно, в нем произошли глубокие перемены. Требовалось время, чтобы привыкнуть к своему новому «я» и преодолеть преграду, мешавшую ему новым чувствам вырваться наружу. В одну из ноябрьских ночей 1935 года он быстро упаковал вещи и сбежал в Хендерсонвилл, небольшой городишко между Ашвиллом и Трионом, чтобы поразмыслить над тем, почему «у меня выработалась горестная склонность к печали, безрадостная склонность к безотрадности, роковая тяга к трагизму, то есть каким образом я отождествил себя с тем, что внушало мне ужас и сострадание». Питаясь двадцатицентовыми обедами и стирая сам белье в двухдолларовом номере отеля «Скай-лендз», он пишет эссе под названием «Крушение». По возвращении в Балтимор, «чтобы встретить Рождество или то, что от него осталось», он пишет еще два этюда в этом же духе.

Взятые все вместе, эти эссе представляют собой анализ его нервного и психологического распада. Что случилось с его прежним убеждением: «Если ты на что-то годен, ты должен подчинить течение жизни своей воле?» Он понял, что какое-то время полагался на ресурсы, духовные и материальные, которыми не обладал. Он осознал также свою зависимость от других: в интеллекте — от Уилсона, в художественном мастерстве — от Хемингуэя, в знании социальных отношений — от Мэрфи. Он позволил себе раствориться в жизни других людей. Отныне он отсечет за ненужностью

это вечное самопожертвование, которое составляло часть его обаяния, более того, его таланта, ибо через отказ от себя он пришел к познанию других. Отныне он будет лишь писателем, отбросившим всяческие сантименты, — совершенно невыносимая задача для человека его темперамента.

Своим непреднамеренным обнажением души и искренностью «Крушение» напоминало некоторых европейских авторов — Достоевского, Кьеркегора, Стриндберга.<sup>[166]</sup> Фицджеральд пережил век джаза и запечатлел его в своих произведениях. Теперь он пожинал его плоды, сметенный волной отчаяния, которая последовала за ним.

С октября Фицджеральд жил со Скотти в «Кембридж Армз» на Чарлз-стрит, как раз напротив студенческого городка университета Гопкинса. В своей квартире на седьмом этаже он пытался работать, чтобы хоть как-то оплатить долги, но, по мере того как мир, в котором он обретался, сужался, ему с каждым днем мало что оставалось сказать. Одним из его лучших произведений того года явилось просто описание типичного для него дня ничем теперь не примечательной жизни.

Проснувшись светлым апрельским утром, он чувствует себя лучше, чем в последние несколько недель. После завтрака ложится на кушетку минут на пятнадцать, чтобы набраться сил перед тем, как приступить к работе. Покоя не давал рассказ для журнала, который стал настолько неправдоподобным к середине, что вот-вот был готов рассыпаться на куски. Сюжет походил на восхождение по бесконечной лестнице, в нем не содержалось ни одной свежей мысли. Герои, которые еще вчера могли заинтриговать, сегодня не подходили даже для дешевых поделок, обычно печатавшихся отдельными кусками в литературных газетах.

Мысль уносила его в далекие края, куда бы он хотел отправиться в путешествие, но для этого требовались силы и время, которых у него почти не осталось; а то, что еще теплилось в нем, надо было сохранить для работы. Просматривая рукопись, он подчеркивал красным карандашом лучшие параграфы. После того как машинистка перепечатывала их, «искромсанный» рассказ выбрасывался.

Расхаживая по комнате с сигаретой в руках, он разговаривал сам с собой.

— Зна-ачит, та-ак... (раздумывая, Фицджеральд имел привычку растягивать слова).

— Всле-ед за э-этим...

Чувствуя, что ни одна живая мысль не приходит ему в голову, он отправился в город, чтобы подышать свежим воздухом. Засунув в карман



бутылку шампуня, он направился к знакомому парикмахеру, работавшему неподалеку в одном из отелей. Он терпеливо стоял на углу улицы, ожидая, пока зажжется зеленый свет, и с удивлением глядел на молодых людей, которые торопливо пересекали ее, казалось, абсолютно не замечая шумного движения. Он заботился теперь о своем здоровье так же, как ранее был к нему безрассуден.

С верхней площадки двухэтажного автобуса сквозь ветви деревьев, трущиеся о стекла окон, он увидел, как люди укатывали поле университетского стадиона, и ему в голову пришла идея рассказа. Он назовет его «Садовник» или «Трава прорастает». «Это будет история человека, который в течение многих лет следит за травяным покрытием на стадионе, где играют в регби; воспитывает сына, тот поступает в университет и начинает играть за университетскую команду. Сын умирает молодым, и старик идет работать на кладбище, где ухаживает за травой на могиле сына точно так же, как раньше ухаживал за ней на стадионе... Это будет просто заурядный рассказ для популярного журнала, который к тому же окажется легко написать. Однако многие сочтут его великолепным, потому что он трогателен, полон грусти и прост для понимания».

В городе вид одетых в яркие платья молодых девушек на какое-то мгновение пробуждает в нем острую любовь к жизни, стремление ни за что на свете не падать духом. В парикмахерской Скотт чувствует себя счастливым человеком, получая физическое наслаждение от движения сильных пальцев, массирующих его голову.

Постригшись, он выходит в зал и слышит звуки оркестра, которые доносятся из бара, расположенного в конце коридора. Ему невольно приходит мысль, что за прошедшие пять лет он танцевал раза два. Тем не менее, в рецензии на недавно опубликованную им книгу говорилось о его пристрастии к ночным клубам. Там же по отношению к нему употреблялось слово «неутомимый». Что-то екнуло в нем, когда он прочел это, и, чувствуя, что у него на глаза навертываются слезы, он отвернулся. Это слово напомнило ему о начальном периоде, лет пятнадцать назад, когда критики приписывали его стилю «фатальную легкость», а он, словно невольник, корпел над каждым словом, чтобы не дать оснований для подобного утверждения.

Возвращаясь домой на автобусе, он замечает парочку, уединившуюся на высоком постаменте памятника Лафайету. «Их уединенность пробудила в нем нежные чувства, и он знал, что как писатель-профессионал он найдет этой сцене применение, хотя бы в качестве контраста для его растущего одиночества и все более ощущаемой потребности перебраться и без того уже

просеянное прошлое. Он нуждался в новых ощущениях...»

Прежде чем войти в дом, он взглянул на окна своей квартиры.

«Квартира известного писателя, — сказал он самому себе. — Интересно, что за чудесные книги выходят из-под его пера? Какое, должно быть, счастье иметь такой талант — просто садись за стол с карандашом в руках и бумагой, работай когда хочешь, иди куда тебе заблагорассудится».

Скотти еще не было дома.

Вышедшая из кухни служанка поинтересовалась, как он провел время.

«Чудесно, — ответил Фицджеральд. — Я покатался на роликовых коньках, сходил в кегельбан и завершил прогулку посещением турецкой бани».

Чувствуя усталость, он подумал, не прилечь ли ему минут на десять и посмотреть, может быть, за пару часов, которые оставались до ужина, ему придет в голову какая-нибудь идея.

Отрадой в его жизни была Скотти. Его выводила из себя свойственная ей импульсивность и вечный беспорядок в ее комнате, но он не мог не оценить «прилагаемых ею сознательных усилий, чтобы справиться со своим кипучим темпераментом». Он писал о ней серию рассказов, главной героиней которых была Гвен. Из четырех законченных к тому времени было опубликовано лишь два. Подобно Гвен, Скотти была очарована Джинджер Роджерс и Фредом Астером.<sup>[167]</sup> Из песен ей особенно нравилась «Близость», о которой Фицджеральд с неодобрением отзывался: «Ближе некуда».

Чувство любви к Скотти и тревога за дочь, лишенную матери, побуждали его проявлять к ней чрезмерную строгость. Уезжая на несколько недель в Ашвилл в апреле, он оставил следующую записку для воспитательницы.

«Разрешать слушать радио или патефон не более получаса в школьные дни». «Никаких долгих пустых разговоров по телефону по вечерам».

«Никаких свиданий вечером с мальчиками, кроме как у нас в квартире в любые дни. Я не хочу, чтобы какой-нибудь 16-летний молодой человек разбился вместе с ней в машине, налетев на телеграфный столб. Правда, с юношами до 16 лет в Балтиморе таких случаев еще не происходило. Однако я не против вечеринок для пяти-шести молодых людей даже без сопровождения родителей, если они будут все вместе, точно укажут место встречи и вернуться домой к 10.30. Но это, конечно, только в выходные дни».

«Скотти совсем забывает французский, не занималась им почти целый год, если не считать чтения французских книг. Не могли бы вы найти для

нее настоящую француженку. Наставница должна быть обязательно уроженкой Франции и иметь хорошее образование... Я не хочу, чтобы моя дочь учила французский в школе, которая ничего не дает и лишь внушает отвращение к языку. Ведь ей придется изучать его в колледже».

«Ни в коем случае не разрешать пользоваться губной помадой и не более получаса на бигуди в школьные дни. И без того уже бытует мнение, что девушки — одногодки Скотти обогнали свой возраст».

Теперь, когда к Скотти начали приходиться в гости друзья, она частенько стала испытывать неловкость за отца. И Фицджеральд уже не притворялся перед самими собой — он понимал, что бросить пить он не может. Он перепробовал все способы: не дотрагивался до вина вообще, постепенно сокращал объем выпитого, курил или сосал конфеты. Ничего не помогало. В июле 1936 года, отправив Скотти в летний лагерь, он переехал в Ашвилл, чтобы находиться поближе к Зельде, которая незадолго до этого была переведена в санаторий «Хайленд». Он пытался стойко переносить обрушившееся на него горе, но, как он писал Оскару Кальману, забота о ней представляла собой «пожизненное посвящение, и все мои друзья не смогут разубедить меня в том, что это мой первейший долг в жизни». В болезни Зельды появился новый симптом — увлечение религией. Она часто носила с собой Библию, опускалась на колени в любом месте, не обращая внимания на присутствие людей, и шептала слова молитв. Она отпустила волосы до плеч и одевалась как девочка, в давно забытые платья 20-х годов. Когда она вместе со Скоттом появлялась в зале ресторана гостиницы «Гроув-парк», им нечего было сказать друг другу, но Скотт обнаруживал большое терпение и был очень предупредителен к ней, заказывая нравившиеся ей блюда.

Как-то они побывали в гостях у писательницы Маргарет Калкин Беннинг. Зельда вошла, словно Офелия, с букетом лилий, которые она нарвала по пути. По газону, раскинувшемуся перед домом Беннингов, Фицджеральд подвел ее к сложенной из камня ограде, за которой вдали простирались горы, и, обращаясь к ней, проговорил: «Ты моя сказочная принцесса, а я твой принц». В течение нескольких минут они трогательно и как-то неестественно повторяли эту фразу друг другу. Во время посещения Флиннов Зельда, обойдя всю комнату и потрогав все вещи, вдруг начала танцевать. Фицджеральд, подперев рукой подбородок, молча глядел на нее. На его лице застыла невыразимая грусть. Они любили друг друга, и, хотя теперь от бывшего чувства ничего не осталось, он продолжал любить ту прошлую любовь и не хотел с ней расставаться.

Из больницы Зельда присылала ему длинные теплые письма.

Несмотря на подавленное состояние, она писала их лучше, чем большинство людей, будучи в здравом уме. Они дышали чистотой и искренностью.

Одно Фицджеральд послал Гарольду Оберу, чтобы тот мог понять «весь ужас мучительной и отдающейся болью в душе трагедии, которая продолжается вот уже более шести лет, с двумя короткими перерывами, внушавшими надежду... В этой безвыходной ситуации я хватаюсь за каждую нить, связывающую меня с нашей прошлой жизнью».

«Мой любимый, ненаглядный Скотт.

Мне так грустно от того, что я превратилась в ничто, пустую скорлупку. Мысль об усилиях, которые ты прилагаешь ради меня, о пережитых тобой мучениях ради этого «ничто» была бы невыносима любому, кроме разве что бездушной машины. Испытывай я сейчас хоть какие-нибудь чувства, они все бы слились в порыве благодарности к тебе и печали оттого, что от всей моей жизни у меня не осталось для тебя к концу нашего пути ни следа той любви и красоты, которой мы жили вначале.

Твоя доброта ко мне не знает пределов. Поэтому сейчас я могу сказать лишь одно — в моем сердце, во всей моей жизни не было более дорогого для меня существа, чем ты.

Ты помнишь розы в саду у Кении? Ты был так обходителен, называл меня «любимая», и я повторяла самой себе: «Он самый милый человек на свете». Для меня ты и сейчас остаешься таким же дорогим. Стена местами отсырела и покрылась мхом. Когда мы пересекали улицу, мы говорили о любви к югу. Я думала о юге, о том, что сроднилась с ним, о счастливом прошлом, которого у меня никогда не было. Ты уверял, что и тебе нравится этот славный край. Вдоль забора тянулась зеленая глициния, тени ее навевали прохладу, и мир казался таким старым.

Я хотела бы думать о чем-нибудь другом, но все остальные мысли слились в эту одновременно романтическую и грустную думу. Когда я сняла шляпу, мои волосы оказались мокрыми. Я находилась у себя дома, в безопасности, и ты радовался за меня и был так предупредителен. Нас не покидало ощущение счастья и радости на всем пути домой.

Теперь, когда нет уже больше ни радости, ни дома, когда не осталось даже никакого прошлого и никаких чувств, кроме тех, которые испытывал ты, и в которых я могла бы найти утешение, как грустно сознавать, что, встречаясь, мы ощущаем горечь и отчуждение, которые пришли на смену глубокой нежности и радужным мечтам (ведь это твоя любимая тема).

Я бы хотела, чтобы у тебя был домик с аллеями из роз и платаном во дворе, чтобы в полдень солнце играло на серебряном чайнике на столе.

Скотти резвилась бы где-нибудь поблизости в белом платье, словно девушка, сошедшая с картин Ренуара, а ты бы писал книги, много книг. А к чаю все так же подавали бы мед. Только не надо покупать дом в Гранчестере.

Я желаю тебе счастья. Если на свете существует справедливость, ты будешь счастлив. Впрочем, может быть, ты обретишь счастье, несмотря ни на что.

О, будь, будь, будь счастлив!

Я все равно люблю тебя, даже если уже ничего не осталось ни от меня, ни от любви, ни от жизни. Я люблю тебя».

В периоды депрессии Фицджеральд обычно нанимал приходящую медицинскую сестру, чтобы иметь кого-нибудь рядом. Вскоре после приезда в Ашвилл он отправился купаться с одной из медсестер, которая к тому же оказалась молодой и привлекательной, и, желая произвести на нее впечатление прыжками с вышки, сломал ключицу. На его правую руку, поднятую вверх словно в нацистском салюте, был наложен гипс, который в жаркую погоду вызывал невыносимый зуд. Когда перелом уже почти зажил, он, поскользнувшись в ванной, упал на пол. Пролежав без помощи на кафельном полу, Фицджеральд подхватил нечто похожее на артрит, и ему пришлось пробыть в постели еще пять недель.

Все это время Скотт пытался писать или, вернее, диктовать. Отклики на «Крушение», по крайней мере, создали у него впечатление, что его снова читают. Два издателя в надежде получить от него еще более откровенную исповедь предложили ему написать книгу на эту же тему, но друзья сочли, что он и без того совершил ошибку, зайдя в своих признаниях слишком далеко. «Черт бы тебя побрал, старина, — укорял его Дос Пассос. — И откуда у тебя находится время среди этого всеобщего столпотворения писать такую сентиментальную чепуху?.. Мы переживаем дьявольски трагический период. Если ты желаешь и дальше катиться по наклонной плоскости — на то твоя воля. Но мне кажется, тебе следует написать об этом первоклассный роман (что ты, по всей вероятности, и сделаешь), а не размениваться по мелочам...»

Этот отзыв оказался еще сравнительно мягким. Больше всего Фицджеральда поразил отклик Хемингуэя.

После обмена мнениями о «Ночь нежна» их отношения продолжали оставаться натянутыми, хотя Хемингуэй и признавал, оглядываясь назад, что роман вышел лучше, чем он думал. Фицджеральд писал Перкинсу, что дружба с Хемингуэем — «одна из самых ярких страниц в моей жизни. Но я все же продолжаю считать, что таким отношениям когда-то приходит

конец, хотя бы в силу присущего им чрезмерного накала. Поэтому не думаю, что мы с ним будем часто встречаться». По мнению Фицджеральда, последняя книга Хемингуэя «Зеленые холмы Африки» оказалась самым слабым его произведением. Когда он написал об этом Эрнесту, тот ответил, что рад отметить его неумение, как и прежде, отличить хорошую книгу от плохой. Вслед за этим Хемингуэй перешел на шуточный тон. В то время он жил в Ки-Уэсте и приглашал Фицджеральда отправиться с ним на Кубу, чтобы присутствовать при очередном перевороте на острове. Он предлагал Скотту приехать в любое время. Они выйдут в море на парусной лодке Хемингуэя, и у Скотта появится тема для хорошего рассказа. «Если на тебя действительно навалилась зеленая тоска, застрахуй себя на крупную сумму, а я позабочусь о том, чтобы ты не остался в живых... Я напишу чудесный некролог, из которого Малькольм Каули<sup>[168]</sup> вырежет лучшие куски для «Нью рипаблик». Мы извлечем у тебя печенку и подарим ее Принстонскому музею, сердце передадим в отель «Плаза», одно легкое подарим Максу Перкинсу, а другое — Джорджу Хорасу Лоримеру (редактору «Пост». — Э.Т.). Маклишу мы поручим написать «Мистическую поэму» для католической школы (Ньюмена, если я не ошибаюсь?), где ты учился. Может быть, ты хочешь, чтобы «Мистическую поэму» написал я? Что ж, я подумую...»

Отношение Фицджеральда к Хемингуэю ныне — признание его превосходства, некоторая зависть. Их соперничество походило на парусную гонку, и казалось, что Хемингуэй ее выиграл. Если Фицджеральда в этой гонке можно было сравнить с парусом, то в Хемингуэе было больше от киля, от придающего устойчивость судну груза. Вспоминая первый год их знакомства, Фицджеральд отмечал скупость Эрнеста на похвалы. Впрочем, он в какой-то степени ожидал этого от такого гордого и независимого человека, каким был Хемингуэй.

Когда Лаура Гутри спросила Фицджеральда, почему он никогда не получает писем от своего друга Хемингуэя, Фицджеральд ответил: «Мы смотрим на мир разными глазами. Поэтому наши пути разошлись».

Отношение Хемингуэя к Фицджеральду — смесь снисходительности и пренебрежения. После прочтения первой части «Крушения» Хемингуэй написал Перкинсу, что омерзительно читать это выставленное напоказ слюнтяйство. Писатель может быть трусом, но, по крайней мере, он должен оставаться писателем. Фицджеральд же из молодости перепрыгнул в старость, минуя зрелость. И все же Хемингуэю было не по себе, и он хотел как-то помочь другу.

Правда, его помощь после выхода второй части «Крушения» оказалась

поистине своеобразной. В рассказе «Снега Килиманджаро», опубликованном в августе 1936 года, главный герой размышляет: «Богатые нагоняют тоску, они походят один на другого. К тому же они слишком много играют в бакгаммон и чрезмерно пьют. Он вспомнил беднягу Фицджеральда, его сентиментальное благоговение перед богачами и как тот однажды начал рассказ словами: «Очень богатые отличаются от нас с вами», и кто-то съязвил: «Конечно, у них больше денег». Но Скотт не понял шутки. В его представлении они были особой, окутанной ореолом романтики расой, и, когда он обнаружил, что заблуждался, это открытие подкосило его точно так же, как и все остальное».

Фицджеральда потрясла эта попытка, к тому же ненужная, публично поставить крест на его карьере — упоминать подлинное имя в художественном произведении не было никакой необходимости. По словам Джеймса Фаина, молодого журналиста, встречавшегося со Скоттом в тот период, «Хемингуэю было бы лучше ударить Фицджеральда по голове бейсбольной битой».

Фицджеральд делился пережитым с Перкинсом: «В письме к Эрнесту о рассказе я просил его в самых выдержанных выражениях не упоминать более моего имени в художественных произведениях... Я люблю Эрнеста, несмотря на все, что он говорит и делает. Но еще одна подобная выходка, и я присоединюсь к толпе его недоброжелателей...»

В последующих изданиях «Снегов Килиманджаро» «Скотт Фицджеральд» превратился в «Джулиана». Перкинс стал на сторону Фицджеральда. Его тоже возмутил поступок Хемингуэя. Правда, спустя несколько месяцев он писал Фицджеральду, что у Хемингуэя были благие намерения: Эрнест хотел лишь устроить «встряску» Скотту ради его же пользы. «Спасибо за добрые слова об Эрнесте, — благодарил Фицджеральд Перкинса. — И все же мне кажется, что его раскаяние неискренне».

К этому времени Фицджеральд пережил еще худшее унижение. Измена всегда следует по пятам за слабостью. Прочитав «Крушение», редактор «НьюЙорк пост» задумал подготовить сенсационную статью к сорокалетию Фицджеральда. Не «разбитый ли он сосуд», который уже нельзя склеить? Не собирается ли выброситься из окна? За ответами на эти вопросы к Фицджеральду направился журналист Майкл Мок.

После предварительной разведки в окрестностях Балтимора Мок установил, что Фицджеральд находится в Ашвилле. С закованной в гипс рукой, одинокий, Фицджеральд пил еще больше и был абсолютно не в состоянии давать интервью. Но Мок стал убеждать его, говорил, что ради него проделал путь от самого Нью-Йорка, и рассыпался в комплиментах.

Скотт принял его у себя в комнате. Одетый в светло-коричневый костюм с зеленоватым галстуком, он выглядел похudevшим, был бледен. Тем не менее вел он себя с Маком вежливо и много шутил. Во время интервью в комнату иногда заходила сестра, чтобы сделать ему укол. Мок пробыл в гостях у Фицджеральда несколько часов, и Скотт подумал, что интервью прошло удачно, пока не прочитал отчет о нем в «НьюЙорк пост».

«Писатель-пророк послевоенных неврастеников, — говорилось в опубликованной на первой странице статье, — отметил вчера сорокалетие у себя в спальне в «Гроув-парк». Он провел этот день, как и все остальные, пытаясь вернуться с той стороны рая, из ада удрученности, где он корчится последние два года...

Его мучают боли после несчастного случая, который произошел с ним два месяца назад, когда он сломал себе ключицу, прыгая с пятиметровой вышки в воду. Но какую бы боль ни причинял ему этот перелом, не из-за нее он постоянно вскакивал с постели, нервно вышагивал по комнате, не она причина его трясущихся рук, подергиваний лица, на котором застыло жалкое выражение жестоко побитого ребенка. Не ею объяснялись также его частые визиты к комоду, в выдвижном ящике которого хранилась бутылка. Всякий раз, когда он наливал себе в мензурку, он бросал вопрошающий взгляд на медсестру: «Всего лишь один глоток?».

Пространная статья заканчивалась краткой характеристикой, которую Фицджеральд давал своему поколению:

«Некоторые стали маклерами и выбросились в окно. Другие выросли до банкиров и пустили себе пулю в лоб. Третьи устроились газетными репортерами, и лишь немногие превратились в преуспевающих писателей». Его лицо передернулось: «Преуспевающих писателей! — воскликнул он. — О боже! Преуспевающих писателей!»

Фицджеральд пытался покончить с собой. Он проглотил все содержимое флакона с морфием, но от этой сверхдозы его лишь вырвало. Постепенно гнев и отчаяние уступили место стыду: он скатился ниже некуда. Статья Мока побудила его взять себя в руки и в какой-то степени положила начало его новому творческому подъему.

Между тем денежные дела Фицджеральда находились в плачевном состоянии. Больной и подавленный, он мог создавать лишь небольшие зарисовки и не отличавшиеся глубиной мелкие рассказы, которые «Эсквайр», стремящийся утвердиться журнал, приобретал у него за 250–350 долларов. Скотт задолжал тысячи Оберу и «Скрибнерс» и исчерпал максимальную сумму, причитающуюся ему по страховке. В первых числах сентября скончалась его мать, оставив состояние в 42 тысячи долларов,



поделив между ним и его сестрой. После вычета всех долгов его доля составила 17 тысяч. В течение шести месяцев, пока еще решались наследственные дела, Оскар Кальман пришел Фицджеральду на помощь, ссудив крупную сумму.

В последние годы его юношеский бунт против матери несколько смягчился. Он все еще отзывался о ней, как о «старой крестьянке», и иронизировал по поводу ее «величественного макания концов рукавов в кофе». И все же, несмотря ни на что, она обладала достоинством, «потрепанным великолепием», как выражался один из родственников ее мужа. Кроме того, Фицджеральд, по-видимому, понял, что в какой-то степени часть жизненной силы перешла к нему от нее. В ней было что-то от земли, что-то подсознательное, имевшее гораздо больше отношения к его творческой натуре, нежели пресыщенная утонченность отца. Последнее время Фицджеральд безвыездно жил в Балтиморе, а мать в Вашингтоне. В июне, когда с ней случился удар, и он поместил ее в больницу, трагедия ее жизни неожиданно предстала перед ним во всей полноте.

«Было так грустно, — описывал он предшествовавшие ее кончине дни сестре, — забирать маму из отеля, ее единственного дома за последние пятнадцать лет, в больницу, где она умерла; перебирать все ее вещи — шлепанцы, корсет, в котором она выходила замуж, куклы Луизы, завернутые в мягкую бумагу (Луиза была одной из двух ее дочерей, умерших еще до рождения Фицджеральда. — Э.Т.), старые письма и сувениры, никому уже не нужные бумаги и незавершенные дневники. Все ее надежды, горести и разочарования так ни во что и не вылились, и она сама превратилась в брэнное тело, от которого миру уже ничего не стало нужно.

У нас с мамой никогда не было ничего общего, кроме неукротимого упорства, но, когда я увидел эти мелочи, у меня все перевернулось внутри от сознания, какой несчастной она была из-за своего характера и как она до конца жизни цеплялась за безделушки, напоминавшие ей о минутах вырванного у жизни счастья. Я просто не мог выбросить ни одной вещи, даже ее коврик, и продолжаю хранить их».

Секретарша Фицджеральда вспоминала, что в ту осеннюю пору 1936 года он прилагал лихорадочные усилия, чтобы писать, испытывая страх перед мыслью об утрате им таланта. Медсестре, по ее словам, стоило немалых трудов уговорить его поехать. Войдя как-то в его слабо освещенную комнату, она застала его лежащим на кровати и разговаривающим с самим собой: «Скотт, что с тобой станет?» Уставясь в потолок, он отвечал: «Одному богу ведомо». Он был склонен иногда

сетовать на судьбу, но все же оценивал свою жизнь беспристрастно и возлагал всю вину за свое теперешнее состояние единственно на себя.

Полагая, что встреча с одной из его почитательниц приободрит его, Перкинс попросил Марджери Киннан Роллингс,<sup>[169]</sup> работавшую в то время над «Сверстниками» недалеко от Ашвилла, повидаться с ним. Когда в октябре они встретились и пообедали в его спальне — он все еще находился в кровати, страдая от артрита, — она написала Перкинсу полную надежды записку.

«Макс, мы чудесно провели время. Я не только не была подавлена, но и получила истинное наслаждение от общения с ним, впрочем, как, думаю, и он. Он нервничает ужасно, но даже попросил медсестру убрать виски из комнаты и теперь употребляет лишь иногда шерри и столовое вино. Мы наговорились вдоволь. Прочитав статью в «НьюЙорк пост», он хотел отправиться в НьюЙорк и избить... Мока, но затем понял неразумность затеи особенно сейчас, когда у него рука в гипсе. Статья, конечно, причинила ему ужасную боль. Он выслушал жалостливую болтовню Мока, проникся к нему полным доверием, глубоко откликнулся на многое из того, что тот наговорил ему, возможно придумав о своих неладах с женой; и вообще Скотт разоткровенничался больше, чем следовало бы. Но он стойко пережил эту историю, без излишней обиды и горечи. Он отнесся также с большой терпимостью и великодушием, чем это, думаю, сделала бы на его месте я, к неуместному выпадку Хемингуэя в «Снегах Килиманджаро»...

Он особенно обижается на Хемингуэя за то, что тот назвал его «исписавшимся». Из всего сказанного мне совершенно ясно, что сам он отнюдь не считает себя таковым...

Его глубокая неудовлетворенность и разочарование — во многом результат его взглядов: от жизни нельзя требовать вечного совершенства и великолепия, к чему, честно говоря, он стремится... Мне кажется, Вам не следует беспокоиться о его состоянии. Споткнувшись, он набил себе шишку, выругался и даже в горячах сплюнул (с кем из нас этого не бывает в той или иной форме). Но стоит ему успокоиться, и он снова вернется к перу и бумаге».

В этот тягостный период Скотти была единственным существом, ради которого, по его мнению, стояло жить и бороться. «Достаточно одного взгляда на нее, — с отеческой гордостью писал Фицджеральд Оскару Кальману, — чтобы понять, как много еще у меня осталось в жизни». В это время она училась в школе Этель Уолкер и обнаруживала литературные наклонности. Фицджеральд пытался отговорить ее от занятий литературой, побуждая обратить больше внимания на технические предметы, которые ей

плохо давались. Если она станет писательницей — чего, как он надеялся, не случится, — он хотел, чтобы это произошло помимо ее воли, а не в результате занятий исключительно литературой.

На рождественские каникулы он устроил в ее честь пышный бал в Балтиморе. Празднество должно было состояться в отеле «Бельведер», и Фицджеральд невероятно серьезно готовил программу вечера вместе с моей матерью и еще двумя помощниками. Правда, в письме Скотти он разыгрывал ее: «Я решил пригласить шарманщика, какого-нибудь итальянца с обезьянкой. Думаю, дети останутся страшно довольны. Разве в 16–17 лет им много надо? Прodelки мартышки, полагаю, их премило позабавят. Твоя идея пригласить на бал джаз совсем меня не привлекает. Вместо этого в соседнем зале я посажу оркестр из старичков, и время от времени ты сможешь приглашать потанцевать туда избранных друзей». Когда начался бал, Фицджеральд был трезв, но вскоре зачастил в бар, и те, кто понял причину его отлучек, притворялись, будто ничего не замечают. Он не шумел и не задибался, но глаза его потускнели, походка стала нетвердой... Что еще хуже — он стал настойчиво приглашать на танцы девушек, а они или смущались, или испуганно смотрели на него, в то время как другие хихикали за его спиной.

Еще до окончания ее каникул он оказался в больнице, где, наконец, осознал весь ужас своего положения. Он ненавидел себя за то, что унизил Скотти перед ее друзьями, за то, что прошедший год был самым непродуктивным после 1926 года, когда он растратил весь гонорар за право постановки фильма по «Гэтсби» на поездку на Ривьеру. Он устал от бесцельного блуждания по жизни и хотел снова окунуться в ее гуцу. Но чтобы получить работу в Голливуде, что, как ему казалось, было бы единственным средством выплатить постоянно накапливающиеся долги, он должен был совсем отказаться от спиртного. И он приложил к этому максимум усилий. С помощью врача в Трионе, где он провел зиму и весну 1937 года, он вообще перестал прикасаться к вину.

В то время как Обер вел переговоры о контракте для него в Голливуде, он жил незаметной жизнью в номере на верхнем этаже отеля «Оук холл», стремясь ничем не скомпрометировать себя. Он вновь часто встречался с Флиннами, которые незадолго до этого построили себе дом в охотничьем заповеднике к северу от Триона. После обеда они совершали прогулку по аллее, засаженной кустами жасмина, кизила, сирени и глициний. Из окна дома Флиннов открывался величественный вид на горы. На вечерах, устраиваемых Флиннами, Фицджеральд был вежлив, но замкнут. Он становился самим собой, как в старые добрые времена, лишь в кафе

«Мисселдайн», расположенном на склоне холма недалеко от отеля, где вместе с Флиннами и еще несколькими знакомыми часто сиживал за молочным коктейлем или чашкой кофе. Однажды Фицджеральд быстро набросал на бумажной салфетке несколько строк, ставших вскоре их застольной песней, которую они напевали на мелодию «Танненбаума».

О «Мисселдайн», о «Мисселдайн»,  
Тебя мы не забудем,  
Банана вкус с жующих уст  
Не удалим покуда.  
Помадок вид хандрю сразит —  
Ведь в них блаженство рая;  
И, в пляс пустясь, споем хоть раз  
Мы славу «Мисселдаину». [\[170\]](#)

Струзерс Берт, которого Фицджеральд описал в первом варианте «По эту сторону рая», вспоминал о Фицджеральде, которого он встретил той весной. «Вместе с женой мы обедали на террасе... совершенно неожиданно из сумерек, словно мотылек на свет, появился Скотт. В разговорах о том, о сем мы не заметили времени и засиделись допоздна. Возшла луна, листья кизила напоминали ниспадающий каскадами водопад, то здесь, то там вспыхивали светлячки... Мы с женой были поражены. Скотт не притрагивался к вину, был очень любезен, скромн, серьезен и все так же остроумен».

Фицджеральд начал смотреть на свое крушение со стороны. Сперва, он с такой тщательностью описал выдуманную им болезнь в романе «Ночь нежна», а затем сам превратился в настоящего калеку. «В последнее время в моей жизни все безнадежно перепуталось, — объяснял он свое состояние Оскару Кальману, — и самое главное, я не стремился исправить положение. Мне было на все совершенно наплевать». Он прибавил восемь килограммов и чувствовал, что силы возвращаются к нему. И все же он не мог создать рассказ, который нашел бы издателя. Он начал было уже с опаской подумывать о том, что дорога в Голливуд ему закрыта, но как раз в этот момент Оберу удалось подписать для него контракт на шесть месяцев с МГМ на тысячу долларов в неделю. Будущее вновь распахивало перед ним двери.

## ГЛАВА XVI

Постановщик из МГМ, нанявший Фицджеральда в Нью-Йорке, был поражен происшедшей в нем переменой. Вместо пылкого юноши, каким Скотт запомнился ему с 20-х годов, перед ним предстал застенчивый, нерешительный человек со слабым рукопожатием. Горевший в нем когда-то огонь погас, казалось, в Скотте что-то надломилось. Но постановщик считал, что писатель, хоть раз создавший талантливое произведение, при определенных обстоятельствах может повторить свой успех. Если Фицджеральду будет сопутствовать удача, то результаты вполне оправдают риск. Для Фицджеральда контракт давал реальную возможность расквитаться с кредиторами. Его долги к этому времени составили в общей сложности 40 тысяч долларов. Правда, некоторые из них удалось покрыть за счет наследства, оставленного ему матерью.

Но все же он задолжал 12 500 долларов Оберу и почти столько же «Скрибнерс», включая личный долг Перкинсу. Отложив 400 долларов в неделю для себя, Скотти и на расходы, связанные с Зельдой, он направлял остальные 600 Оберу для покрытия различных финансовых обязательств.

Фицджеральд как никто обожал строить планы и обдумывать открывающиеся перед ним перспективы. И хотя он невзлюбил Голливуд во время двух предыдущих приездов и поклялся, что его ноги там больше не будет, он относился к своей новой работе с определенным *elan*.<sup>[171]</sup> Позднее в «Крушении» он жаловался на то, что «роман, еще недавно служивший самым действенным, самым емким средством для передачи мыслей и чувств», становился теперь подчиненным механическому, рассчитанному на большую аудиторию жанру кино. Но, в начале июля, когда поезд уносил его на Запад, он размышлял о том, как совладеет приемами этого утверждавшего себя вида искусства, как он тактично, но решительно завоеует доверие хозяев киностудии и попросит в соавторы наиболее уступчивого помощника, чтобы фактически картина целиком принадлежала ему. Только при этом условии он сможет создать шедевр. Он планировал также вставать рано и посвящать эти самые плодотворные свои часы работе над собственными произведениями, но это оказалось лишь благим намерением. Несмотря на полное воздержание в течение шести месяцев, его здоровье и силы не были восстановлены, и, чтобы вынести напряженный день в студии, ему приходилось взбадривать себя изрядным количеством кока-колы.

Он поселился в отеле «Сад аллаха» на бульваре Сансет, любимом пристанище сценаристов. При отеле, бывшем когда-то домом актрисы Аллы Назымовой,<sup>[172]</sup> имелся плавательный бассейн, повторяющий очертания Черного моря, — он напоминал ей о родной Ялте. Сняв квартиру в одном из двухэтажных бунгало, расположенном позади отеля, Фицджеральд приступил к работе с такой неистовостью, какой не проявлял давно. Он вел картотеку сюжетов кинофильмов точно так же, как в свое время, когда он только начинал сотрудничать в журнале «Пост», досконально регистрировал темы публикуемых в нем рассказов. Он штудировал всяческие пособия о том, как писать сценарии, и замучил вопросами коллег по студии. «Позабудь о светотенях, «наплывах», стираниях кадра, — советовали они ему. — Этим займутся постановщики и монтажеры. Твое дело — написать свою часть. Поэтому пиши, как бог на душу положит».

Но Фицджеральд хотел знать все. Он подходил к этому жанру с необычайным для него смирением. Он был трезв, надежен и наконец-то остепенился, хотя и нельзя было не сожалеть о некоторых появившихся у него чертах характера. Заглянув в кабинет к своему коллеге-сценаристу, он мог через несколько минут начать допытывать его вопросами: «Ведь вы не хотите со мной разговаривать, правда? Я нагоняю на вас скуку? Может быть, мне лучше удалиться?». Свойственные ему ранее живость и уверенность в себе покинули его. Он походил на скромного клерка с мягкими манерами, доброго, дружелюбного, но лишённого страсти и пыла, словно из него вынули какую-то пружину.

Драматург Эдвин Джастас Мейер, живший с ним в одном бунгало в «Саду аллаха», невольно сопоставлял нынешнего Фицджеральда с тем, кого он встретил в 1923 году. Мейер, потерпевший полный провал с первой книгой, сидел в приемной своего издателя Хораса Лайврайта, как вдруг элегантный молодой блондин стремительно пронесся мимо секретарши и влетел в кабинет, не дав никому из присутствующих вымолвить ни слова.

В сдвинутой на затылок соломенной шляпе он имел вид человека, приходу которого везде рады. Он беспрестанно болтал, был весел, беззаботен, излучал талант и, как отмечал Мейер позднее, «пользовался таким успехом, что в его присутствии я чувствовал себя жалким».

Фицджеральд не пробыл в Голливуде и недели, как встретил женщину, которая стала ему неразлучной спутницей до конца его дней. Привлекательная блондинка Шийла Грэхем провела большую часть из своих двадцати восьми лет в борьбе, стремясь вырваться из тисков обрушившихся на нее в детстве бедности и лишений. Она родилась в

Лондоне и до замужества носила имя Лили Шийл. Ее отец умер, когда она была еще ребенком, и она и мать делили с прачкой подвальное помещение. Самые ранние воспоминания о детстве были связаны у нее с едким запахом хозяйственного мыла, смешанного с парами вареной картошки, которой они в основном питались. В шесть лет Шийла оказалась в сиротском приюте, в четырнадцать вернулась домой ухаживать за матерью — она только что перенесла операцию (а спустя несколько лет скончалась от рака). Шийла работала горничной, продавщицей, когда же ей исполнилось семнадцать, вышла замуж за потерпевшего крах бизнесмена сорока двух лет, который предоставил ей полную свободу действий. Она устроилась в труппу «Юные леди» Чарлза Кокрана.

Неугомонная и вечно стремящаяся к перемене мест, она неведомым путем попала в журналистские круги и отправилась в Америку, где получила место обозревателя Северо-Американской газетной ассоциации в Голливуде. Разведенная к этому времени Шийла Грэхем оказалась помолвленной с хроникером одной из лондонских газет.

Вскоре после встречи с Фицджеральдом эта помолвка расстроилась.

Оба они, и Шийла Грэхем и Фицджеральд, представляли собой любопытную пару — писатель-банкрот и честолюбивая женщина, выросшая в нищете. Шийла обладала покладистым характером, и, в некотором роде, Фицджеральду повезло, что его полюбила такая энергичная и привлекательная женщина. При нынешнем шатком положении Скотта, когда слава его померкла, он не располагал безграничным выбором. Ему удавалось удерживать ее исключительно обаянием, нежностью и пониманием — о существовании такого отношения она ранее и не подозревала. Она придумала версию своей собственной жизни, что ее семья из Челси, уважаемого квартала Лондона, что она кончила школу в Париже и была приближена ко двору через богатого дядюшку. Когда все это притворство рухнуло после неумолимых расспросов Фицджеральда, она опасалась, что потеряет Скотта. Его же, наоборот, растрогал рассказ о ее прошлом. Он сказал, что сожалеет, что не знал ее раньше, когда мог бы позаботиться о ней.

Вскоре в их отношениях возникла привязанность и нежность. Они жили обособленно, а когда все-таки выбирались в гости, Фицджеральд старался держаться в тени, предпочитая роль наблюдателя. Шийла не была интеллектуалкой, ее ритм жизни был иным, чем у того круга, к которому привык Скотт. Но теперь он чувствовал себя опустошенным и был рад, что от него не требуется больших умственных усилий. Он блеснул лишь однажды, когда оказался в компании с Томасом Манном. Фицджеральд

говорил завораживающе, заражая своими мыслями всех присутствующих. Создавалось впечатление, что он знает о произведениях Томаса Манна больше, чем сам автор. Но почти все остальное время он держался в стороне. Частично это объяснялось тем, что он абсолютно не притрагивался к вину. Шийла не брала в рот спиртного, и поэтому, когда через несколько месяцев после их совместной жизни у Фицджеральда начался запой, она пришла в ужас. Она дала себе слово сделать все, чтобы отвлечь его от вина. Вполне возможно, что ее влияние на Фицджеральда в этом отношении продлило его жизнь.

К октябрю первое возбуждение от работы в студии прошло, и Фицджеральд сообщил Оберу, что ему хотелось бы попробовать написать собственный сценарий, чтобы «дать шире развернуться своему интеллекту». После нескольких недель труда над «Американцем в Оксфорде» его переключили на работу над «Тремя товарищами» Ремарка. Материал ему понравился, но он не мог выносить бесконечных совещаний сценаристов, на которых, как он однажды заметил, «индивидуальность стиралась во имя обеспечения неизбежно равнодушного сотрудничества». Он был расстроен также тем, что в соавторы ему достался Тэд Парамор. По словам Фицджеральда, Парамор все еще строил диалог, подражая Оуэну Уистеру,<sup>[173]</sup> — в уста немецкого сержанта он мог вложить такое восклицание, как «Разрази меня гром!».

Но когда Фицджеральд услышал, что основным автором сценария будет все же он, его настроение поднялось. Перед Рождеством он делился своей радостью с женой Обера: «Мне здесь нравится. Работа доставляет удовольствие, если ее освоить, а это можно сделать, лишь прокорпеев здесь года три. Но стоит тебе утвердиться — сперва, написать сценарий, затем стать автором нашумевшего фильма и, наконец, получить «Оскара», — и ты можешь рассчитывать на нее до конца жизни... и знать, что на свете есть уголок, где тебя накормят, не попросив даже помыть после себя посуду. Однако до тех пор, пока мы не переступим через эти три ступени, нам, голливудским писакам, приходится здорово попотеть. Может быть, это звучит цинично, хотя я отнюдь не настроен на циничный лад. Мне приятно, что сценарий выйдет под моим именем, и я искренне надеюсь, что фильм окажется удачным».

Его будущее выглядело совсем заманчиво, когда МГМ возобновила с ним контракт еще на год с окладом 1250 долларов в неделю. Но в январе продюсер Джо Манкевиц так переключил сценарий «Трех товарищей», что в нем почти ничего не осталось от написанного Фицджеральдом. Манкевицу понравилась обрисовка Скоттом героев и обстановки, а вот диалог он считал



слишком витиеватым и многословным. По его мнению, это был продукт романиста, отнюдь не сценариста. Предложенные Фицджеральдом сцены нереального также показались ему излишними. Например, когда один из трех друзей звонил по телефону любимой, по сценарию телефонную линию на коммутаторе отеля должен был включить амур. «И как же вы собираетесь снимать эту сцену! — съязвил кто-то по этому поводу.

Фицджеральд пришел в отчаяние от того, что этот кровью сердца написанный — иначе он писать не мог — сценарий на такую требующую деликатного обращения тему оказался изуродованным. «Тридцать семь страниц, или одна треть, — мои, — писал он на полях исправленной Манкевицем рукописи, — но из сценария убраны все нюансы, вся музыка». «Сказать, что я разочарован, — жаловался он в письме своему обидчику, — значило бы выразиться слишком мягко. В течение девятнадцати лет я писал книги, которыми зачитывалась публика, и считался одним из лучших создателей диалога... У вас за плечами большой опыт, но вы произвольно и бездушно искромсали сценарий... Мне больно видеть, как плод многомесячных трудов ума и сердца оказался перечеркнут наспех проделанной в течение недели работой. Я полагаю, вы достаточно великодушны, чтобы попятить смысл этого письма; это отчаянный призыв к тому, чтобы сохранить в сценарии тележку цветочницы, доставку пианино, эпизод на балконе, маникюршу — все, что так естественно и дышит новизной. Признайтесь, Джо, разве продюсеры не могут ошибаться? Я хороший писатель, и к тому же искренний. Я полагал, что вы отнесетесь к моей работе с пониманием».

Отдаленный от Зельды целым континентом и жизнью, которую он не мог с ней разделить, Фицджеральд регулярно забирал ее из клиники, чтобы где-нибудь вместе отдохнуть — в Чарлстоне в сентябре, в Майами на Рождество. Ее состояние улучшилось настолько, что, как полагали врачи, она могла время от времени навещать свою мать в Монтгомери. В Фицджеральде теплилась надежда на чудо, которое позволит ей обойтись без его помощи «Безусловно, — отчаявшись, писал он ее лечащему врачу, — иллюзии о том, что мы когда-нибудь снова сможем быть вместе, лучше оставить в стороне. Нас разделяет слишком глубокая бездна потерянного безвозвратно, и, когда вуаль, скрывающая это угасшее прошлое, упадет — за столом ли, или в постели, — никто не сможет перебросить мост через эту бездну. Поддерживающие это ушедшее чувство опоры рухнули навсегда.

И если произойдет чудо, я снова попытаюсь найти в этой жизни свой путь, и он будет отличаться от бесцельного блуждания по не

принадлежащим мне квартирам со множеством закоулков. Но до тех пор, пока она беспомощна, я никогда не оставлю ее и даже не дам ей почувствовать себя покинутой».

Конец марта Фицджеральд провел с Зельдой и Скотти в Виргиния-Бич. Чтобы сбросить нервное напряжение, он напился, и Зельда, бродя по отелю, уверяла всех, что он опасный маньяк. После этого фиаско Скотт решил, что он уже ничем не может ей помочь. Он написал врачу Зельды, что снимает с себя «обязанности по присмотру за ней. Время, когда я мог это делать, прошло. Всякий раз, когда я вижу ее, со мной происходит что-то, что выставляет меня перед ней в худшем, а не в лучшем свете. Я всегда буду питать к ней жалость, смешанную с болью, неотступно преследующей меня, — болью за прекрасного ребенка, которого я когда-то любил и с которым был счастлив, как уже никогда не буду счастлив вновь».

После возвращения Фицджеральда в Голливуд Шийла убедила его поселиться в Малибу-Бич. За 200 долларов в месяц — вдвое меньше, чем он платил в «Саду аллаха», — он снял коттедж с четырьмя спальнями, солярием, столовой, верандой и небольшим садом. За домом присматривала цветная служанка, и Шийла проводила с ним все свободное от работы время. К своему большому удивлению, она обнаружила, что из принципа он никогда не купался и не загорал, хотя по вечерам иногда прогуливался по берегу и немного играл в пинг-понг. В любом случае, семейная жизнь пошла ему на пользу. Им обоим доставляло удовольствие готовить редкие блюда — суп из крабов или шоколадное суфле, — Фицджеральд, обладавший прихотливым и странным вкусом, ел их в обратном порядке.

Летом со Скотти произошла неприятность в школе Этель Уолкер. Фицджеральд ни на минуту не переставал думать о ней, и по мере того, как она становилась взрослой, его наставления становились все более предостерегающими. «Преждевременные необдуманые шаги, — предупреждал он ее, — обходятся ужасно дорого... Девушки, которых в наш каменный век называли «акселератками», в 16 лет испытывали то, что им полагалось узнать после брака. Попытка испытать все никогда легко не сходила с рук ни одному молодому человеку — такова уж логика жизни. Джиневре Кинг судьбой было предначертано оказаться исключенной из Вестовера, а твоей матери угаснуть в молодости».

Скотти окончила последний класс и продолжала оставаться в школе Уолкер, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в колледж. Однажды, вместе с подружкой она на попутных машинах отправилась в Нью-Хейвен пообедать вместе с двумя студентами из Йеля. Когда их

уличили в нарушении правил, им предложили покинуть школу. Это ставило под угрозу поступление Скотти в Вассар.<sup>[174]</sup> Фицджеральд был вне себя от гнева. Он написал ей резкое письмо, приводя в пример ее мать, которая попусту тратила свою жизнь, пока не поняла, что «труд — единственная добродетель, и, попытавшись наверстать упущенное, измотала себя работой, но было уже поздно: она надломилась и оказалась калеккой навсегда». Он писал ей, что его усилия в Голливуде — последняя попытка уставшего человека; когда-то он создавал произведения, более прекрасные и тонкие, чем сценарий; у него не осталось средств, а точнее — энергии, чтобы нести на себе мертвый груз. В наказание он хотел лишить Скотти поездки за границу, но, в конце концов, позволил ей совершить ее.

Когда в июле она была принята в Вассар, он отнесся к ее поступлению со сдержанной радостью. Он убеждал ее приложить усилия, чтобы продержаться, по крайней мере, до Рождества, и посмотреть, действительно ли она желает получить высшее образование. Он мечтал видеть ее ученым. Он уговаривал ее не красить волосы: «Они превратятся у тебя в сухую солому, и ты будешь выглядеть совсем пожилой дамой до того, как тебе исполнится девятнадцать». Если он когда-нибудь услышит, что она прикоснулась к спиртному, он сочтет себя вправе начать свой самый бурный и последний запой. «Слава Богу, — радовался в письме к ней Скотт, — что в Вассаре нет этих клубов для снобов, в которых только зря теряешь время. Тебе удастся сохранить твое естество». При этом он даже не учитывал, что Скотти не исполнилось еще и шестнадцати. Но он считал ее раннее развитие фактом само собой разумеющимся.

Наступил второй год пребывания Фицджеральда в Голливуде, и на смену радужным надеждам пришла неудовлетворенность. У человека, который, подобно ему, из-за нужды согласился на работу в этом центре кинобизнеса, распластавшийся на многие десятки километров Лос-Анджелес с его неестественно ослепительным солнцем вызывал гнетущее настроение. В студии писатели старого поколения относились к Фицджеральду с уважением. В отношении же некоторых самонадеянных молодых литераторов-выскочек, освоивших специфическую технику написания сценариев, сквозило высокомерие. Голливуд представлял собой деловой мир, где ты — человек лишь тогда, когда имеешь влияние.

Случайно встретив школьного товарища Гордона Маккормика, Фицджеральд признался ему: «Я пытаюсь осуществить великий эксперимент — пробиться в Голливуде».

Маккормик стал уверять Скотта, что все созданное им автоматически откроет ему дверь в мир киноискусства.

«Ну нет, — вздохнул Фицджеральд, — все это не так, как тебе кажется. Порой написанное мною приходится моим боссам по вкусу, а иногда я не могу им угодить. При царящей здесь неразберихе я даже не знаю, к кому попадает в руки мой сценарий. Временами я чувствую, что у меня ничего не клеится. Я полагал, что все будет просто, но пребывание в Голливуде — сплошное разочарование. Здесь не осталось ничего живого, я не ощущаю жизни».

В письме Перкинсу он жаловался на поразительный ритм в студии, который способен увлечь тебя с головокружительной быстротой и затем, вдруг остановившись, заставить ожидать в неопределенном, подавленном состоянии, и тогда тебе не хочется приниматься ни за что другое, пока эта неопределенность не прояснится. Работающая здесь братия — это объединение нескольких поистине талантливых, измочаливающих себя трудом людей, создающих картины, и массы жалких пройдох и поденщиков, каких ты не можешь себе представить». После «Трех товарищей» Фицджеральд приступил к работе над сценарием «Неверность», в котором главную роль, как предполагалось, должна была играть Джоан Кроуфорд (позднее название пришлось изменить на «Верность», чтобы обойти цензурные препоны). Услышав, что Фицджеральд пишет сценарий для ее будущего фильма, Кроуфорд, пробуравив его своими пронзительными глазами, изрекла: «Пишите безжалостно». Но именно это было не так-то легко осуществить. В разговоре с Мэрфи Скотт сетовал: «Кроуфорд не может пластично передавать в одной и той же сцене быструю смену настроений, иначе, как не изобразив на своем искаженном лице два совершенно противоположных чувства. Поэтому, чтобы показать ее переход от радости к грусти, надо вырезать часть пленки, а затем вставлять ее в другом месте. Кроме того, ей вообще нельзя давать указаний типа: «Фальши, побольше фальши!» — поскольку только после этого в ее игре появляется искренность». В конце третьего месяца от картины по цензурным соображениям пришлось отказаться.

Фицджеральда поставили на сценарий кинофильма «Женщины», а затем «Мадам Кюри», но сняли и с последней картины из-за несогласия с кем-то в отношении ее постановки. Его последней работой на МГМ стала редакция сценария «Унесенные ветром».<sup>[175]</sup> После знакомства с романом он отозвался о нем как о «хорошем», но «не очень оригинальном и во многом повторяющем «Повесть о старых женщинах», «Ярмарку тщеславия» и все, что было написано о Гражданской войне. В нем нет ни новых персонажей, ни форм, ни оригинальных выводов, словом, ни одного

из элементов, из которых складывается настоящая литература, и в особенности никакого свежего подхода к анализу человеческих чувств. Вместе с тем, это интересное произведение, удивительно искреннее, честное и в целом талантливо написанное. Я не смотрю на него с пренебрежением, мне лишь жаль тех, кто рассматривает его как высшее достижение человеческой мысли». Фицджеральду предписали в диалогах сценария полностью использовать текст автора Маргарет Митчелл. Он был возмущен тем, что ему приходилось перелистывать роман, словно Библию, в поисках фраз, которые бы соответствовали поставленной перед ним задаче.

Он трудился целый год, не разгибая спины, и ему было больно, когда руководство студии не возобновило с ним контракт. Правда, в письме Оберу он с облегчением вздыхал, словно у него упала гора с плеч: «Старина, как я рад уехать отсюда! Мне ненавистно это место с тех пор, как Манкевиц переписал «Трех товарищей». Перкинсу он признавался, что ощущает моральную деградацию от работы в условиях, напоминающих потогонную систему. При этом он не мог избавиться от парадокса, с которым столкнулся в Голливуде. Создавалось впечатление, будто ему говорили: «Мы пригласили вас сюда из-за вашей индивидуальности, но пока вы здесь, мы требуем, чтобы вы приложили все усилия и не проявляли ее». Хотя в нем родился замысел нового романа, «прежде чем приступить к его осуществлению», придется подработать сценариями на стороне. И все же он стремился создать себе имя, став автором еще одного сценария, чего ему не удавалось сделать после переработки «Трех товарищей».

Он нашел работу почти сразу же. В начале февраля 1939 года Уолтер Вагнер подрядил его и Бадда Шульберга совместно написать сценарий фильма, действие которого происходило бы на зимнем карнавале в Дартмуте. Шульберг, проживший несколько лет в Дартмуте, должен был, как предполагалось, создать местный колорит, а Фицджеральд написать серьезную историю любви, предложенную Вагнером. После предварительных обсуждений, в ходе которых напарники-сценаристы познакомились друг с другом, Вагнер предложил им, хотя и в ущерб работе над сценарием, съездить на зимний карнавал, где кинооператоры уже снимали сцены будущей картины.

В последние несколько недель Фицджеральда часто бросало в жар и у него поднималась температура. Он опасался рецидива туберкулеза и попытался отказаться от поездки, но Вагнер настоял на своем. Шийла Грэхем испытывала тревогу за Фицджеральда и отправилась в НьюЙорк, чтобы подождать его приезда из Дартмута. В самолете Фицджеральд сидел

рядом с Шульбергом, которому перед вылетом в аэропорту отец вручил две бутылки шампанского. Шульберг уговорил Фицджеральда присоединиться к нему, и это окончилось запоем, после которого Фицджеральд через неделю угодил в больницу.

У коллег Фицджеральда, бывших с ним в Дартмуте, в памяти остались не столько его чудачества, сколько вымотавшая его болезнь. Они сочувствовали ему и заботились о нем, как только могли. На приеме в университете он был не в состоянии связать двух слов. И все же он обладал достоинством, никому не позволявшим его оскорблять. Один из членов съемочной группы устроил вечеринку, на которой кое-кто из профессоров стал нападать на сценарий. Зная, что сценарий слаб, члены киногруппы предложили критикам внести в него изменения, но те продолжали разбирать его по косточкам с мелочностью, свидетельствующей об их ограниченности. Опустившись в кресло, Фицджеральд лишь время от времени отмахивался рукой, парируя критику словами: «Чушь! Дикая чушь!» Наконец он поднялся и произнес: «Я бы желал стать профессором университета, быть так же, как и вы, материально устроенным и испытывать такое же снисходительное самодовольство, а не терпеть то, с чем нам приходится мириться в реальном мире. Желаю вам спокойной ночи, господа!»

Поскольку никто не позаботился о том, чтобы заказать номера в гостинице для Шульберга и Фицджеральда, им пришлось поселиться в помещении для прислуги на верхнем этаже отеля «Ганновер» (Фицджеральд шутил по поводу символичности этого недосмотра, свидетельствовавшего об отношении к писателю в Голливуде). Единственной мебелью в номере была двухъярусная кровать. Лежа на нижней постели, Фицджеральд рассуждал вслух: «Ты знаешь, малыш, ведь когда-то у меня был недюжинный талант. Сознание того, что я обладал им, приводило меня в восторг. Он и до сих пор не иссяк, я чувствую, что оставшегося во мне хватит еще на пару романов. Может быть, мне придется при этом расходовать его экономно и книги окажутся не столь хорошими, как лучшее из созданного мной, но они будут совсем неплохи, потому что ничто написанное мной не может быть абсолютно негодным».

В обществе Фицджеральд был корректен с Вагнером. В частных же беседах он изливал готовому охотно слушать Шульбергу накопившуюся в нем за полтора года работы в Голливуде неприязнь к кинобизнесу. Когда Шульберг с Фицджеральдом после буйной пирушки наткнулись на Вагнера на ступеньках «Ганновера», тот потерял терпение и тут же уволил их. Шульберг проводил Фицджеральда до Нью-Йорка, где заботу о нем взяла

на себя Шийла, а сам, помирившись с Вагнером, вернулся в Дартмут, чтобы завершить съемки фильма.

## ГЛАВА XVII

Отныне наступила пора больниц, медсестер, жара по ночам, успокаивающих таблеток и отчаяния. Казалось, что Фицджеральд скатывается к полной безысходности, как это уже было с ним в 1935-36 годах. Находясь на краю безумия от не дававших ему покоя мук и изоляции, он переживал застой в работе. «Непишущий писатель, — как-то обронил он, — все равно, что предоставленный самому себе маньяк».

Прошлой осенью, когда в Малибу-Бич дохнуло прохладой, Скотт перебрался в Энсино, район с более теплым климатом, расположенный в долине Сан-Фернандо. Там за 200 долларов он снял дом на участке, принадлежавшем Эдварду Эверетту Хортону. Здесь был плавательный бассейн, в саду цвели розы и магнолии. Но для Фицджеральда, жившего во дворце или в тюрьме своих настроений и страстей, все это уже мало что значило. Он не без основания предполагал, что после неудачи в Дартмуте ему будет не так-то легко найти работу в кино. Тем не менее, в марте и апреле, Скотта на несколько недель привлекали к постановке фильма с участием Мадлен Кэррол и Фреда Макмуррея. Позднее он писал о том периоде: «Каждую ночь мне требовалась все большая доза снотворного — три чайные ложки хлоральгидрата и две таблетки нембутала, чтобы спать, и сорок пять капель наперстянки с утра, чтобы сердце могло работать весь день. В конце концов, ты начинаешь чувствовать себя как волшебник из сказки». Одновременно он пытался и джин превратить в источник своей энергии. Каждую неделю секретарь собирала пустые бутылки и уносила их с собой, чтобы они не бросались в глаза мусорщикам.

В конце апреля Скотт, не послушавшись совета врачей, отправился с Зельдой на Кубу. На петушинных боях, куда он забрел случайно, ему основательно намылили шею за то, что он попытался было остановить это зрелище. С Кубы он отбыл в НьюЙорк, где угодил в больницу. Вернувшись в Энсино, Скотт провел следующие два месяца в постели. Рентгеновское просвечивание обнаружило рубец в одном из легких. Однажды ночью влажная пижама так туго обвилась вокруг его руки, что утром он не мог ею двинуть. Врач, желая припугнуть его, поставил диагноз — паралич от алкоголизма. После этого Скотт взял себя в руки. Дополнительным толчком послужило полное отсутствие денег. Хотя он погасил долг Оберу, у него еще остались невыплаченными «Скрибнерс» 7 тысяч долларов. Кроме того, ему приходилось покрывать значительные счета, связанные с лечением. О



работе в кино, учитывая состояние его здоровья, не могло быть и речи. Он стал подумывать о сотрудничестве с платившими высокие гонорары журналами, которые когда-то наперебой брали его рассказы. Он полагал, что после двухлетнего перерыва сможет написать несколько добротных вещей.

В середине июня Скотт телеграммой попросил у Обера аванс в 500 долларов в счет рассказа, который обещал прислать в ближайшее время. Обер перевел деньги, но предупредил, что ему будет трудно, а Фицджеральду неудобно, если за ним вновь образуется задолженность. Месяц спустя Скотт направил Оберу два рассказа, но тот так и не смог найти для них издателя. Когда Фицджеральд обратился к Оберу с просьбой о новом авансе, то получил отказ. Фицджеральд был шокирован. В прошлом Обер предоставлял ему займы в размерах предполагаемого за рассказ гонорара. Скотт не мог поверить, что после столь длительного сотрудничества его литературный агент потерял в него веру.

Нежная забота Обера о Скотти (он и его жена Анни фактически стали ее приемными родителями) сделала этот отказ еще более унижительным для Фицджеральда. Скотту казалось, что Обер просто хотел проявить по отношению к нему строгость. Он жаловался Перкинсу, пытавшемуся не допустить полного разрыва между ними, что Обер — «ограниченный человек, и безусловное расположение, которое он ко мне когда-то питал и которое помогало ему закрывать глаза на мои грехи, каким-то образом переросло в неодобрение и необъяснимую уверенность в том, что я конченный человек. И это несмотря на то, что в последние полтора года я заплатил ему десять тысяч долларов в виде комиссионных и вернул все тринадцать тысяч долга».

Теперь Фицджеральд стал собственным литературным агентом и непосредственно, и далеко не всегда успешно, вел дела с журналами. Трагедия состояла в том, что он утратил понимание, каким должен быть рассказ о любви, который нравился бы публике. «Я не могу заставить читателя поверить в них», — признавался он. В августе и в сентябре ему вновь удалось получить работу в кино, но всего лишь на неделю. «Я оплачиваю счета зеленщика лишь небольшими работами, которые пишу для «Эсквайр», — сокрушался он в письме к Зельде. — Одновременно я пытаюсь отвлечься от физических и душевных тревог, что так необходимо для создания стоящего рассказа... Сколько раз я мечтал, чтобы моя работа носила механический характер и ее можно было выполнять независимо от внутреннего состояния. Я уже не стремлюсь к счастью и не ожидаю его. Мое единственное желание — обрести покой в душе, который помогает

всем нам нести свое бремя».

Он с грустью взирал на себя, видя, что его сверстники достигли определенных высот в различных областях. Незадолго до этого он получил письмо от Джона Биггса, работавшего федеральным судьей. Тот писал Фицджеральду о своей семейной жизни, путешествиях, об удовлетворенности работой. За два года, сообщал Биггс, являясь судьей третьей инстанции, он вынес 113 приговоров, ни один из которых не был отменен Верховным судом. «Я надеюсь, от тебя как от судьи будет больше проку, чем от меня как от литератора», — ответил ему Фицджеральд, сознавая, что его собственная репутация никогда не падала столь низко. В то время было модно считать его *passee*,<sup>[176]</sup> жертвой никчемных 20-х годов. И даже о последнем, самом лучшем сборнике рассказов<sup>[177]</sup> Скотта, какой-то рецензент писал: «Дети всех возрастов, от тринадцати до тридцати, которые щеголяют на страницах произведений Фицджеральда, кажутся ныне такими же отжившими, как неандертальцы». За последнее время было опубликовано девять его книг, но ни одна из них не находила широкого спроса. Гонорар Скотта за 1939 год составил немногим более 33 долларов. И даже издание «Гэтсби», выходявшее в серии «Современная библиотека», пришлось приостановить, потому что книга не расходилась.

За два года до того, наткнувшись как-то в газете на сообщение о постановке его «Алмазной горы» театром «Пасадена», Фицджеральд решил поехать вместе с Шийлой на премьеру и отпраздновать это событие. Позвонив в театр и представившись, Скотт попросил зарезервировать для него два билета. Он нанял лимузин с шофером, что, по его мнению, в большей степени подобало данному случаю, чем купленный с рук старенький «форд». Они с Шийлой облачились в вечерние платья и перед спектаклем пообедали в «Трокадеро». Подъехав к театру, они очень удивились отсутствию у входа привычной толпы. Поскольку и в фойе не оказалось ни души, Фицджеральд поначалу подумал, что перепутал числа. Он направился в театр, чтобы проверить себя, а вернувшись, сообщил Шийле, что студенческая труппа ставит пьесу в зале на верхнем этаже. Хотя Скотт и был удручен, он старался не подавать вида.

Маленький зал наверху с пятнадцатью рядами деревянных скамеек оказался также пуст, и лишь перед самым началом спектакля в зал вошли несколько студентов, а вслед за ними еще какие-то женщины и девушки в брючках и юбочках. Всего человек десять, не более. Фицджеральд внимательно следил за представлением и громко аплодировал, а потом сказал Шийле: «Я схожу за кулисы. Может быть, им будет приятно узнать,

что среди зрителей был автор». Придя, Скотт отозвался об актерах как о «великолепных ребятах». «Я поздравил их с удачной постановкой». По пути в Голливуд он не проронил ни слова и выглядел подавленно.

Фицджеральд остро переживал свою отверженность. «...Умереть столь окончательно и несправедливо после всего сделанного, — искал он сочувствия у Перкинса. — Даже сейчас в Америке публикуется не много, что не несло бы на себе печати моего влияния. В каком-то роде я был первооткрывателем». Он настойчиво убеждал «Скрибнерс» издать однотомник, который бы включал «По эту сторону рая», «Гэтсби» и «Ночь нежна», но Перкинс полагал, что следует подождать той поры, когда время, описанное в этих романах, станет вызывать ностальгию. Единственное утешение Фицджеральду в этот период доставлял его новый роман. К октябрю 1939 года он, по его признанию, завершил «обдумывание моих самых потаенных мыслей» и подготовил около шестидесяти страниц набросков и заметок. «Ты знаешь, — делился он замыслом со Скотти, — я начал работу над романом, который может оказаться великолепным. На это мне понадобится месяца четыре или полгода кропотливого труда. Возможно, он не принесет нам с тобой ни цента, но он покроет связанные с его написанием расходы. Кроме того, это первое произведение, к которому я приступаю с таким трепетом после начального периода работы над «Неверностью»... Во всяком случае, я вновь ощущаю себя живым существом».

«Коллиерс» планировал печатать роман частями. Если журналу понравятся первые страниц пятьдесят, он готов заплатить Фицджеральду 30 тысяч, что избавило бы его от необходимости заниматься поденной работой. К концу ноября Скотт направил «Коллиерсу» страниц двадцать в надежде получить хоть небольшой аванс. Когда журнал попросил отложить решение вопроса до присылки остальных тридцати, Фицджеральд переслал рукопись в «Пост». Но «Пост» также не хотел брать на себя никаких обязательств. К тому времени Перкинс, познакомившийся с рукописью, счел ее «великолепным началом — захватывающим и дышащим новизной». Он послал Фицджеральду 250 долларов из своего кармана и пообещал перевести дополнительно тысячу к первому января. Фицджеральд тут же выслал несколько страниц черновиков в счет обещанной тысячи, однако Перкинс ответил, что в настоящее время он не может сделать ничего большего.

Поддержка Перкинса оказалась решающей. Фицджеральд признавался Максу, что он и Джеральд Мэрфи оказались его единственными друзьями в течение всех этих мучительных пяти лет (Мэрфи одолжили Фицджеральду

денег, чтобы Скотти могла продолжать учение в Вассаре). Хотя Фицджеральд встречался с Мэрфи всего лишь несколько раз после их возвращения в Америку в 1931 году, постигшая чету Мэрфи трагедия еще более сблизила его с ними. Оба сына Мэрфи умерли — один от менингита, другой — от туберкулеза. Джеральд писал Скотту, что из всех знакомых, по-видимому, он один, кто по-настоящему понимает, что им пришлось пережить. «Ты — единственный из друзей, кому я могу поведать все, что чувствую... — распахивал перед Скоттом душу Мэрфи. — Теперь я знаю: все сказанное тобой в романе «Ночь нежна» — истинная правда. Лишь наша выдуманная жизнь, ее нереальная сторона, имела какой-то смысл, какую-то красоту. Когда в нее вторглась настоящая жизнь, она все перемешала, все разрушила и оставила после себя неизлечимую рану».

Мэрфи, по-видимому, могли теперь осознать, через какие муки пришлось пройти Фицджеральду из-за болезни Зельды. «Я так часто вспоминаю ее лицо, — выражала ему сочувствие Сара, — и очень хочу, чтобы кто-нибудь нарисовал ее портрет карандашом, именно карандашом, а не красками. Оно напоминает лицо молодого индейца, если не считать ее горящих глаз. Я помню, по вечерам, когда она возбуждалась, они становились темными и непроницаемыми; в них всегда сквозила нетерпимость к чему-то, я полагаю, к этому миру. В любом случае, она не была его частью в полном смысле этого слова. Я любила ее, и полыхавший в ней огонь находил у меня в душе отклик. Никто не стремился подавить в ней ее натуру (Вы не должны мучиться этим), никто, кроме нее самой. Она жила своей внутренней жизнью и своими страстями, к которым, как мне кажется, никто не имел доступа, даже Вы».

Его талант составлял основу его жизни. Он мог говорить о нем со слезами на глазах. Когда сестра Анабелла как-то критически отозвалась о его последних работах, в ответ он парировал: «Пожалуйста, не говори мне, что я не могу писать. Это все равно, что утверждать, будто Клифф не может летать» (Анабелла была замужем за морским летчиком Клиффом Спраге).

Отчасти трудности Фицджеральда объяснялись тем, что не удавалось найти подходящую тему. В душе он продолжал оставаться романтиком и нуждался в романтическом герое. Как-то он записал в своем дневнике: «Дайте мне героя, и я создам трагедию». В конце концов, Скотт отыскал такого героя в Ирвинге Тальберге, продюсере. Тальберг, сын эльзасского импортера кружев, появился в Голливуде в 1919 году в качестве личного секретаря президента «Юниверсал пикчерс» Карла Люммеля. Переехав на Восточное побережье, Люммель оставил Тальберга в Калифорнии своим представителем. Так Ирвинг Тальберг в двадцать лет оказался фактически

главой студии и мог по своей воле вершить судьбы актеров и режиссеров. Когда Фицджеральд встретил его через восемь лет, Тальберг уже восседал в кресле заведующего отделом производства фильмов «Метро-Голдвин-Мейер» с окладом 400 тысяч долларов в год. Это был маленького роста, худенький человек с длинными, тонкими, пластичными ручками, которыми он так гордился, темными выразительными глазами и обходительными манерами. Он напоминал молодого француза *bien eleve*,<sup>[178]</sup> хотя в душе был тверд как камень. Тальберг неукротимо преследовал одну цель — создавать картины, которые превосходили бы поставленные ранее. Он искренне верил, что деньги могут все. С неиссякаемым стремлением к совершенству он делал один дубль за другим, вникая во все детали на каждой ступени создания фильма.

Тальберг очаровал Фицджеральда. Он признавался, что Тальберг подсказал ему «лучшие черты Монро Стара (героя романа «Последний магнат». — Э.Т.)», хотя он и вложил в него «черты и других людей и, безусловно, многое от самого себя». Подобно Фицджеральду, Тальберг был дитя таланта. Кроме того, он слыл знатоком кино. С достойной Наполеона силой воли он возвышался над всеми в период, когда еще можно было держать рычаги управления в одних руках. Фицджеральд явился свидетелем борьбы, которая развернулась в МГМ между Тальбергом и Луисом Б. Мейером (борьба между Старом и Брейди в «Последнем магнате») за искусство в противовес деньгам, за качество, а не количество, борьба индивидуалиста против промышленника. Когда Тальберг погиб в 1936 году, он оставил после себя вакуум, который, как предполагалось сюжетом, должна была создать смерть Стара в конце «Последнего магната».

Замешанный на этом материале роман Фицджеральд задумал написать в сжатой форме, подобно «Гэтсби». Летом 1937 года по пути в Голливуд он сообщал другу, что все созданные им романы были или просеяны через сито («По эту сторону рая» и «Гэтсби»), или растянуты («Прекрасные, но обреченные» и «Ночь нежна»). Два последние, как он признавал, могли бы быть без ущерба сокращены на одну четверть. «Конечно, они были сокращены, но недостаточно. В «По эту сторону рая» (в грубой форме) и в «Гэтсби» я отобрал материал, который соответствовал определенному настроению или «наваждению» — назови это чувство как угодно, — заранее отбросив в «Гэтсби», например, все обыденные детали, касающиеся Лонг-Айленда, крупных мошенников, темы супружеской измены. Я всегда начинал с мелкого, но ключевого мотива, привлекшего

меня, — моей собственной встречи с Арнольдом Ротстайном,<sup>[179]</sup> например».

Задуманный Фицджеральдом роман мыслился им как трагический. Еще в 1920 году, когда у него голова шла кругом от успеха, он писал президенту Принстона: «...мои взгляды на жизнь, господин Хиббен, совпадают с миропониманием Теодора Драйзера и Джозефа Конрада, которое сводится к тому, что жизнь слишком груба и безжалостна к человеку». Возможно, в тот момент он несколько преувеличивал, но его собственный жизненный опыт подтвердил эти слова. Поэтому нет ничего удивительного, что в письме к Скотти в 1940 году он так излагал свое кредо: «В основе жизни всех великих людей от Шекспира до Авраама Линкольна — и даже раньше, с тех пор, как появились книги, — лежит сознание того, что жизнь по своей сути — обман, а ее естественное предназначение — крушение. И спасение не в обретении счастья и удовольствия, а в чувстве глубокого удовлетворения, получаемого от борьбы».

Наконец, в романе в какой-то мере будет показано, что же представляет собой Америка. Фицджеральд рассматривал прошлое Америки как пышный карнавал и фантастическую иллюзию. «Когда я смотрю на ее историю, — говорил он, — она представляется мне самой прекрасной страницей в мире. Это моя жизнь и жизнь моего народа. И даже если бы я прибыл в Америку вчера, как Шийла, я бы все равно думал о ней так. История Америки — это воплощение надежды... Если я появился к ее финалу, то и такое место существует в ряду ее первооткрывателей».

Монро Стар — последний потомок этих первооткрывателей. Создав его образ, Фицджеральд, казалось, спрашивал: «И это все, что представляет собой Америка?» — и, отвечая на свой вопрос утвердительно, взирал на созданный им мир с состраданием.

Долгое время Фицджеральд казался моложе своих лет, но годы неумолимо брали свое. Скотт остался таким же учтивым, сохранив привлекательные, правда, несколько старомодные манеры. Продолжал одеваться в элегантные костюмы от тех же «Братьев Брукс», и от него даже веяло изысканностью. «Мне и в голову не приходило, что он так щепетилен в выборе галстуков», — вспоминал один из друзей, повстречавших его в то время. И все же он выглядел неестественно старомодным, словно человек, вышедший из другой эпохи. Он интересовался знаменитостями двадцатых годов, словно они все еще фигурировали на первых страницах газет.

Пережив сладостные мгновения славы и горестные периоды неудач,

Фицджеральд заговорил с новой силой. Можно спорить о том, кем он был в начале своего творческого пути, но, несомненно одно, — в ту пору его никак нельзя было причислить к разряду поверхностных людей. Скотт не только духовно возмужал, он перерос границы «зрелости», которой большинство людей достигают в конце обычной, свободной от потрясений жизни. Помудревший от страданий, он приобрел познания о себе и человеческой жизни, которые поистине можно назвать трагическими.

Со времени работы над «Ночь нежна», Фицджеральд много размышлял над романом как жанром, внимательно следя за творчеством своих современников, И хотя Скотт восхищался Фолкнером, Торшоном Уайлдером<sup>[180]</sup> и Эрскином Колдуэллом, все же пальму первенства он отдавал Вулфу и Хемингуэю. Возможно, этому способствовало их сотрудничество с Максом Перкинсом. Скотт восхищался первым романом Вулфа, но критиковал его за то, как «неуклюже и расточительно» он обошелся с материалом во втором. «Гений Тома огромен, велик, колоссален, чему свидетельство его плодовитость, — говорил Фицджеральд Лауре Гутри. — Но ему еще предстоит научиться выбирать, урезывать, придавать произведению сжатую форму». Перкинсу Скотт писал, что Вулф с его «редчайшей способностью к утонченности и ассоциациям» не должен «отбивать у читателя вкус подачей блюд, состоящих сплошь из деликатесов». Другой недостаток этого талантливое писателя Фицджеральд видел в его самопоглощенности, которая мешала ему понять других. «...Лирическая влюбленность Юджина Ганта во вселенную — он что, собирается пронести ее через все свои произведения?» — спрашивал он Перкинса. «Господи, и когда он только научится дисциплинировать себя и по-настоящему строить свои романы?»

Таково было эстетическое кредо Фицджеральда, которое он изложил Вулфу летом 1937 года. Скотт убеждал молодого коллегу развивать в себе художника, творящего осознанно. «Чем сильнее эмоциональный накал, — писал он, — тем очевиднее он нуждается в разрядке, контроле, упорядочении. Флобер в романе, созданном по принципу избирательности, оставил в стороне детали, которые подобрал и включил в свои вещи Золя. Как следствие, «Мадам Бовари» несет на себе печать вечности, тогда как Золя не выдерживает проверки временем». Вулф парировал, что «Тристрам Шенди»<sup>[181]</sup> — крупный роман, но по совершенно иным причинам: «Именно потому, что в нем все бурлит и переливается, ибо его неизбирательность — результат тщательного просеивания». Среди великих писателей, защищался Вулф, были и те, кто стремился как можно шире



охватить жизнь в своих произведениях, и те, кто сохранял в них неизбежный минимум. Шекспир, Сервантес и Достоевский останутся в памяти за то, что они включили в свои творения, Флобер — за оставленное им в стороне.

В основе спора Скотта и Вулфа лежало различие темпераментов, которое нельзя было ничем устранить. Кристальная насыщенность стиля лучших произведений Фицджеральда совершенно противоположна угловатой пространной манере письма Вулфа. Несмотря на это, Фицджеральд уважал «глубокий ум» Вулфа, его яркий стиль, силу его чувств («хотя подчас они сентиментальны и расплывчаты»). Правда, несколько раз в беседах он критически отозвался о Вулфе, о чем впоследствии очень сожалел, поскольку «вложил острое оружие в руки менее его достойных». После того как Вулф заболел и умер осенью 1938 года, Фицджеральд, скорбя, писал Перкинсу о «крупном, трепещущем, жизнерадостном теле, которое теперь бездыханно. После него наступило затишье, возможно, еще более глубокое, чем после смерти Ринга, который угас задолго до того... Неповторимой чертой Тома был его лиризм или, точнее, сочетание лиризма с присущей ему наблюдательностью, например, в таких великолепных зарисовках, как путешествие по Гудзону — «О времени и о реке».

Что касается Хемингуэя, то у Фицджеральда произошла с ним короткая встреча во время приезда Эрнеста в Голливуд летом 1937 года. Хемингуэй привез документальный фильм о гражданской войне в Испании, к которому написал дикторский текст. Фицджеральд сопровождал Лилиан Хеллман на квартиру Фредерика Марча,<sup>[182]</sup> где состоялся неофициальный показ картины. По пути на просмотр Фицджеральд в своем «форде» 1934 года (теперь он ездил так медленно, что следовавшие за ним водители вечно сигналили ему) изливал душу своей спутнице, рассказывая о разрыве с Хемингуэем. С видом обиженного ребенка он заявил, что не желает ни видеть Эрнеста, ни разговаривать с ним.

Но он зря беспокоился. В тот вечер Хемингуэй был всецело занят своими делами. Сверх меры взвинченный, он, вспыхнув по какому-то поводу, швырнул и разбил стакан о камин. Когда Эрнест пустил шапку по кругу, собирая деньги для республиканцев, и кинозвезды начали выписывать тысячедолларовые чеки, Фицджеральд почувствовал себя отверженным.

Позднее Фицджеральд сообщал Перкинсу, что Хемингуэй пронесся, «словно вихрь», и поставил крупного продюсера Любича на место, отказавшись переделать свою картину на голливудский манер. «Я



чувствовал, что он находился в состоянии нервного иступления, — описывал поведение Хемингуэя Скотт, — в этом проглядывало что-то почти религиозное». Когда Перкинс в ответ написал о неприятной стычке Хемингуэя с Максом Истменом в «Скрибнерс», о том, какой она имела резонанс, Фицджеральд бросился на его защиту. «Теперь он так погружен в собственный мир, — писал Скотт, — что я не могу помочь ему, даже если бы сейчас был близок с ним, чего нет. И все же я так люблю его, так глубоко переживаю все, что с ним происходит. Мне искренне жаль, что какие-то глупцы могут насмехаться над ним и причинять ему боль».

Между тем Фицджеральд начал замечать — в ранее монолитном фасаде обнаруживались трещины. После случая со «Снегами Килиманджаро» он как-то сказал, что у Хемингуэя «такое же нервное расстройство, как и у меня, только проявляется оно у него по-другому. Он склонен к мании величия, в то время как я к меланхолии». К тому же, Фицджеральд сомневался, можно ли художественно воплотить опыт, который приобретался только ради того, чтобы его описать, к чему, как считал Скотт, во все большей степени стремился Хемингуэй. «По ком звонит колокол» показался Фицджеральду несколько ниже самых лучших произведений Эрнеста. Он сравнивал роман с «Повестью о двух городах», хотя сравнение, может быть, и не совсем удачное. «По моему мнению, это абсолютно поверхностный роман, который по глубине можно сопоставить разве что с «Ребеккой».<sup>[183]</sup> В нем нет «ни накала страстей, ни оригинальности, ни вдохновенных поэтических мгновений (как в «Прощай, оружие!» — Э.Т.). Но мне кажется, что среднему читателю, привыкшему восхищаться Синклером Льюисом, он понравится больше, чем все ранее написанное Хемингуэем. Роман состоит в большой мере из бесконечных авантур в духе Гекльберри Финна и, конечно, высоко интеллигентен и художествен, как все, что создает Эрнест». Фицджеральд явно завидовал коммерческому успеху нового произведения Хемингуэя и не скрывал этого в письме к автору. Роман попал в список бестселлеров, и за одно право на экранизацию Хемингуэй получил более 100 тысяч долларов. «Довольно заметная разница с его убогими комнатухами в Париже с видом на лесосклад, — писал Фицджеральд Зельде. — ...помнишь, с каким безразличием он относился к тиражам своих книг?» — И все же, в конечном счете, Фицджеральд не решался быть судьей Хемингуэя, который, подобно стихии, развивался по своим собственным законам. Зная его жизнь, Фицджеральд понимал, что некоторая странность и необузданность Эрнеста — следствие пережитого им. Хемингуэй, этот байроновский герой, неотступно владел мыслями Фицджеральда, который

ассоциировал себя с ним больше, чем с кем-либо из его современников. «Люди, подобные мне и Эрнесту, в свое время были очень восприимчивыми, — писал он в те годы, — и они дали столько, что испытывали мучения от мысли причинить кому-нибудь боль. Такие люди, как я и Эрнест, сгорали от желания сделать всех счастливыми и прилагали ради этого отчаянные усилия... Нас с Эрнестом обуревали страсти, и мы обрушивались на людей за их глупость и т. д. и т. д. Я и Эрнест...»

Вплоть до конца дней своих Фицджеральд проявлял живой интерес к Эрнесту, постоянно спрашивая о нем в письмах к Перкинсу: «Где он?», «Над чем работает?», «Что думает о войне?» Со своей стороны, Хемингуэй при всем своем снисходительном отношении к Фицджеральду прислал ему экземпляр «По ком звонит колокол» с надписью: «Скотту, с любовью и уважением». «Это прекрасный роман. Никто из нынешних писателей не мог бы создать ничего лучше», — откликнулся Фицджеральд, подписавшись в конце: «С прежней любовью».

Среди заметок к «Последнему магнату» есть такая: «Это роман для двух лиц — для С. Ф. (Скотти) в семнадцать лет и для Э. У. (Эдмунда Уилсона) в сорок пять. Он доставит удовольствие им обоим». Если прежде и был холодок в отношениях между Уилсоном и Фицджеральдом, то теперь, к концу жизни Скотта, они сблизились. Уилсону было легче иметь дело с новым Фицджеральдом, присмирившим и остепенившимся, нежели с пользовавшимся шумной славой бесшабашным сорвиголовой 20-х годов. Осенью 1938 года Фицджеральд вместе с Шийлой провел ночь у Уилсона в Стамфорде в штате Коннектикут, где тот поселился с молодой женой Мэри Маккарти.<sup>[184]</sup> С годами Уилсон приобрел солидность, а его выпуклый лоб под реденеющими каштановыми волосами придавал ему схожесть с судьей. Фицджеральд внимал Уилсону, и тот, с внушительной серьезностью глядя на него своими карими глазами, рассуждал о Кафке и других интересовавших его вопросах. Во время беседы он не перескакивал, как Фицджеральд, с темы на тему; ухватившись за одну какую-нибудь проблему, не отпускал ее до тех пор, пока не исчерпывал до конца. Фицджеральд признавался Уилсону: «...тот вечер дал мне многое, в то время как он вряд ли мог оказаться полезным тебе». Уилсон в ответ убеждал Фицджеральда не губить оставшиеся годы на жизнь в Голливуде. «Все ожидают от тебя начала нового этапа», — внушал он Скотту.

Отношения между ними, как и вначале, носили чисто литературный характер. Человек, который правил первые пробы пера Фицджеральда, написанные для «Литературного журнала Нассау», продолжал оставаться ментором. Фицджеральд приравнивал одобрение Уилсона к литературному

бессмертию, ибо Уилсон был критиком, воспитанным на шедеврах мировой литературы, и его суждения опирались на обширные познания в гуманитарных науках. Уилсона, со своей стороны, влекло к Фицджеральду как к писателю, которому он дал путевку в литературу и помог в становлении, убедив его писать строго, объективно, опираясь на классические традиции. Уилсона поражал быстрый творческий рост Фицджеральда, но если суждения критика о Фицджеральде свидетельствовали об уважении к нему как художнику, то они обнаруживали и досаду его, и даже некоторое высокомерие в отношении к Фицджеральду как к человеку.

Уилсон и Фицджеральд были настолько разными людьми, что можно только диву даваться, как они могли ладить друг с другом. Уилсон обнаружил свое призвание в пятнадцать лет, когда в библиотеке отца случайно натолкнулся на «Историю английской литературы» Тэна<sup>[185]</sup> и, с головой окунувшись в чтение, забыл обо всем на свете. С тех пор его подход к писателям, в значительной степени, напоминал подход этого английского критика: скажите мне о предках и прошлой жизни автора, и я раскрою вам, кто он и чего от него можно ожидать — *Tel arbre, tel fruit.*<sup>[186]</sup> Сила Уилсона крылась в логическом анализе, в его способности разложить проблему на части с помощью стройных доводов и сделать внушающие доверие выводы. Он блистал в литературных спорах, оперируя доводами как неопровержимыми правовыми документами и излагая свою точку зрения убедительно и веско. Чувство и разум Фицджеральда тяготели к совершенно противоположному — к воображаемому, интуитивному, наводящему на размышления, непоследовательному, сверхъестественному и даже мистическому. Фицджеральд был прирожденный художник, тогда как Уилсон — прирожденный критик.

И все же, в каждом из них имелось что-то от другого, и это во многом объясняло их духовную близость. Фицджеральд, который в основе своей никогда не обнаруживал склонностей ученого и человека широких познаний, к концу жизни стал все больше проявлять интерес к крупным проблемам. Он всегда завидовал интеллектуальному багажу Уилсона, и тот тоже испытывал тягу к Фицджеральду, но по иной причине: в Эдмунде томился не нашедший выхода романтик, и его постоянное желание посмеяться над романтизмом Фицджеральда проистекало из его — Уилсона — собственной предрасположенности к точно такому же восприятию мира. В молодости Уилсон любил рассуждать о присущих ему байроновских чертах, о которых никто, кроме него самого, не ведал. Он так

же, как и Фицджеральд, боготворил Эдну Сент-Винсент Миллей — первую романтическую звезду на небосклоне 20-х годов (второй явился Фицджеральд). Окружавшая его жизнь никогда не была для него более ощутима, чем печатная страница, где мог в полной мере проявиться его интеллект. В отличие от Фицджеральда он смотрел на жизнь несколько бесстрастно и словно через пелену прочитанного.

Уилсон был во многих отношениях привлекательным человеком. За внешней чопорностью скрывались доброта, преданность, сострадание и благородство. В детстве, может быть, из-за одиночества он научился многим фокусам, и, пожалуй, лучше всего его натура проявлялась во время представлений, которые он устраивал для детворы своей округи. Честность Уилсона — отказ идти на поводу широко распространенного мнения могла служить примером для Фицджеральда. Этот чувствительный, робкий юноша, который когда-то обрушивался на филистерство в Принстоне, остался верен себе на протяжении двух десятилетий бурных интеллектуальных исканий. Правда, он достиг меньшего, чем надеялся, но ставил себе цели высокие, пробуя свои силы на самых разных литературных поприщах, как это делали писатели XVIII века. Он был глубоко порядочным человеком: после смерти Фицджеральда, когда эта сложная личность оказалась отделена от его художественного наследия, Уилсон тут же высказал мысль, что современники Фицджеральда не в полной мере оценили его. При всех их расхождениях Уилсон и Фицджеральд родились под одной звездой, и их талант раскрылся в одну и ту же пору. «Я очень глубоко пережил смерть Скотта, — с горечью отозвался на потерю друга Уилсон в письме Бишопу. — Люди, начинающие писать вместе, лишь после смерти одного из них осознают, что написанное ими значит друг для друга больше, чем они это сами себе представляли».

Из принстонских друзей Бишоп лучше всех понимал Фицджеральда и глубже других пережил его трагедию. Во время работы над «Ночь нежна» Фицджеральд назначил Бишопу своим душеприказчиком на случай, если с ним что-нибудь произойдет до завершения романа.

Из-за летней жары в Энсино, а также из соображений экономии и стремления находиться поближе к Шийле, от которой Фицджеральд зависел теперь все больше и больше, он в мае 1940 года перебирается в Голливуд. За 110 долларов в месяц Скотт снял квартиру в квартале от дома Шийлы, и они пользовались услугами одной и той же горничной и попеременно обедали друг у друга. Его единственным регулярным заработком в то время были гонорары от «Эсквайр»: он писал для журнала серию рассказов, объединенных одним героем — Пэтом Хобби, [\[187\]](#)

работающим в киностудии поденщиком. О пройдохе Хобби ему было даже утешительно писать, поскольку тот неизменно оказывался в худшем положении, чем сам Фицджеральд. К счастью, продюсер Лестер Коуэн приобрел права на рассказ Фицджеральда «Опять Вавилон» и предложил Скотту за 5 тысяч долларов написать киносценарий. Эта работа доставила Фицджеральду неопишное удовольствие. «Опять Вавилон» был его любимым рассказом, и в нем шла речь о человеке, которому представился второй шанс в жизни. Кроме того, рассказ посвящался Скотти, той единственной, кто, как он чувствовал, не подведет его.

Он писал Зельде, что Скотти «в основе своей на редкость чистая натура». Правда, между ними случались стычки всякий раз, когда они жили вместе, в частности, во время ее приездов в Голливуд в последние два лета, он должен был напоминать Скотти об их скромном бюджете («Мне только что пришлось оплатить с десятков счетов»). В течение многих лет Скотти была неиссякаемым источником вдохновения всякий раз, когда он брался за работу, к которой у него не лежала душа. Ее занятия в Вассаре напоминали ему его годы в Принстоне. Подобно ему, она предалась беззаботной жизни в первом семестре, и ее пребывание в колледже было поставлено в зависимость от ее дальнейших успехов в учении. Подобно ему, она хотела писать, и он направлял ее, как только мог, в самых трогательных и глубоких письмах, которые когда-либо писал. Фицджеральд ликовал, когда в июне 1939 года статья Скотти появилась в журнале «Мадемуазель». Но, прочитав, остался ею крайне недоволен. Скотти критиковала его поколение за беспечность и мягкотелость. В ответ он упрекал дочь за то, что она «сидит на его шее и в то же время осмеливается высказывать ему в глаза такие колкости».

Скотти написала и поставила музыкальную комедию и создала клуб под названием «ОБУП» (О боже, уже понедельник!). Фицджеральд пришел в восторг: «Почти как Таркингтон, основавший в 1893 году в Принстоне «Треугольник». Однако он и тогда уже советовал ей не растрчивать энергию на любительские постановки, как это делал он сам. Фицджеральд побуждал дочь выработать свой стиль и указывал на важность поэзии, «самой сжатой литературной формы... Любой человек, незнакомый с современной английской прозой, необразован, и ты это знаешь... Самое разумное для тебя сейчас — изучить английскую поэзию от Блейка до Китса».

Фицджеральд хотел вывести Скотти в свет в Балтиморе — просто «на всякий случай» (он никогда не говорил, на случай чего) — и постоянно выражал недовольство ее планами на летние каникулы. Когда она

сообщила ему о намерении поработать в труппе летнего театра в Новой Англии, он стал отговаривать ее: «Глупышка, это все равно как если бы я сбыл тебя торговцу белыми рабами, и, поверь мне, я бы сорвал при этом неплохой куш». Можно было бы получить временную работу через Бюро найма Вассара, но и это, как оказалось, не выход из положения. «Это означает, что я из эгоистических соображений постоянно буду беспокоиться о тебе. Мне придется пересечь всю страну, чтобы посмотреть, чем ты занимаешься». Он был непреклонен в решении, что Скотти следует повременить с замужеством до окончания колледжа. Поскольку самые привлекательные и энергичные молодые люди, по-видимому, предпочитали предпринимательскую деятельность, он надеялся, что волею судеб она скажется в среде адвокатов, политических деятелей или крупных журналистов. Больше всего на свете он опасался, как бы она не вышла замуж за того, «кто ничем не выделяется из толпы».

Хотя по написанному Фицджеральдом сценарию «Опять Вавилон» фильм так и не был никогда поставлен, работа над ним укрепила его репутацию на студии.

В сентябре он создал удачный сценарий по пьесе Эмлина Уильямса<sup>[188]</sup> для продюсера Даррила Занука. Однако в душе он знал, что в Голливуде ему не место. Кинематограф того времени казался ему «не более чем отраслью, производившей сентиментальные поделки для детей». «Этот город населен вялыми и дряблыми существами, — описывал он центр киномира Джеральду Мэрфи, — даже их удовольствия — ничто по сравнению с накалом страстей в любом провинциальном городишке Прованса. Затворничество — единственное условие сохранения себя как личности...».

Но если Фицджеральду не удалось осуществить свою мечту — завоевать Голливуд, он не желал, чтобы Голливуд подмял его под себя. Увлеченный своим новым романом, он писал Скотти, что после «Гэтсби» ему не следовало успокаиваться и жить с оглядкой на прошлое, а надо было сказать самому себе: «Я нашел свое призвание. Отныне оно превыше всего. В нем мой первейший долг. Без него я ничто».

Шийла и Фицджеральд жили в уютном уединении: вместе ходили за продуктами в магазины, расположенные на бульваре Сансет, и часто заглядывали в кафе «Швоб», чтобы скоротать время за чтением журналов или молочным коктейлем. Иногда они отправлялись на премьеру фильма, но большую часть времени проводили дома, читая или слушая музыку. Фицджеральд помогал Шийле в изучении курса истории искусства, который он составил для нее, включив в него то, что, по его мнению,



должно изучаться в университете. Война в Европе будоражила его воображение. Она, по словам Фицджеральда, вновь вызвала в нем «острые ощущения». Он предсказывал быстрое падение Англии, за которым последует столкновение Америки с Германией в джунглях Бразилии, но Шийла уверяла его, что он не знает англичан. И после эвакуации из-под Дюнкерка<sup>[189]</sup> он был готов согласиться с ней. Иногда на него находили минуты былой веселости: в его душе все еще оставалось много от ребенка, — он говорил на спортивном жаргоне и порой выделывал коленца из какого-нибудь современного танца. Шийла и Фицджеральд никогда не были так счастливы, как в тот период, хотя, порой, она и замечала на его лице следы подавленности и печали.

Его жизнь представляла теперь разрозненную цепочку событий: работа над романом, сотрудничество с киностудиями и «Эсквайр», Шийла, поддержание ослабевающих связей с друзьями на Восточном побережье, Скотти и Зельда, мысль о которой неотступно преследовала его. Фицджеральд писал о постепенно затухающих голосах: «Скажите, а как там Зельда? а как Зельда? а как Зе...» Она чувствовала себя настолько окрепшей, что могла совершать поездки к матери в Монтгомери без медсестры, он писал теперь ей чаще, чем прежде. Но, читая Шийле ее письма, Скотт иногда останавливался: «Видишь, в них трудно что-либо понять, в них ощущение чего-то утраченного навсегда». «Как странно быть выброшенным за борт жизни, — сокрушался он в письме к Скотти. — Этого не происходит даже с преступниками, они, как говорят, «неизменно в оппозиции к закону». Потерявшие же рассудок испокон веку были лишь гостями на этой земле, вечными странниками...».

Мертвенно-бледный и ослабевший, с не отпускавшим ни на минуту кашлем и высокой температурой, Фицджеральд уютнее всего чувствовал себя в своей квартире, где все стены были увешаны диаграммами, как в период работы над «Ночь нежна», с описанием поступков героев и их судеб. Он сообщал Зельде, что «композиционно новый роман будет походить на «Гэтсби», с поэтическими сценами, но без каких-либо размышлений и отступлений, как в «Ночь нежна». Все должно быть подчинено драматическому развитию событий».

После работы в Дартмуте Фицджеральд поддерживал слабые связи с Баддом Шульбергом, который к тому времени написал свой первый роман «Секрет Сэмми». Скотт всегда серьезно относился к литературному соперничеству. Когда он услышал, что Шульберг тоже пишет о Голливуде, он забеспокоился, хотя искренне желал Шульбергу успеха. Прочтя роман Шульберга, он с улыбкой отложил его в сторону и сказал себе, что роман о

Голливуде еще не написан. «Бадд Шульберг, очень приятный и умный малый, в январе публикует в «Рэндом хаус» роман о Голливуде, — делился Фицджеральд новостями с Перкинсом. — Роман неплох, но он абсолютно не касается моей темы». Неизменно благожелательно настроенный к начинающим авторам, он охотно направил издателю Шульберга письмо с лестным отзывом о книге, отрывки из которого позднее были использованы в качестве рекламы романа. Но у себя в блокноте он сделал пометку: «Бадд. Бесталанен».

У французов есть поговорка: «Меч протирает ножны, в которых его носят». Есть возвышенные натуры, страстные чувства которых сжигают их плоть. Первым пророческим названием романа «Прекрасные, но обреченные» было «Полет ракеты». А ракеты в конечном итоге всегда возвращаются на Землю. В тот период Фицджеральд был похож на хрупкий чувствительный инструмент, но сигналы, им улавливаемые, становились все слабее и слабее. Трудно сказать, был ли «Последний магнат» его лучшим романом, да и какое это имеет значение? Важно, что Фицджеральд верил в себя и свой труд... наперекор всем невзгодам... и после долгого периода разочарований.

Однажды в полдень в конце ноября Скотт поспешил домой из кафе — его сильно трясло. Медленно опустившись в кресло, закурил сигарету. «Я чуть не упал в обморок в «Швоб», — сказал он Шийле, — у меня перед глазами все поплыло». На следующий день кардиограмма показала, что у Скотта был сердечный приступ. Врач предписал ему не вставать с постели шесть недель. Чтобы не подниматься постоянно к себе в квартиру по лестнице, он переехал к Шийле на первый этаж. Продолжая писать, как Пруст, на подставке, крепившейся к кровати, он, казалось, не терял присутствия духа. «Франсуаза, — подтрунивал он над своей преданной секретаршей Фрэнсис Кролл, — просит у меня выходной, чтобы помолиться за мои грехи». Если Фицджеральд и чувствовал приближение конца, то не подавал вида, хотя, вероятно, именно в тот период он набросал следующие строки:

Послышалось трепетанье крыльев Бога, и ты уже мертв,  
Твои книги, надо полагать, уже убраны в стол,  
А незавершенный хаос в голове  
Выброшен в ничто судьбой-уборщицей...

Вечером 20 декабря, закончив работу над трудной сценой, Скотт



решил отпраздновать это событие с Шийлой — пошел на премьеру фильма. Когда он уже встал, чтобы выйти из зала, он пошатнулся и схватился за ручку кресла. Низким чужим голосом сказал Шийле, что у него все поплыло перед глазами, — как тогда, несколько недель назад, в кафе. Она подала ему руку, и он не оттолкнул ее, как делал это раньше.

На улице свежий воздух придал ему силы. На следующий день Фицджеральд был в хорошем настроении, с гордостью говорил о Скотти и о работе над книгой, более половины которой уже было готово. В полдень должен был прийти врач, чтобы обследовать его. После обеда Фицджеральд сидел в кресле с плиткой шоколада в руке и делал пометки в журнале «Принстон эламаной уикли» против игроков команды в регби. Неожиданно он вскочил, словно его обожгли электрическим током, схватился за приступок камина и рухнул на пол. Через мгновение все было кончено.

Фицджеральда похоронили на кладбище в Роквилле — там же, где были погребены солдаты-южане, погибшие в Гражданской войне. Простая служба, как он этого хотел, состоялась 27 декабря.

Когда гроб засыпали землей, моя мать положила несколько хвойных веток из La Raix на холмик бурой земли.

«Он был необыкновенно щедр душой, — писала Зельда после смерти Скотта. — ...Можно подумать, он был только тем и занят, что хотел осчастливить нас со Скотти, вечно планируя, какие книги нам надо прочитать, какие места посетить. Когда он был рядом, жизнь казалась полной самых радужных надежд... И хотя мы уже не были близки, Скотт оставался моим самым лучшим другом...»

Выход «Последнего магната», по словам Зельды, вдохнул в нее новую жизнь. Она считала, что этот роман Скотта разительно отличался от издаваемых в то время, авторы которых, как ей казалось, испытывали удовольствие от изображения тщеты человеческого существования.

Вскоре Зельда пережила радость замужества Скотти, в 1943 году, и рождения первого внука. Живя большую часть времени со своей матерью в Монтгомери, она мужественно пыталась в промежутках между приступами болезни хоть на короткое время обрести радость. Она занималась живописью и ухаживала за цветами. «Здесь небольшой сад, — описывала она подруге свою теперешнюю жизнь, — в котором цветы задумчиво и романтично раскачиваются под voluptes<sup>[190]</sup> небесами запоздавшей весны. У меня есть клетка с голубями, которые воркуют и поют под аккомпанемент ветра и умирают». Иногда Зельда прогуливалась по улицам в длинном темном платье и черной шляпе с ниспадающими полями, держа

перед собой раскрытую Библию и шевеля губами.

Всякий раз, когда она чувствовала, что ее здоровье ухудшается, она возвращалась в Ашвилл. Ей понравился этот гористый край, к тому же санаторный режим шел больной на пользу. В начале марта 1948 года врач сказал, что состояние ее улучшилось, и она может съездить домой. Но Зельда решила повременить, чтобы убедиться в этом самой. В ночь на 11 марта главное здание больницы «Хайленд» охватил огонь, и Зельда вместе с семьей другими пациентами оказалась отрезанной на последнем этаже. В языках пламени смерть настигла ее во второй раз. Она была похоронена в Роквилле рядом со Скоттом, где ей по праву принадлежит место.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ФИЦДЖЕРАЛЬДА

- 1896, 24 сентября — Родился в Сент-Поле, в семье Эдварда и Мэри Фицджеральд.
- 1898, апрель — Переезжает с семьей в Буффало.
- 1901, январь — Семья перебирается в Сиракузы. Июль — Рождение сестры Анабеллы.
- 1903, сентябрь — Возвращение в Буффало.
- 1908, июль — Переезд в Сент-Пол. Сентябрь — Поступает в школу в Сент-Поле.
- 1911, сентябрь — Переводится в школу Ньюмена.
- 1913, сентябрь — Становится студентом Принстона.
- 1915, январь — Встреча с Джиневрой Кинг.
- Декабрь — Берет академический отпуск.
- 1917, ноябрь — Получает звание младшего лейтенанта пехоты. Прибывает в форт Ливенорт, штат Канзас, для переподготовки.
- 1918, март — Заканчивает первый вариант «Романтического эгоиста», названного позже «По эту сторону рая».
- Июль — Встречает Зельду Сэйр.
- 1919, февраль — Увольняется из армии и направляется в НьюЙорк.
- Март — Поступает на работу в рекламное агентство «Баррон Коллиерс».
- Июнь — Зельда разрывает помолвку.
- Июль — возвращается в Сент-Пол, чтобы закончить роман.
- Сентябрь — «Скрибнерс» принимает «По эту сторону рая».
- Октябрь — «Пост» приобретает первый рассказ «Голова и плечи».
- Ноябрь — Новая помолвка с Зельдой.
- 1920, март — «По эту сторону рая» выходит из печати.
- Апрель — Женитьба на Зельде.
- Май — Поселяется в Вестпорте.
- Август — Публикует «Соблазнительницы и философы».
- Октябрь — Переезжает в НьюЙорк.
- 1921, май — Первая поездка в Европу.
- Август — Возвращение в Сент-Пол.
- Октябрь — Рождение Скотти.

- 1922, март — Выход из печати «Прекрасных, но обреченных».
- Сентябрь — издание «Историй века джаза».
- Октябрь — Поселяется на Лонг-Айленде.
- 1923, ноябрь — Провал «Недотепы».
- 1924, апрель — май — Поездка за границу. Встреча с Джеральдом Мэрфи.
- 1925, апрель — Публикует «Великого Гэтсби».
- Май — Встреча с Хемингуэем.
- 1926, февраль — Выход в свет сборника «Все печальные молодые люди».
- Декабрь — Возвращение в Америку.
- 1927, январь — Первая поездка в Голливуд.
- Март — Переезд в Иллерслай неподалеку от Уилмингтона.
- 1928, апрель — Поездка на лето в Париж.
- Сентябрь — Возвращение в Иллерслай.
- 1929, май — Отъезд за границу.
- 1930, апрель — Приступ болезни у Зельды.
- Июнь — Зельду помещают в «Пренгин».
- 1931, январь — Приезд в Америку на похороны отца.
- Сентябрь — Возвращение в Монтгомери после выхода Зельды из «Пренгина».
- Октябрь — ноябрь — Вторая поездка в Голливуд.
- 1932, февраль — Второй приступ заболевания у Зельды, помещение ее в клинику Фиппса.
- Май — Переезжает в Балтимор и снимает La Paix.
- 1933, декабрь — Перебирается в дом 1307 по Парк-авеню в Балтиморе.
- 1934, январь — Третий приступ болезни у Зельды, помещение ее в «Шеппард-Пратт».
- Апрель — Выход из печати «Ночь нежна».
- 1935, февраль — Первая поездка в Трион.
- Май — Переезжает в Ашвилл.
- Сентябрь — Перебирается в «Кембридж Армз» в Балтиморе.
- 1936, июль — Возвращается в Ашвилл.
- Сентябрь — Смерть матери.
- 1937, июнь — Шестимесячный контракт с МГМ.
- Июль — Переезжает в отель «Сад аллаха», в Голливуде. Встреча с Шийлой Грэхем.
- Декабрь — Возобновляет на год контракт с МГМ.

- *1938, апрель* — Переезжает в Малибу-Бич.
- *Октябрь* — Поселяется в Энсино.
- *Декабрь* — МГМ не возобновляет контракт.
- *1939, февраль* — Поездка в Дартмут.
- *Октябрь* — Пишет первые главы романа «Последний магнат».
- *1940, май* — Переезжает в Голливуд в дом 1403 по Лорел-авеню.
- *Ноябрь* — Первый инфаркт.
- *21 декабря* — Смерть.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Фицджеральд Фрэнсис Скотт. Избранные произведения в 3-х т., М., 1977.
- Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби. М., 1965.
- Фицджеральд Ф. С. Ночь нежна. М., 1971.
- Возделывай свой собственный сад. (письма Скотта Фицджеральда) — «Вопросы литературы», 1966, № 2.
- Из писем (Ф. Скотта Фицджеральда. 1920–1940.). — «Вопросы литературы», 1971, № 2.
- Горбунов А. Н. Романы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. М., 1971.
- Мендельсон М. О. «Второе зрение» Скотта Фицджеральда. — «Вопросы литературы», 1965, № 3.
- Старцев А. Горькая судьба Фицджеральда. — «Иностранная литература», 1965, № 2.
- Старцев А. Скотт Фицджеральд и «очень богатые люди». — «Иностранная литература», 1971, № 5.
- Старцев А. И. От Уитмена до Хемингуэя. Сборник. М., 1972.
- As Ever, Scott Fitz — ed. by Matthew J. Bruccoli, Lippincott, Philadelphia, 1972.
- Dear Scott/Dear Max; the Fitzgerald — Perkins Correspondence, ed. by John Kuehl and Jackson Bryer, Scribner's, New York, 1971.
- Eble, Kenneth (ed): F. Scott Fitzgerald, McGraw-Hill, New York, 1973.
- Graham, Shell ah, and Frank, Gerold. Beloved Infidel, Holt, Rinehart & Winston, N. Y., 1958.
- Kazin. Alfred (ed.) F. Scott Fitzgerald: The Man and His Work, World, Cleveland and N. Y., 1951.
- Lathan, Aaron, Crazy Sundays: F. Scott Fitzgerald in Hollywood, Viking, N. Y., 1970.
- Milford, Nancy. Zelda, Harper and Row, N. Y., 1970.
- Mizener, Arthur (ed): F. Scott Fitzgerald: A Collection of Critical Essays, Prentice — Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1963.
- Mizener, Arthur. The Far Side of Paradise, Houghton Mifflin, Boston, 1965.
- Sc1ar, Robert. F. Scott Fitzgerald, The Last Laocoon, Oxford, University Press, N. Y., 1967.
- The Letters of F. Scott Fitzgerald, ed. by Andrew Turnbull, Scribner's, N.

Y., 1963.

- Tomkins, Calvin. *Living Well is the Best Revenge*, Viking, N. Y., 1971.

# **ОГЛАВЛЕНИЕ**

- Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬД. ЧЕЛОВЕК. ПИСАТЕЛЬ. СУДЬБА
- ГЛАВА I
- ГЛАВА II
- ГЛАВА III
- ГЛАВА IV
- ГЛАВА V
- ГЛАВА VI
- ГЛАВА VII
- ГЛАВА VIII
- ГЛАВА IX
- ГЛАВА X
- ГЛАВА XI
- ГЛАВА XII
- ГЛАВА XIII
- ГЛАВА XIV
- ГЛАВА XV
- ГЛАВА XVI
- ГЛАВА XVII
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ФИЦДЖЕРАЛЬДА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- ОГЛАВЛЕНИЕ

---

**notes**



## **Примечания**

Цит. по кн.: Callahan John T. The Illusions of a Nation. Myth and History in the Novels of F. Scott Fitzgerald. Urbana, Chicago, London, University of Illinois Press, 1972, p. 61. - примечания М. Кореновой (далее — прим. М.К.).

Писатели США о литературе. М., 1974, с. 225. - прим. М.К.

Callahan John T. The Illusions of a Nation. p.4. - прим. М.К.

F. Sc. Fitzgerald. The Letters. Ed, by A. Turnbull. N. Y., Charles Scribner's Sons, 1963, p. 132. - прим. М.К.

Fitzgerald F. Sc. Afternoon of an Author. Introduction. N.Y. Charles Scribner's Sons, 1957, p.3. - прим. М.К.

Писатели США о литературе, с. 199. - прим. М.К.

Objets d'art — произведения искусства (франц.). - примечания переводчика (далее — прим. пер.).



Стоунхерст — известный католический колледж для юношей, расположен недалеко от Блекбурга в Ланкашире. Был основан во Франции в 1592 году, в 1794 году переведен в Англию. — прим. М.К.

Фрэнсис Скотт Ки (1779–1843) — автор поэмы «Оборона Форта Макгенри». Отрывок этого произведения лёг в основу текста государственного гимна США — «Знамя, усыпанное звёздами» («The Star-Spangled Banner», англ.). - прим. М.К.

Эрли Джубал (1816–1894) — генерал в армии Конфедерации южных штатов, которые объявили о выходе из состава США в связи с избранием Линкольна, противника рабства, президентом страны, что стало причиной Гражданской войны (1861–1865). Эрли провел летом 1864 г. несколько удачных операций, приблизившись во время одной из них на 5 миль к Вашингтону. В сентябре 1864 г. его отряды были разбиты армией генерала Ф. Шеридана. — прим. М.К.

Рузвельт Теодор (Тедди, 1858–1919) — президент США в 1901–1908 гг. — прим. М.К.

Parti pris — предпочтение (франц.). - прим. пер.

Хенти Джордж Альфред (1832–1902) — английский писатель, автор приключенческих рассказов для детей. В 1868 году начал выпуск серии детских книг, в которую было включено свыше 80 написанных им рассказов. — прим. М.К.

Битва у Банкер-Хилла произошла 17 июня 1775 г. Первое крупное сражение Войны за независимость, после которого американцы были вынуждены отступить, однако понесли небольшие потери по сравнению с англичанами. — прим. М.К.

Воды библейского Красного моря — имеется в виду эпизод из Библии, повествующий об исходе израильтян из Египта во главе с Моисеем («Исход», гл. 14 и 15). - прим. М.К.



Roie — повеса (франц.) - прим. пер.

Niveau riches — богатые выскочки (франц.). - прим. пер.

Faux pas — промашки (франц.). - прим. пер.

Grande dame — светская дама (франц.). - прим. пер.

Леру Гастон (1868–1927) — французский писатель, автор детективных романов. Грин Анна Кэтрин (в замужество Рольфе. 1846–1935) — популярная и очень плодовитая писательница, автор криминальных романов. — прим. М.К.

Ли Роберт Эдвард (1807–1870) — американский военачальник. Во время Гражданской войны командовал армией Виргинии; в 1865 г. — главнокомандующий войск Конфедерации. Одержал ряд крупных побед над армией северян. — прим. М.К.

Буш Джон Уилкс (1838–1865) — американский актер, застреливший в театре президента Линкольна. Бежал в Виргинию, был обнаружен, но отказался сдаться. Предполагается, что во время обстрела сарая, где он скрывался, покончил жизнь самоубийством. — прим. М.К.

Берлин Ирвинг (псевд., наст. имя — Исидор Бейлин, р. 1888) — американский композитор, автор многих известных популярных песен и мюзиклов. Особенно плодотворны для него были 20-30-е гг. — прим. М.К.



Ньюмен Джон Генри (1801–1890) — крупный деятель католической церкви Англии, с именем которого связан ряд реформ в англокатолицизме. — прим. М.К.

Итон — одна из самых старейших привилегированных мужских школ в Англии, основана в 1440 г. Здесь учатся в основном дети из аристократических семейств. — прим. М.К.

Галлей Эдмунд (1656–1742) — английский астроном, выдвинувший теорию о вращении комет вокруг Солнца по эллиптической орбите. Одна из открытых им комет названа его именем. — прим. М.К.

Джойс Джеймс (1882–1941) — ирландский писатель модернистского направления. Его творчество оказало большое влияние на развитие литературы XX в., особенно романа. Наиболее значительное его произведение — роман «Улисс» (1922), в котором используется поток сознания. Гогарти Оливер Сент-Джон (1878–1957) — ирландский поэт, автор нескольких поэтических сборников и нескольких томов воспоминаний. — прим. М.К.

Театр «Эбби» — театр в Дублине, сыгравший важную роль в Ирландском возрождении, движении конца XIX — начала XX вв., которое характеризуется подъемом национального самосознания. Здесь были поставлены пьесы крупнейших ирландских драматургов — У. Б. Йейтса, Дж. М. Синга, И. Грегори, а в 20-е гг. — Ш. О'Кейси. Коллинз Майкл (1890–1922) — ирландский революционер, активный участник борьбы за освобождение Ирландии из-под английского владычества. — прим. М.К.

Коэн Джордж Майкл (1878–1942) — американский драматург, актер и театральный деятель, пользовавшийся популярностью на Бродвее в 10-20-е гг. нашего века. Работал в основном в жанре водевиля и легкой комедии. Клер Айна (р. 1895) — популярная американская актриса, исполняла роли в водевилях, выступала в варьете. Ее первый крупный успех в Нью-Йорке — исполнение главной роли в «Квакерской девушке» в 1911 г. — прим. М.К.

*Homo sapiens* — человек разумный (латин.). - прим. пер.

Джонсон Оуэн (1879–1952) — популярный американский писатель, автор романов «Стрелы всевышнего», «Саламандра», «Растраченное поколение» и др. Йель — один из четырех старейших и прославленных университетов США, основан в 1701 г. — прим. М.К.



Адамс Генри Брукс (1838–1918) — американский писатель и историк. Наибольшую известность принесли ему «Мои Сен-Мишель и Шартр» (1904) и «Воспитание Генри Адамса» (1906, опубл. 1918). Современной духовной растерянности он противопоставляет в них единство веры в эпоху Средневековья, выдвигая в качестве символов этих эпох деву Марию и динамо-машину. — прим. М.К.

Крейн Стивен (1871–1900) — американский романист, новеллист и поэт. Испытал в юности воздействие натурализма («Мэгги — девушка с улицы», 1893), отразившееся в изображении тяжелой жизни городских низов. Шедевр Крейна — роман «Алый знак доблести» (1895) — посвящен Гражданской войне. Многие произведения Крейна отмечены большой тонкостью в обрисовке героев и атмосферы действия. — прим. М.К.

«Христианская наука» — доктрина, сформулированная в 1864 г. Мэри Бейкер Эдди. Проповедует исцеление недугов — духовных и физических — молитвой. Имела в США на рубеже XIX–XX вв. много последователей. — прим. М.К.

Крейслер Фриц (1875–1962) — знаменитый австрийский скрипач и композитор, писавший в основном скрипичные произведения. — прим. М.К.

Перевод М. Лорие. См.: Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Избранные произведения. Т. I. М., 1977, с. 59. Далее приводятся цитаты по этому же изданию из «Великого Гэтсби» и «Ночь нежна» в переводе Е. Калашниковой; эссе «Мой невозвратный город», «Ринг» в переводе А. Зверева; из новелл «На улице, где живет столяр» в переводе И. Бугрова; «Сумасшедшее воскресенье» в переводе Я. Архангельской; «Две вины» в переводе И. Бернштейн; «Опять Вавилон» в переводе М. Кан. — прим. пер.

Чемберс Роберт Уильям (1865–1933) — американский писатель, автор стилизованных исторических романов и романизированных биография. Филлипс Дэвид Грэм (1867–1911) — американский писатель и журналист, участник движения «разгребателей грязи». Автор свыше 20 романов. Разоблачал политическую коррупцию, стремился к правдивому отражению жизни городских трущоб и т. д. Оппенгейм Эдвард Филлипс (1886–1946) — английский писатель авантюрного жанра. — прим. М.К.

Принстон — один из четырех старейших университетов США, основан в 1746 г. — прим. М.К.

Esprit de corps — дух спаянности (франц.). - прим. пер.



Beau idéal — идеальная личность (франц.). - прим. пер.

Гилберт Уильям Швенк (1836–1911) — английский драматург, сотрудничавший в качестве либреттиста с композитором Артуром Салливаном ((1842–1900). Их оперетты, пользовавшиеся большой популярностью в Англии и Америке в конце XIX — начале XX вв., носили легкий, развлекательный характер. — прим. М.К.

Бишоп Джон Пил (1892–1944) — американский поэт неоклассицистского направления. Его поэзия (сб. «Зеленый плод», 1917, «Мельчайшие подробности», 1935 и др.) лежит несколько в стороне от основного направления развития американской поэзии. — прим. М.К.

Перевод Е. Сквайре.

«Рип Ван Винкль» — один из знаменитейших рассказов Вашингтона Ирвинга (1783–1859), герой которого, считавшийся погибшим, проспав 20 лет, возвращается в родную деревню, где ничего не может узнать. — прим. М.К.

Браунинг (Броунинг) Роберт (1812–1889) — английский поэт, испытавший сильное влияние романтизма. Стремился в лирике и поэмах к передаче острых психологических состояний, нередко используя элементы гротеска, добиваясь тонкой нюансировки с помощью ритмики и интонация. — прим. М.К.

Томпсон Фрэнсис (1859–1907) — английский поэт-католик. Его творчество, отмеченное яркой образностью, пронизано религиозными мотивами. «Гончая небес» признана лучшей из его поэм. — прим. М.К.

Уилсон Эдмунд (1895–1972) — влиятельный американский критик. В 30-е гг. был близок демократическому движению. Испытал также влияние фрейдизма. Выступал в различных жанрах художественной литературы (пьесы, рассказы, роман). - прим. М.К.



Нойз Альфред (1880–1958) — английский поэт, автор эпических поэм, часто фантастического содержания. Довольно долго жил в Америке. По возвращении в Англию принял в 1930 г. католичество. — прим. М.К.

«Большая тройка» — имеются в виду три старейших университета США — Гарвард (основан в 1636 году), Йель и Принстон. — прим. М.К.

Per se — сами по себе (латин.). - прим. пер.

Харрис (Хэррис) Фрэнк (1856–1931) — английский литератор, жил много лет в Америке. Автор книг: «Женщины у Шекспира» (1911), «Оскар Уайльд. Его жизнь и признания», (1920), а также мемуаров «Моя жизнь и любовь» (1923–1927). - прим. М.К.

Сидни (Сидней) Филип (1554–1586) — английский поэт эпохи Возрождения. Основные произведения — пасторальный роман «Аркадия» (1580), сборник сонетов и поэма «В защиту поэзии», (опубл. в 1595 г.), написанная мужественным и простым языком. — прим. М.К.

Вильсон Вудро (1856–1924) — президент США в 1912–1919 гг., добившийся вступления США в 1-ю мировую войну. В 1902–1910 гг. — президент Принстонского университета. — прим. М.К.

Торо Генри Дэвид (1817–1862) — американский писатель-романтик, близкий к трансцендентализму. Считая природу вместилищем высших (трансцендентных) истин, видел в единении человека с ней единственное условие достижения гармонии бытия («Неделя на Конкорде и Мерримак», 1845, и «Уолдеи, или Жизнь в лесу», 1854). - прим. М.К.

Марло Кристофер (1564–1593) — английский драматург эпохи Возрождения, самый талантливый из предшественников Шекспира, превосходивший всех остальных драматургов богатством воображения, яркостью образов, пластичностью языка. — прим. М.К.



Суинберн Олджернон Чарлз (1837–1909) — английский поэт, пользовавшийся большой популярностью во второй половине XIX в. Для его творчества характерна изощренность метрики, красота звучания, тонкая игра ритмов. Брук Руперт Чонер (1887–1915) — английский поэт, участник 1-й мировой войны. Настоящую известность принесло ему посмертное издание сборника «1914 и другие стихотворения». В его творчестве заметно влияние Китса и елизаветинской поэзии. — прим. М.К.

Тарквиний Гордый — по преданию, последний царь в Древнем Риме (6 в. до н. э.). Жестокость Тарквиния привела к восстанию, поводом для которого послужило его насилие над женой родственника Лукрецией, покончившей с собой. — прим. М.К.

Гюисманс Жорис-Карл (1848–1907) — французский писатель, начинавший как последователь Золя, однако впоследствии перешедший к «спиритуалистическому натурализму», мистике и эстетизму. — прим. М.К.

Лесли Джон Рэндолф Шейн (1885–1971) — ирландский писатель католического направления. Выпустил ряд романов («Проклятая земля», 1923, «Маскарады», 1924, и др.) и сочинений биографического характера («Череп Свифта, или Несвоевременная эксгумация», 1928, и др.). - прим. М.К.

Августин (Блаженный, 354–430) — один из первых христианских теологов, использовавший идеи неоплатонизма. — прим. М.К.

Мейсфилд (Мейзфилд) Джон Эдвард (1878–1956) — английский поэт, пытавшийся развивать в своем творчестве поэтические принципы Вордсворта и приблизить поэзию к повседневной действительности. Участник 1-й мировой войны (в отрядах Красного Креста), он отразил события этих лет в таких произведениях, как «Старая линия фронта» (1917), «Битва на Сомме» (1919). - прим. М.К.

Вест-Пойнт — американская военная академия. Эйзенхауэр Дуайт (Айк, 1800–1969) — американский военачальник и государственный деятель, главнокомандующий союзных войск в Европе (1943–1945), президент США (1953–1961). - прим. М.К.

Маккензи (Макензи) Комптон (1883–1972) — английский писатель, шотландец по происхождению. Участник 1-й мировой войны. Успех пришел к нему с публикацией первых же романов («Страстный побег», 1911, «Зловещая улица», 1913, и др.). Особенно популярен роман «Виски рекой» (1947). Остроумные, легкие по настроению, его произведения не лишены известной доли социальной критики. — прим. М.К.



«Скрибнерс» — американская издательская фирма, названная по имени основавших ее братьев Скрибнер. — прим. М.К.

Дэвис Джефферсон (1808–1889) — американский политический деятель, военный министр США (1853–1857). В феврале 1861 г. вступил в должность президента временного правительства Конфедерации, после проведенных в южных штатах выборов вступил в должность президента Конфедерации в феврале 1862 г. По окончании войны был обвинен в государственной измене, но процесс над ним был прекращен. — прим. М.К.

Перкинс Максвелл (Максуэлл, Макс, 1884–1947) — американский литератор, редактор издательства «Скрибнерс», способствовавший изданию произведений многих американских писателей, начинавших творческий путь в 10-20-е гг., - Ринга Ларднера, Фицджеральда, Хемингуэя. Особенно велика его роль в творческом становлении Томаса Вулфа. — прим. М.К.

Грей Томас (1716–1771) — английский поэт. Особой известностью пользовалась его элегия «На сельском кладбище» (1751), положившая начало так называемой «кладбищенской поэзии», популярной в Англии во второй половине XVIII в. и вызвавшей целый поток подражаний. — прим. М.К.

Бронкс — район Нью-Йорка, где в 10-20-е гг. нашего века селились люди низкого достатка. — прим. М.К.

«Смарт сет» — серьезный литературный журнал, издававшийся Г. Менкеном в начале 20-х гг. XX в. — прим. М.К.

But hic iudicatio erat totam spoiled for meum par llsant une livre, une novellum (nouum), nomine «Salt» par Herr C.G. Norris. — Но от моей радости не осталось и следа после прочтения нового романа Ч. Г. Норриса под названием «Соль» (англ., латин., франц., нем.). - прим. пер.

Норрис Чарлз Гилман (р. 1881) — американский новеллист. Известен произведениями «Соль земли, или Воспитание Гриффа Адамса», «Руки» и др. В «Соли земли» он, по его собственному признанию, «попытался отобразить картину национальной системы образования, показать достижения и изъяны в системе обучения в школах и колледжах». - прим. М.К.



«Повесть о старых женщинах» — роман английского писателя-реалиста Арнольда Беннета (1867–1931), по мнению многих критиков, лучшее произведение Беннета. Вышел в 1908 г., выдвинув автора в число ведущих писателей-современников. — прим. М.К.

Уолпол Хью (1884–1941) — английский писатель, выступавший в основном в жанре бытового романа. Во время 1-й мировой войны служил в отряде Красного Креста. Первые произведения были опубликованы в конце 900-х гг. Написал ряд мемуарных сочинений. — прим. М.К.

Кейбелл Джеймс Бранч (1879–1958) — американский романист. Действие большинства его произведений происходит в вымышленной стране и носит фантастический характер. Вместе с тем в них чувствуется влияние натурализма. Наибольшей популярностью пользовался «Юрген» (1919). - прим. М.К.

Таркингтон Бут (1869–1946) — американский писатель откровенно буржуазно-апологетического толка. Основной сюжетный стержень его произведений — путь к богатству. Начал писать в конце XIX в. и выпустил около 20 романов и 25 пьес. — прим. М.К.

Браун Хейвуд (1888–1939) — влиятельный американский журналист и критик, первый президент «Гильдии журналистов». - прим. М.К.

Omelettes flambees — пылающий омлет (франц.). - прим. пер.

Гринвич-вилледж — квартал артистической и художественной интеллигенции в Нью-Йорке. — прим. М.К.

Борн Рэндолф (Рэндольф, 1886–1918) — американский критик-социалист, глава наиболее радикального крыла в литературной критике США. Выступал с резким осуждением буржуазных нравов и вкусов, был непримиримым противником войны, критиковал милитаристскую, империалистическую политику правящих кругов США. Миллей Эдна Сент-Висент (1892–1950) — американская поэтесса, популярная в 20-е гг. Ее стихотворения и поэтические драмы, отмеченные изысканностью формы, отточенностью стиха, изящным юмором, внесли свежую струю в американскую поэзию. — прим. М.К.



Минитмен — американский доброволец периода Войны за независимость, который по призыву мог с оружием в руках выступить после недолгих сборов. — прим. М.К.

Нэтэн (Нейтен, Нэйтэн, Натан) Джордж Джин (1882–1958) — американский театральный критик, пользовавшийся особым влиянием в 20-30-е гг. Выступал в поддержку реализма, способствуя утверждению на американской сцене драматургии Ю. О'Нила и многих крупных европейских драматургов. — прим. М.К.

Андерсон Шервуд (1876–1941) — американский писатель-реалист. Писал романы, рассказы, автобиографическую прозу, эссе. Самым значительным его вкладом в американскую литературу явились сборники рассказов «Уайнсбург, Огайо» (1919) и «Триумф яйца» (1922). - прим. М.К.

Уортон Эдит (1862–1937) — американская писательница реалистического направления, развивавшая в своем творчестве принципы психологического романа Генри Джеймса. Джеймс Генри (1843–1916) — основоположник жанра психологического романа в американской литературе. Основные темы его творчества — трагическая судьба художника в современном мире, столкновение естественной личности с развращенным, подчинившимся условностям обществом, которое решается как противопоставление американской невинности и европейского светского общества. («Дэзи Миллер», 1879, «Женский портрет», 1881 и др.). Поздние произведения отмечены известной усложненностью письма. Активно выступал как критик. — прим. М.К.

Мерedit Джордж (1828–1908) — английский писатель-реалист. Начало творчества относится к середине XIX в. В центре большинства произведений Мередита — этическая коллизия, которая решается средствами психологического письма. Барри Джеймс (1860–1937) — английский писатель и журналист. Наибольшую известность завоевал как драматург («Замечательный Крайтон», 1902). Его пьеса «Питер Пэн» (1904) признана классической. Правдоподобие описаний сочеталось у Барри с фантастикой и налетом романтизма. — прим. М.К.

Вулф Томас (1900–1938) — американский писатель-реалист, стремившийся соединить эпический размах с интимностью и непосредственностью лирической прозы («Взгляни на дом свой, ангел», 1927, «О времени и о реке», 1935, «Домой возврата нет», 1940). - прим. М.К.

Менкен Генри Луис (1880–1956) — американский критик, получивший известность в 10-е гг. XX в. Активно поддерживал писателей-реалистов (Т. Драйзера и др.). Зло высмеивал невежество, лицемерие и ограниченность буржуазного мира. — прим. М.К.

Von vivant — бонвиван (франц.). - прим. пер.



Эрвин Сент-Джон Грир (1883–1971) — английский драматург и критик, некоторое время сотрудничал с театром «Эбби». - прим. М.К.

Конрад Джозеф (псевдоним, наст. имя — Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, 1857–1924) — английский писатель, поляк по происхождению, в творчестве которого сильно сказались неоромантические тенденции. Вместе с тем в его произведениях ощутимо выражена склонность к психологизму. Оказал заметное влияние на формирование Фицджеральда-художника, которому оказались созвучны идеи, выраженные, в частности, в предисловии к роману «Негр с «Нарцисса» (1897). - прим. М.К.

Делл Флойд (1887–1969) — американский писатель и журналист, принадлежал к «чикагской школе». Разделял прогрессивные убеждения. Выдвинулся в 10-е гг. Наиболее известен как автор романа «Несмышленьш» (1920). Сэндберг Карл (1878–1969) — американский поэт, представитель «чикагской школы». Продолжатель поэтических и демократических традиций Уитмена: «Стихи о Чикаго» (1914), «Дым и сталь» (1920), «Народ, да!» (1936). - прим. М.К.

Гиш Лилиан, Тэямедж Констанция, Пикфорд Мэри — звезды американского кино 20-х гг. — прим. М.К.

Гергесхаймер Джозеф (1880–1954) — американский беллетрист, автор исторических романов и беллетризованных биографий. — прим. М.К.

Рассел Лилиан (урожденная Элси Луиза Леонард) (1861–1922) — известная американская оперная певица. Зигфельд Флоренс (1867–1932) — американский антрепренер и театральный деятель, организатор «Варьете Зигфельда» (1907–1931), в котором окончательно сложился тип американского ревю. — прим. М.К.

Бэббит — персонаж из одноименного романа Синклера Льюиса, имя которого стало нарицательным для определения американского обывателя. — прим. М.К.

Уэст Ребекка (псевд., наст. имя — Сесили Изабел Фэрфилд, р. 1892) — английская писательница, критик и публицист. Автор романов «Возвращение солдата» (1918), «Судья» (1922) и др., литературоведческих исследований о Г. Джеймсе (1916) и Д. Г. Лоренсе (1930), двух книг, посвященных Нюрнбергскому процессу. — прим. М.К.



Ларднер Ринг (Ринголд) Уилмер (1885–1933) — американский писатель-сатирик, зло высмеивавший тупость и невежество американского обывателя, мастер новеллы. — прим. М.К.

Тэйлор Лоретта (1884–1946) — американская актриса. Начала играть еще в детстве. Одна из ее самых замечательных ролей — Аманда в первой постановке пьесы Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец» (1945). - прим. М.К.

Мэннерс Джон Хартли (1870–1928) — американский драматург, уроженец Ирландии, начал свою деятельность актером. Автор свыше 30 пьес. — прим. М.К.

Гардинг Уоррен Гамалиэль (1865–1923) — президент США в 1921–1923 гг., правление которого отличалось расцветом коррупции и крайней недееспособностью. — прим. М.К.

Mise en scene — атмосфера, обстановка (франц.). - прим. пер.

Кэсер (Кэзер) Уилла (1876–1947) — американская романистка реалистического направления. Ее лучшие романы — «О, пионеры!» (1913), «Песня жаворонка» (1915), «Моя Антония» (1918) — проникнуты искренней симпатией к человеку труда. Стейн (Стайн) Гертруда (1874–1946) — американская писательница-эмигрантка, представительница модернистского направления. — прим. М.К.

Элиот Томас Стирнз (1888–1965) — американский поэт, драматург и критик. Лауреат Нобелевской премии. В 1929 г. принял английское подданство. Стоял на консервативных позициях, считая христианство единственным средством преодоления трагических противоречий буржуазной действительности. — прим. М.К.

Лозаннская конференция 1922–1923 гг. — международная конференция по вопросам Ближнего Востока, созванная после победы турецкого народа в национально-освободительной войне 1919–1922 гг. Завершилась подписанием мирного договора. — прим. М.К.



Паунд Эзра (1885–1972) — американский поэт, лидер и теоретик модернизма в литературе США, оказал значительное влияние на развитие всей англоязычной поэзии XX в. — прим. М.К.

Elegant — изящный, элегантный (франц.). - прим. пер.

Валентине Рудольф (псевд., наст. имя — Родольфо д'Антонгуолла, 1895–1926) — звезда немого кино 20-х гг. на амплуа героев-любовников. Мистияге (псевд. Жоан-Мари Буржуа) — известная французская актриса начала XX века. Дос Пассос Джон (1896–1970) — американский романист, в раннем творчестве которого получили развитие критические и реалистические тенденции («Три солдата», 1921, «Манхэттеи», 1925, трилогия «США», 1930–1936). Отход в 40-х гг. от демократических убеждений привел к творческому кризису писателя. Терри Эллен Алис (1847–1928) — английская актриса. Маклиш Арчибальд (р. 1892) — американский поэт и драматург. Особенно плодотворны были для него 30-е гг., когда в его произведениях сильно прозвучали демократические настроения, связанные с участием в антифашистской борьбе (пьесы «Падение города», 1937, «Воздушный налет», 1938), ослабляется в это время и влияние символизма на его поэзию. Истман (Истмен) Макс (1883–1869) — американский публицист и поэт, участник клубов Джона Рида, стоявший в 20-е гг. на прогрессивных позициях, перешел впоследствии на позиции троцкизма. Орландо Витторио Эмануэле (1860–1952) — итальянский государственный и политический деятель, глава правительства Италии (окт. 1917 — июнь 1919). Глава итальянской делегации на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. Расценивая фашистские организации как средство сдерживания трудящихся масс, допускал до 1925 г. сотрудничество с ними, однако после речи Муссолини, уничтожившей итальянскую конституцию, перешел в оппозицию. Принимал участие в устранении Муссолини сверху в 1943 г. — прим. М.К.

Espadrilles — сандалии (франц.). - прим. пер.

Уэскотт Глэнви (Глэнуэй, р. 1901) — американский прозаик и поэт, живший много лет в Европе. — прим. М.К.

Вонһоміе — добродушіе (франц.). - прим. пер.

Condotierre — кондотьер (франц.) - прим. пер.

Людендорф Эрих (1865–1937) — немецкий военный и политический деятель. Во время 1-й мировой войны с 1914 г. руководил фактически войсками Восточного фронта, а с 1916 г. всеми вооруженными силами Германии. Сблизившись с Гитлером, возглавил с ним нацистский мюнхенский путч 1923 г. Один из теоретиков «тотальной войны» и беспощадного подавления выступлений трудящихся. Его мемуары «Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг.» были опубликованы в русском переводе (М., 1923–1924, 2 т.). - прим. М.К.



Верден — город на северо-востоке Франции, арена ожесточенных боев в период 1-й мировой войны. — прим. М.К.

Имеется в виду посвященный Гражданской войне роман Стивена Крейна «Алый знак доблести». - прим. М.К.

Triporteur — небольшая грузовая тележка (франц.). - прим. пер.

Бромфилд Луис (1896–1956) — американский писатель. Принимал участие в 1-й мировой войне, сражался на стороне республики в годы гражданской войны в Испании. Начал писать в середине 20-х гг., сочетая жанр бытового и психологического романа. — прим. М.К.

Третий сборник рассказов — имеется в виду сборник Фицджеральда «Все печальные молодые люди» (1926). - прим. М.К.

Барри Филип (1896–1949) — американский драматург, один из наиболее блестящих в США авторов легкой комедии, в которой порой звучат социальные мотивы. Начал писать в 20-е гг. В репертуаре и поныне сохраняется его «Филадельфийская история» (1939). Уолкотт Александр (1887–1943) — американский журналист и театральный критик. — прим. М.К.

По-английски «волосы» — hair. - прим. пер.

Кавальканти Гвидо (1255 или 1259–1300) — итальянский поэт, близкий к Данте, возглавивший поэтическую школу «нового сладостного стиля». Основной мотив его лирики — любовь к идеальной возлюбленной. — прим. М.К.



Посвящение, построенное на обыгрывании приписываемых Аврааму Линкольну слов: «Можно обманывать какую-то часть народа все время, весь народ какое-то время, но нельзя обманывать весь народ все время». - прим. М.К.

Барримор Джон (1882–1942) — американский актер театра и кино, выступавший в основном в жанре салонной комедии и мелодрамы. Изумил театральный НьюЙорк (1922) и Лондон (1925) исполнением Гамлета. Ван Вехтен Карл (1880–1966) — американский романист и критик, основной мотив его произведений 20-х гг. — жизнь артистической богемы «века джаза». - прим. М.К.

Metier — занятие, ремесло (франц.). - прим. пер.

Уилмингтон — город в штате Делавэр, основан в 1638 г. Семья Дюпонов — промышленных магнатов, — осевшая в Уилмингтоне в 1802 году, сыграла значительную роль в превращении этого города в центр химической промышленности. — прим. М.К.

Эскадрилья «Лафайет» — подразделение американских летчиков-добровольцев, принимавших участие в боях во Франции до вступления США в войну. Лафайет (1757–1834) — французский политический деятель, активный участник Войны за независимость Северной Америки. — прим. М.К.

Croix de guerre — крест «За боевые заслуги» (франц.). - прим. пер.

Кулидж Кэлвин (Кальвин, 1872–1933) — американский политический деятель, президент США в 1923–1929 гг. — прим. М.К.

Селдес Гилберт (1893–1970) — американский писатель, исследователь культуры и социолог, одним из первых заинтересовавшийся проблемами массовой культуры. — прим. М.К.



Шпенглер Освальд (1880–1936) — немецкий философ. Его теория истории человечества основывалась на концепции органически сменяющихся циклов цивилизации, согласно которой каждая из них обречена на гибель, что подтверждается, по его мнению, последовательным падением цивилизации Древнего Египта, Вавилона, Рима и т. д. — прим. М.К.

Chablis — шабли (сорт вина) (франц.). - прим. пер.

Fraises des bois — земляника (франц.) - прим. пер.

Шамсон Андре (р. 1900) — французский писатель, филолог и искусствовед. Участник движения Сопротивления. Выступил продолжателем традиций реализма, разоблачая буржуазные нравы, с теплотой рисуя образы персонажей из народа. — прим. М.К.

Madame est sûre que Monsieur n'est pas mort? — Госпожа уверена, что господин не умер? (франц.). - прим. пер.

Колдуэлл Эрскин (р. 1903) — американский прозаик-реалист. Начал писать в конце 20-х гг. Особенно плодотворны были в его творчестве 30-е гг. С сочувствием и горьким юмором рисовал судьбы бедняков Юга, бичуя жестокость американских нравов, расовую несправедливость («Американская земля», 1931, «Табачная дорога» и др.). Каллаган Морли (р. 1903) — канадский писатель, на манеру письма которого большое влияние оказал Хемингуэй. Герои Каллагана по преимуществу личности, не умеющие приспособиться в обществе, где они живут. Самый известный роман Каллагана «Они унаследуют землю» (1935). - прим. М.К.

Бойд Томас Александер (1898–1935) — американский поэт и романист. Работал в «Сент-Пол ньюс». Его первое произведение «За пшеничным полем» было одобрительно встречено критикой, отмечавшей его близость по эмоциональному настрою к романам Стивена Крейя «Алый знак доблести» и Дос Пассоса «Три солдата». Арлен Майкл (1895–1956, наст. имя — Куйюнджиан) — английский писатель. В своих романах и рассказах отразил цинизм и разочарованность лондонского света после 1-й мировой войны. В 20-х гг. имел шумную славу его роман «Зеленая шляпа». - прим. М.К.

Entrechat и pas-de-bourree — названия па в балете. (франц.). - прим. пер.



Petite anxiéuse — небольшое расстройство (франц.) - прим. пер.

Мясин Леонид Федорович (1895–1978) — русский танцовщик и хореограф. Выступал в Большом театре в 1912–1913 гг., затем перешел в труппу Дягилева. Впоследствии работал в ряде европейских и американских трупп. — прим. М.К.

Шекспир В. Макбет. Перевод Б. Пастернака. — прим. пер.

Вандербилт Эмили — из семьи миллиардеров-меценатов, династии финансовой plutократии США. - прим. М.К.

Браш Кэтрин (1903–1952) — американская писательница, прозаик, начала писать в середине 20-х гг. Выпустила около 10 романов и несколько сборников рассказов. Действие некоторых ее произведений 20-х гг. происходит в Нью-Йорке. — прим. М.К.

Dame de compagnie — партнерша (франц.). - прим. пер.

Белл Клайв (1881–1964) — английский искусствовед, поборник модернистских направлений в искусстве. Леже Фернан (1881–1955) — французский художник, постимпрессионист. — прим. М.К.

Процесс Леопольда и Лева — шумный судебный процесс в Чикаго в 1924 году над двумя молодыми людьми, похитившими и убившими подростка. — прим. М.К.



Pax Vobiscum — мир вам (латин.) - прим. пер.

Уорд Фанни (миссис Хамфри Уорд, 1852–1920) — английская писательница, ее романы из жизни среднеинтеллигентской среды сильно окрашены морализаторством. — прим. М.К.

Эмерсон Ральф Уолдо (1803–1882) — американский философ-идеалист, поэт и эссеист, теоретик трансцендентализма, для взглядов которого был характерен крайний индивидуализм. — прим. М.К.

Лоренс (Лоуренс) Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель, классик XX века, развивавший традиции критического реализма. Безжизненному буржуазному обществу противопоставлял здоровое естественное начало. Одним из первых в английской литературе поднял тему рабочего класса. Автор 10 романов, нескольких сборников рассказов, стихов, пьес. К числу наиболее известных принадлежат «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915), «Любовник леди Чаттерлей» (1928). - прим. М.К.

Иглу — построенное из снега жилье эскимосов. — прим. пер.

Джексон Томас Джонатан («Каменная стена», «Твердокаменный», 1824–1863) — американский военачальник, бригадный генерал в армии Конфедерации, провел ряд блестящих операций против армии северян. Стюарт Джеймс Юэлл Браун («Джебб», 1833–1864) — американский военный деятель, воевал в армии Конфедерации, проведя ряд отчаянно смелых, хотя и не всегда тактически оправданных операций. — прим. М.К.

Битва при Фридериксберге — сражение состоялось в конце 1862 г. Значительно превосходящие противника силы северян не смогли добиться в нем перевеса, понеся в то же время большие потери. — прим. М.К.

Epater le bourgeois — эпатировать буржуазию (франц.). - прим. пер.



Бирбом Макс (1872–1956) — английский литератор и критик. Выступал с эстетских позиций. Использовал в критике приемы шаржа и пародии. Мур Джордж (1852–1933) — английский поэт, романист, драматург. Воспевал в ранних произведениях языческую радость бытия; испытал влияние натурализма. Впоследствии в его творчестве возникают религиозные мотивы (автобиографические сочинения, роман из жизни Христа и др.). - прим. М.К.

Ernest по-английски произносится, как и слово earnest, которое означает «серьезный, искренний, ревностный». - прим. пер.

Aisement — облегчение, дословно: легко, свободно (франц.). - прим. пер.

Фаррелл Джеймс (р. 1904) — американский писатель, примыкавший в 30-е гг. к прогрессивному движению (трилогия о Стадсе Лоннигане, 1932–1935), впоследствии отошел от него. — прим. М.К.

Гейбл Кларк (1901–1960) — американский киноактер, звезда 30-50-х гг. — прим. М.К.

Tour de force — ловкая штука (франц.), то есть там все держалось на художественном приеме. — прим. пер.

Холинshed (? — ок. 1580) — английский хронист, создавший на основе документов, совместно с другими авторами, «Хроники Англии, Шотландии и Ирландии», охватывающие период с древнейших времен до 70-х гг. XVI в. «Хроники» пользовались широкой популярностью и служили ценным источником сведений для английских писателей, в частности Шекспира. — прим. М.К.

Succes d`estime — успех из уважения своего рода утешительный приз у спортсменов. Говорится также применительно к литературным произведениям, которые положительно оценены критикой, но не заслужили успеха у читателей (франц.). - прим. пер.



«Прощай, мистер Чипе» — популярный роман (1934) английского писателя Джеймса Хилтона о преподавателе древних языков в одной из школ Англии. — прим. М.К.

Перевод Е. Сквайре. — прим. пер.

Maitre — учитель, метр (франц.). - прим. пер.

Найтингейл Флоренс (1820–1910) — англичанка, первая сестра милосердия, много сделавшая для реорганизации больничного обслуживания. Аддамс Джейн (1860–1946) — американская общественная деятельница. Открыла первый в Чикаго бесплатный приют для бездомных и иммигрантов. Возглавляла международную организацию «Женщины за мир и свободу». Хоу (Хау) Джулия Уорд (1819–1910) — американская писательница и общественная деятельница, выступавшая за реформы тюремной системы США. Боролась за расширение прав женщин. — прим. М.К.

Батлер Сэмюэль (1835–1902) — английский писатель, развивавший сатирические традиции Свифта. Религиозные сомнения привели его к отказу от священнического сана и разрыву с семьей. Особенный успех выпал на долю его посмертно изданного романа «Путь всякой плоти» (1902). - прим. М.К.

Weltschmerz — мировая скорбь (нем.) - прим. пер.

Кьеркегор (Киркегор) Серен Обю (1813–1855) — датский философ-метафизик и писатель, рассматривавший человека как существо трагически одинокое и обреченное, обретающее смысл существования через постижение бога путем осознания своей беспомощности (так называемого «метафизического отчаяния»). В его философии содержалась известная критика позитивизма; к ней восходят некоторые положения современного экзистенциализма. Стриндберг Юхан Август (1849–1912) — шведский романист и драматург, классик шведской литературы. Его лучшие произведения написаны в духе реализма. В поздних пьесах поиски формы философской драмы приводят к нарастанию настроений мистицизма и преобладанию символики над конкретным образом. Акцентировка отдельных эпизодов в противовес последовательному развитию действия и другие моменты сближают его произведения с экспрессионизмом, предтечей которого иногда и называют Стриндберга. — прим. М.К.

Роджерс Джинджер, (р. 1911), Астер Фред (р. 1900) — американские танцовщики и актеры музыкальной комедии, снявшиеся во многих голливудских фильмах. — прим. М.К.



Каули Малькольм (р. 1898) — американский литературовед, представитель культурно-исторической школы. — прим. М.К.

Роллингс Марджери Киннаи (1896–1953) — американская писательница, выступавшая в различных прозаических жанрах. Одно из наиболее известных ее произведений — повесть «Сверстники» (1931). - прим. М.К.

Перевод Б. Сквайре. — прим. пер.

Elan — рвание (франц.) - прим. пер.

Назымова Алла (1879–1943) — американская актриса, русская по происхождению. Впервые выступила в Нью-Йорке на английском языке в 1906 г. Славилась исполнением ролей в пьесах современного репертуара: Ибсена, Чехова, Тургенева, О'Нила. — прим. М.К.

Уистер Оуэн (1860–1938) — американский прозаик, автор романа «Виргинец» (1902), одного из первых романов-вестернов, считающегося классикой этого жанра. Вестерны — произведения, в романтическом духе рисующие американскую действительность времен освоения Запада. — прим. М.К.

Вассар — частный колледж для девушек в Покипси, штат НьюЙорк, основан Мэтью Вассаром в 1861 году. — прим. М.К.

«Унесенные ветром» — роман американской писательницы Маргарет Митчелл (1900–1949) из эпохи Гражданской войны, в котором представленная в идеализированном виде жизнь плантаторского Юга противопоставлялась своекорыстию капиталистического Севера. Пользовался широкой популярностью. Был удачно экранизирован с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. — прим. М.К.



Passé — исписавшийся, конченый (франц.). - прим. пер.

Последний — самый лучший сборник рассказов — имеется в виду сборник рассказов «Побудка на заре» (1935). - прим. М.К.

Bien eleve — хорошо воспитанный (франц.). - прим. пер.

Ротстайн Арнольд был связан с махинациями фирмы «Фуллер — Макги». Один из крупнейших спекулянтов времен «просперити», он сумел провести следствие и избежать наказания. По-видимому, послужил Фицджеральду прообразом Вулфшима («Великий Гэтсби»). - прим. М.К.

Уайлдер Торнтон Нивен (1897–1975) — американский писатель. В форме исторического повествования («Мост короля Людовика Святого», 1927, «Мартовские иды», 1948) раскрывает вневременные истины и драмы человеческого бытия (любовь, добро, зло). В его произведениях звучит сострадание к человеку, бессильному преодолеть судьбу, жажда веры и добра наперекор скептицизму и отчаянию (романы: «День восьмой», 1967; «Теофил Норт», 1973; пьесы: «Наш городок», 1938; «На волоске», 1942; «Оаха», 1957). - прим. М.К.

«Тристрам Шенди» — роман английского писателя-классика Лоренса Стерна (1713–1768); полное название — «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». - прим. М.К.

Хеллман Лилиан (р. 1905) — американская писательница. Автор пьес «Лисички» (1939), «За лесами» («Леди и джентльмены», 1946) и др. Работала сценаристом в Голливуде. Ее встречи там с Фицджеральдом описаны в ее мемуарах. Марч Фредерик (псевд., наст. имя — Эрнест Фредерик Макинтайр Бикел, 1897–1975) — американский киноактер. Начал выступать в различных театрах Нью-Йорка в 20-е гг. В 30-е гг. — один из ведущих актеров Голливуда. — прим. М.К.

«Ребекка» — остроспсихологический роман английской писательницы Дафни Дюморье (1907). - прим. М.К.



Маккарти Мэри (р. 1912) — американская писательница и журналистка; выступала во многих прозаических жанра. В 30-е гг. была близка к прогрессивному движению, однако испытала влияние троцкизма. В 60-70-е гг. выступала с редкой критикой политики США во Вьетнаме. — прим. М.К.

Тэн Ипполит (1828–1893) — французский философ-позитивист, эстетик, историк литературы. Основатель культурно-исторической школы в литературоведении. Теоретик натурализма. — прим. М.К.

Tel arbre, tel fruit — какво древо, таков и плод (франц.). - прим. пер.

Пэт Хобби — герой рассказов Фицджеральда, объединенных в сборник, озаглавленный по его имени. Опубликовано посмертно. — прим. М.К.

Уильямс Эмлин (1905–1974) — английский драматург и актер, выступавший также с чтением собственных композиций по произведениям Диккенса и других писателей. — прим. М.К.

Дюнкерк — город во Франции. Порт в проливе Па-де-Кале, через который налажена паромная связь с г. Дувром (Англия). Получил известность во время 2-й мировой войны в связи с Дюнкеркской операцией, во время которой проводилась эвакуация в Англию англо-французских войск, блокированных немецко-фашистскими армиями в районе Дюнкерка. Из-за просчета немецко-фашистского командования и благодаря героизму английских и французских моряков и летчиков удалось эвакуировать значительную часть войск (около 280 тысяч человек из 340). - прим. М.К.

Voluptes — дышащий сладострастием (франц.). - прим. пер.